

Обязательный экз.

P2
M43

Виталий Мелентьев

Варшавка

Роман



1260632

«Современник»
Москва
1984

Р 2
М. 47

Мелентьев В.

М47 Варшавка: Роман. — М.: Современник, 1984 —
318 с.

Роман Виталия Мелентьева «Варшавка» посвящен событиям Великой Отечественной войны, беспримерному героизму советских людей в битве под Москвой.

Все происходящее в романе увидено писателем, воином, прошедшим по дорогам войны от ее начала до победы над фашизмом. Многие герои В. Мелентьева, солдаты и офицеры, вчерашние колхозники, рабочие, учителя и инженеры стали в годы испытаний умелыми и стойкими защитниками Родины.

4702010200 — 253
М М106(03) — 84 без объявл.

ББК64Р7
Р2

Смерть комбата

Глава первая

Комбатовский связной младший сержант Костя Жилин принес в землянку сковородку с плавающей в жиру картошкой, аргентинские сосиски, плотно, плотней, чем патроны в обойме, затиснутые в красивую четырехугольную банку, чайник с густой заваркой, приправленной сливовой веточкой, и фляжку. Завтрак он не расставил, а расшвырял по дощатому, прикрытому газетой столу, но фляжку положил осторожно, сразу приставив к ней две помятые алюминиевые кружки.

— Кушать подано,— сказал Жилин слегка насмешливо.

Высокий, тонкий в поясе, с красивым мрачно-темным лицом и острыми, веселыми глазами, Костя Жилин говорил и смотрел так, как будто знал за каждым смешной грешок. За это его недолюбливали. Но Костя не обижался; он тоже не слишком уважал и иных своих начальников, и начальников повыше, и многих из тех, с кем ему приходилось сталкиваться. Но тех, кого он уважал, его любили, хотя Жилин подсмеивался и над ними.

Командир третьего батальона капитан Лысов подозрительно взглянул на Жилина и впервые подумал: «Пора его перевести в роту. Мне нужен настоящий связной».

Подумал сердито, но сейчас же горестно вздохнул — Жилина он не переведет. Даже если в рай направится, и то его с собой прихватит. Об аде и говорить нечего: в аду без Жилина не обойдешься. Всех чертей обманет или перебьет.

Капитан не спеша поднялся со своего топчана, отпустил широкий командирский пояс на одну пару дырочек, но застегнул на крючок воротник старенькой коверкотовой гимнастерки. Когда сел за столик, подержал отложной воротник. Петлицы с бордовыми, еще до-

военными, «шпалами» от этого многократного подергивания казались отглаженными. И сам капитан Лысов казался любовно пригнанным, отглаженным и смазанным — его круглое, темное от загара упитанное лицо слегка лоснилось: когда капитан думал, он потел.

Жилин по-южному певуче протянул:

— А вы чего ж... товарищ старший политрук? Чистой... товарищ капитан, обратно... теряетесь?

Если бы Костя не разбил фразу на две, это его несуразное «обратно» прозвучало бы не насмешливо и, главное, не сочувствующе. Но он сделал из одной фразы две, и «обратно» в них стояло обидным торчком. Да еще эта ошибка в звании... Бывший комиссар и старший политрук, а теперь заместитель командира третьего батальона по политической части и, возможно, капитан (новые звания еще не пришли) Кривоножко слегка покраснел, отложил вчерашние газеты и стал натягивать амуницию — перекрещенные на спине ремни, такой же, как у комбата, широкий пояс с навешенными на нем кобурой и полевой, туго набитой, сумкой. Расправив суконную гимнастерку, Кривоножко подумал и перекинул через голову ремень планшетки. Раз по форме — значит, по форме...

Они уселись друг против друга — бывший комиссар и комбат — и оба ощущали некоторое стеснение.

В начале октября пришел приказ Верховного о ликвидации института военных комиссаров и дальнейшем укреплении единоначалия. Получилось непонятное. Комиссар батальона Кривоножко, всегда пользовавшийся даже несколько большими правами, чем командир, — ведь он имел еще и партийные права, — словно бы понижался в должности. Он по-прежнему нес всю ответственность за батальон наравне с комбатом, но подчинялся все-таки комбату. Больше того. Он обязан был сам, по собственной инициативе и разумению, всей доступной ему партийно-политической работой, создавать авторитет командиру и обеспечивать выполнение командирского приказа. Любого приказа. Даже такого, с которым он не согласен. Потому что приказ командира — закон для подчиненного. А он теперь подчиненный...

4 Как и всякая резкая ломка устоявшихся традиций, организаций, законов — всего того, к чему привыкли люди, приспособились и притерпелись, — и этот приказ

Верховного вызывал некоторую растерянность. Но, как все новое, он вызывал и удовлетворение, особенно у тех, кто никак не мог ужиться со своими комиссарами.

Лысов и Кривоножко жили... ничего себе. О них говорили: сработались.

Лысов — кадровый командир. На границе принял командование ротой, потом отступал через окружения. Из его роты под Москвой воевали только снайпер Жилин, несколько пулеметчиков и стрелков; иные из них ушли на курсы младших лейтенантов, а Жилина комбат держал при себе. Он помнил, как Жилин вел себя в окружениях, помнил Соловьевскую переправу: Лысова ранило и контузило, и Жилин вынес его на себе. Это не забылось. Когда в ходе разгрома немцев под Москвой Лысов стал командовать батальоном, он посерьезнел, научился сдерживаться и не терпеть проявления панибратства, но Жилину многое прощал.

Кривоножко был завучем средней школы и преподавал историю. Учитель быстро привыкает к своей непогрешимости — ученики редко протестуют, а тем более критикуют. Кроме того, сама фамилия — Кривоножко — требовала постоянного самоутверждения. Стакой фамилией всегда можно нарваться — и он нарывался — на обидное, а еще страшнее, на смешное прозвище. От смеха не отделаешься. Кривоножко приспособился. Он научился быть бодрым и смеяться первым. И он никогда не забывал, что преподает историю, а в предвоенные годы это был очень серьезный, быстроменяющийся предмет. Но он справлялся, его ценили, и он ценил себя. Поэтому он всегда был убежден в правоте свершающегося и не удивился тому, что сразу стал вровень и даже чуточку выше комбата.

И вот теперь именно тот, кому он верил во много раз больше, чем себе, поставил Кривоножко в странное положение.

Все это было для него обидно, и он старался найти в свершившемся особый, скрытый смысл, но не находил его и мучился.

«Что у него за дурацкая привычка, — запоздало подумал комбат. — Как только войдет в землянку, так сейчас же рассупонивается. А потом путается...»

Комбат не терпел расхлябанности. Боец, а тем более командир, должен быть как штык: всегда готовым

к бою. А какая уж тут постоянная боеготовность, если на сборы к завтраку тратятся минуты?

Кривоножко ощутил комбатовское недовольство, вздохнул и тут же заметил насмешливый взгляд Жилина: и этот, зная расположенность Лысова, позволяет себе...

Вообще Жилин излишне своеволен и строптив. Мало того, что окопался возле комбата (конечно, у него есть прежние заслуги), так он еще и придумал снайперское отделение.

Такое отделение ни в уставе, ни в штатном расписании не упоминается. Кривоножко наверняка не одобрил бы это нововведение. Но и приказы, и газеты требуют усиления боевой активности в обороне, чтобы сковать противника, не дать ему перебросить резервы под Сталинград.

Боевой активности требовали, а за потери спрашивали так, что хоть нянькой при каждом бойце становись. Да еще и приказывали всемерно беречь боеприпасы. На снаряды и мины ввели лимит.

Вот и приходится проводить в таких условиях партийно-политическую работу, разъяснять, что советский тыл крепнет не по дням, а по часам, а родная Красная Армия перемалывает фашистские орды и готовится к разгрому захватчиков...

В этих сложнейших условиях, с одной стороны, снайперы, несомненно, материальное и самое экономное воплощение боевой активности. Два-три выстрела в день — это даже расходом боеприпасов не назовешь: в обороне на прочесывающий огонь тратится в сотни раз больше. И пусть только каждый пятый выстрел снайперов поражает цель, а четыре пули летят «за молоком». Пусть! Но пули-то эти пролетают рядом с противником, и он уже не может чувствовать себя спокойным. Он понимает, что за ним охотятся, за ним следят, что и здесь, как и в Сталинграде, война еще не кончилась... Да и в политдонесение есть что вписать.

Но с другой стороны... Сейчас, например, батальон позавтракает и ляжет спать или, точнее, отдыхать. Кроме дежурных расчетов и наблюдателей. После обеда-ужина народ выйдет на работы — укреплять оборону. А снайперы сейчас выйдут на охоту. Где будут охотиться — это одни они знают. Укажут район, и все.

6 А будут они охотиться или просто лягут спать — не

проверишь. И уж кто-кто, а Кривоножко знает разговоры во взводах — сачкуют снайперы, высыпаются. Поэтому Кривоножко пресек эти нездоровые разговоры, запретив снайперам во время ночных работ отлучаться из своих подразделений. Пусть работают со всеми, чтобы все видели: в батальоне нет и не может быть сачкующих. А кому охота проявлять боевую активность в порядке личной инициативы, пусть занимаются этим в свое же личное время. При обязательном контроле со стороны командиров.

Так что до сих пор комиссар умел сближать крайности, сглаживать противоречия и добиваться своего. Но как пойдет дальше — неизвестно...

Лысов потянулся к картошке — он любил картошку, любил жирное, Кривоножко — к сосискам: как интеллигентный человек, он понимал всю важность животных белков в рационе человека.

Жилин прищурился и слегка улыбнулся. Ему надоели привычки своих начальников, но, человек грезвый и по-своему расчетливый, он никогда не пытался изменить эти привычки и нарушить порядок, потому что умел поставить их себе на службу.

Он выждал, пока еда согреет завтракающих, теплота от желудка поднимется к голове, затуманит ее, потом начнет растекаться по жилкам и голова на несколько минут станет ясной, словно освобожденной от мелочей бытия, а тело — мягким, теплым и приятным.

Когда это произошло, Костя почтительно спросил: — Разрешите обратиться, товарищ капитан?

Все знали, за чем обращается Жилин, все понимали, почему он обращается, был известен и ответ. Но порядок есть порядок, и нарушать его не следовало.

Его нарушил Лысов. Он поерзал, набил полный рот картошкой и посмотрел в маленькое окошко — амбразуру. Оно только начинало светлеть. Комбат подумал, что прошлые отношения и обычаи были не так уж и плохи. Раньше он каким образом решал то, за чем обращается Жилин? Взглядывал на комиссара, тот чуть прикрывал глаза в знак согласия, иногда даже прибавлял что-нибудь бодро-веселое. Вопрос решался коллективно. И если потом обнаруживалась ошибка, просчет, всегда можно было сказать: «Решение принимали вдвоем...»

А с двоих спрос иной, чем с одного. Вышестоящий 7

комиссар всегда прикроет своего же брата-комиссара, или, наоборот, вышестоящий командир выручит строевика. А когда выручают одного из двух виновных, то, по закону логики и, главное, по здравому житейскому смыслу, и второй как бы не так уж и виноват... Легче было провертываться.

Теперь комиссар — ни при чем. Принимает решение один только командир. Единоначальник. И спрос с него одного. Только с одного. И примет он неправильное решение, закрутит что-нибудь не то — замполит, хоть и подчиненный, а в политдонесении отразит... А уж раз сомнение ляжет на бумагу — провертываться следует тоже только бумагой. У бумаг же поганая привычка: и людей уже нет, а бумага живет. Значит, теперь нужно больше думать.

Лысов смахнул испарину и спросил у Кривоножко: — Как там на юге?

Утреннюю сводку Совинформбюро передавали по телефону, и принимал ее Кривоножко. Раньше он не ждал вопросов. Он сам бодро читал сводку и комментировал ее по ученической карте.

Теперь Кривоножко ждал вопросов. Он предполагал, что в связи с приказом и как бы выделением строевых командиров информация для них поступает особая, по их, строевой линии. А то, что передается для политработников, предназначено только для бойцов и младших командиров. Вот почему Кривоножко при этом вопросе даже встрепнулся — все-таки в душе он надеялся, что так уж далеко разделение строевых командиров и политработников не зашло.

— Отбивают сильные атаки... — Он быстро и почти наизусть сообщил: — «Наши войска вели бои с противником в Сталинграде и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло». Но обращаю ваше внимание: в Сталинграде после упорных боев наши части оставили один из заводских поселков. Боюсь, выходят к Волге...

Лысов многозначительно покачал головой, словно услышать иное не ожидал. Но думал по-иному: «Батальон растянули не зря... Видно, вывели с передовой какую-то дивизию. Теперь ее пополнят и сунут под Сталинград, в упорные бои... А упорные бои больше месяца. Сколько ж можно? И как же теперь поступать: опять выпускать снайперов на свободную охоту отделением, или, наоборот, рассовать их по ротам?

Пусть постреливают и создают у противника впечатление, что перед ним заполненная оборона... Мелочь, конечно, но... Рассовать снайперов по ротам значит согласиться, что Кривоножко был прав, когда тактично протестовал против этого отделения. Все-таки это самое отделение — не уставное. Нет... Не годится... Надо беречь авторитет...»

Новые отношения никак не налаживались. Конечно, согласно указаний вышестоящих политорганов, бывший комиссар создает авторитет командиру-единоначальнику. Себя ломает, а ему — авторитет создает.

Авторитет-то создает, а отвечать за решения уже не отвечает... И вообще, кому это придумалось — уравнивать звания? И замполит капитан и комбат капитан... Присвоения, правда, еще не состоялось. Но ведь состоится: не обидят комиссара. Выходит, хоть замполит и находится в подчинении, но тем не менее...

«Что ж, будем осторожней. Подумаем,— решил про себя Лысов и взглянул на Жилина.— Какое же приказание отдавать? А может, пока оставить все так, как шло? Надо разобраться. Надо...»

И Лысов опять набил рот картошкой, прикидывая поведение противника и последние приказы. Выходило, что решение и в самом деле менять не требовалось. Противник вел себя нахально-спокойно, а дивизия, видно, ушла...

Но Лысов пока не знал, что выведенная дивизия остановилась в лесах недалеко от передовой, потихоньку пополнялась и отрабатывала задачи наступательного боя. Отработку этих самых задач она вела так, что не видеть ее противник не мог... И, конечно, Лысов не предполагал, что, несмотря на успешные бои на юге, у противостоящего противника тоже не все было в порядке — от него требовали создания маршевых подразделений, преимущественно из добровольцев, желающих участвовать в окончательном разгроме цитадели на Волге и в дальнейших победоносных походах на Иран, Афганистан и Индию.

Для того чтобы отправить эти маршевые подразделения, командование противника должно было точно знать, что замышляют русские и не появились ли у них новые части, готовящиеся к наступлению...

— Ну так вот,— решил наконец Лысов.— Действуйте как раньше, но присматривайтесь к правому флангу. Люди там на новом месте...

— Мы туда и собирались, товарищ капитан.

— И еще. Держитесь подальше от артиллеристов: жалуются. Говорят, что вы стреляете, а минометные налеты им достаются.

— Может, им вообще в дом отдыха захотелось?— усмехнулся Жилин.

И Кривоножко, понявший сомнение комбата, тоже усмехнулся: недавно при медсанбате организовали дом отдыха. В него посылали на недельный отдых рядовых и младших командиров. Кто побывал — хвалил: чистые постели, кормят здорово, кино каждый день... Ну, медсанбатовки и прачки из банно-прачечного отряда. Просто даже удивительно — бегают девочки, как живые, и даже танцуют.

Но Лысов не улыбнулся — он отдавал приказ. Пусть не в уставной форме, но приказ. Комбат отодвинул сковородку и сказал:

— Вот так! Понятно?

— Так точно! — быстро согласился Жилин, налил в кружки чаю и, прихватив сковородку и фляжку, ушел.

Глава вторая

Возле кухни Жилина ждали. Повар, медлительный, худой, с красными от дыма и постоянного недосыпа глазами, принимая сковородку, недовольно спросил:

— А чайник?

— Вторым заходом принесу.

Командир взвода старшина Луценко покачал на руке нетронутую фляжку и буркнул:

— Твой у меня.

В землянке командира хозяйственного взвода сидели ефрейтор Жалсанов и рядовые Колпаков, Засядько и Малков. Жалсанов — коренастый, широкоплечий, с большой головой и плоским, чем-то привлекательным лицом — поднялся навстречу младшему сержанту. Остальные, привалившись к завешенной плащ-палаткой стене, подремывали.

— Пойдем на правый фланг, где прикидывали, — отрывисто, словно отдавая приказание, бросил Жилин. — Прихватите мою бандуру. Я догоню.

Никто не пошевелился, и Жилин насмешливо сузил глаза.

— Ну... Добровольцы-комсомольцы — снулые глаза. Ноги в руки и бегом выполнять приказание! Застоялые...

Ребята пошевелились, вяло посмеялись и стали собираться.

Ходом сообщения снайперы вышли ко второй, запасной линии обороны, которую весь последний месяц копал батальон, не слишком заботясь о маскировке. Еще не прикрытая дерном, свежая глина брустверов светлела плешинами на буром, тронутом оспинами разрывов, покатом взлобке. Отсюда хорошо просматривались позиции противника, удобно распластавшиеся на крутых буграх, по гребню которых шло шоссе Москва — Варшава.

И то, что с этих вражеских, уже почти целый год неприступных позиций тоже просматривается вся наша новая линия обороны, каждая наверняка пристрелянная плешина, не радовало, но и не волновало: в свой час все придет в норму, а огонь везде может достать.

Снайперы прошли этой, второй, линией обороны почти до ее спуска в широкий лог и прорытым весенними водами буераком выползли в жидкий кустарник, где они накануне отрыли парные окопы в полный профиль, — Костя заставлял работать «как учили». Здесь их и догнал Жилин. Юркнул в свой, расположенный несколько на отшибе, окопчик-«кувшинчик», какие рылись для истребителей танков, и уж оттуда подал короткую команду:

— Приготовились! Засядько! Передай-ка винторез.

Засядько осторожно, чтобы не сбить снайперский прицел, передвинул по жухлой траве жилинскую винтовку. Костя Жилин в обычное время ходил с автоматом, а снайперку оставлял в каптерке командира взвода. Конечно, это было явным нарушением порядка, но Лысов делал вид, что не замечает жилинского своеволия. Комбат понимал, что когда Жилин сопровождает его на передовой, ходить по тесным траншеям с нежной снайперкой неудобно. Да и Лысову приятней ощущать за своей спиной надежный ППШ.

Костя осторожно снял чехольчик с прицела, протер портяночной байкой оптику и мягко, ласкающе приложился щекой к прохладному прикладу. Потом послушав палец и поднял руку над головой — определил направление и силу ветра.

— Жалсанов! Какая дистанция?

— Семьсот... У меня.

— Правильно. Заряжай! Напоминаю: стрелять пос-

ле меня, пять патронов, беглым. Теперь — слушать и следить.

Мягко, вразнобой клацнули затворы.

За низкими плотными тучами взошло солнце — края облаков отдавали в желтизну и розовость. Жухлая трава перед окопами склонилась навстречу снайперам — подул ровный и несильный юго-западный ветер.

Взлобок полого спускался к заболоченной ложине. Почти у самой ее кромки шли траншеи переднего края — хорошо замаскированные, но мелкие, — в них выступала вода, и ходили в них согнувшись. А дальше тянулся кочкарник с пробивающимися сквозь бурые отмершие стебли темно-зелеными стрелками озимых трав, коричневато-туманный кустарник, потом снова кочкарник.

Еще дальше змеились вторые немецкие траншеи, с буграми дзотов и морщинами ходов сообщения, а уж за ними — выгоревший на солнце зольно-серый плетеный забор. И — Варшавка. Шоссе так и шло вдоль передовой, то приближаясь метров на триста — четырехста, то удаляясь на километр-полтора. Плетеный забор, заросли кустарника и, местами, густого березняка скрывали дорогу, и потому немецкие машины, развозившие по передовой и в ближние тылы все, что требовалось войскам, проскакивали невидимками.

Сопровождая комбата по передовой, Жилин посмотрел брешь в плетеном заборе — сильные осенние ветры наклонили кое-где колья, и в щелях можно было заметить, как проскакивают машины. В одном месте щелей было побольше, а главное, ветром сорвало листву с прилегающего к забору березняка, и он засквозил. Машинный силуэт можно было наблюдать секунды три-четыре. Но стрелять сквозь березняк Жилин запретил — боялся, что пули будут рикошетировать. Стрелять он приказал в щели забора.

Так они и стояли, перегнувшись в поясе и выдвинув винтовки — Жалсанов и Жилин с оптическим прицелом, а трое других обыкновенные трехлинейки, удобно устроив их на выемках в замаскированных брустверах.

По расчету времени, машины уже должны были пройти по шоссе: у противника заведен строгий порядок. Пустые машины уходили затемно на тыловые базы, а возвращались по подразделениям в рассветные и зоревые часы. В это время шоферы не включали не

то что фары, а даже подфарники: движение получалось как бы односторонним. Поэтому огневые налеты нашей артиллерии и минометов их не накрывали. По звуку не накорректируешь...

Однако в этот день налаженный конвейер дал сбой — ветер не приносил шума моторов. Это не беспокоило, а злило: порядочек называется!

Потом пробился шумок — тяжелый, натужный, с юго-запада. Машины шли груженные. Но он быстро стих, так и не докатившись до снайперов. Они молча переглянулись, и Жалсанов облизал губы: хотелось курить, а на охоте не закуришь.

Пожалуй, самое мучительное на снайперской охоте — ожидание дурака-противника. Когда он соизволит высунуться над брустверами, пройти по открытому месту или совершить еще какую-нибудь глупость. А ожидание в тот день было еще противней, потому что никто, кроме Жилина, не был до конца уверен в затее. Потомственный охотник и таежник Порфирий Колпаков, которого все называли Петей, даже сказал в свой час:

— Блазнишь ты, младший сержант.

Жилин не знал, что такое «блазнить», но понял, что Порфирий ему не верит, однако не обиделся: он любил неторопливого, обстоятельного Колпакова. Ему нравились его широкоскулое лицо с небольшим, чуть вздернутым носом, светлые, пристально глядящие глаза, нравились его маленькие, прижатые к черепу уши, которые смешно шевелились, когда Порфирий злился или переживал. И в тот час, взглянув на эти маленькие вздрагивающие уши, Жилин понял, что Колпаков злится.

— Ах, Петя, Петя... Ну не получится, так что мы потеряем? День. А может, даже полдня. Но табаку в ноздрю ему подсыпим. Это точно.

— То-то и есть, что день. Тут день, там день, а он, между прочим, на Волгу вышел.

— Ты откуда знаешь?

— У нас в роте есть сталинградец, он сводку по своему читает — знает, где дерутся.

— До Сибири все равно далеко... — вздохнул Костя.

— Оно так, а все ж таки... Там у нас еще и японцы трепыхаются.

Порфирий любил читать, знал очень много, но как-то вразброс. В армию он пошел добровольцем и полагал, что это дает ему право на независимость в словах и

поступках. Жилин насмешливо взглянул на него и пропел:

— Эх ты, Петя-Петушок, золоченый гребешок,— Порфирий сейчас же приподнял каску и погладил стриженую и действительно золотящуюся на свету голову.— Не хочешь — не ходи. У нас, как сам знаешь, без приказа.

— Ну и что?—но, обдумав, добавил:— Мне приказ не важен. Мне дело важно. Пойду.

Остальные в тот час промолчали, но сейчас Жилин чувствовал — ребята скучают, и потому ругал противника нехорошими словами. И он, этот безымянный противник, словно услышал Костины мысленные присказки и устыдился. Опять послышался натруженный автомобильный гул. Он явно потянул навстречу снайперам.

Когда в сквозящих белых прочерках березовых зарослей мелькнула серая, как бы щучья, тень, Жилин, весь подобрavшийся, напряженный, не поворачивая головы, предупредив в голос: «Ребята!..», нажал на спусковой крючок. Нажал, конечно, плавно, без рывка, как учили.

Стремительным светлячком улетела трассирующая пуля. Как только она погасла в голове щучьей тени,— значит, прицел оказался верным,— по ее следам полетели другие — уже невидимые. Жилин стрелял трассирующими, а остальные били зажигательными и бронебойными пулями. Жилин предусмотрел — по его трассам ребята уточняют прицел, а их бронебойные и зажигательные пули, если попадут удачно, наделают веселеньких дел. А главное, наблюдатели противника не сразу разберутся, сколько человек ведет огонь,— кроме Костиных выстрелов, ни одна другая пуля не дает приметной трассы. Жилин не случайно и свой окоп расположил в стороне: если его обнаружат, то при обстреле снаряды или мины тоже лягут в стороне и ребята успеют проскочить в траншею, выйти из-под огня.

Стреляли стремительно и слаженно, по привычке лоя меж пальцев гильзы и складывая их рядком. По привычке же дыхание переводили в момент перезарядки — не спешили, не елозили, чтобы не сбить ни прицела, ни боевого, сосредоточенного азарта.

Кто выстрелил наиболее удачно, чья пуля оказалась счастливой — никто, конечно, не знал. Но только уже под конец размеренной и точной огневой обработки вражеской, почти невидимой машины за березнячком

разом полыхнуло оранжевое пламя. В дымном, ежистом облаке мелькнули какие-то ошметки и доски, а над заболоченной ложиной грохнул взрыв, который сейчас же распался еще на несколько взрывов послабее.

Руки снайперов еще привычно, автоматически перезаряжали винтовки, но рты уже приоткрылись: такого бойцы не ожидали. Первым, конечно, сориентировался Жилин. Он крикнул:

— Срывайся!

И сам, легко выпрыгнув из своего окопчика-«кувшинчика», пригибаясь, бросился к траншее.

Должно быть, необычный взрыв заставил вражеских наблюдателей оглянуться назад и некоторое время рассматривать ежистое облако. Оно быстро темнело, приобретало округлость, растекалось и по сторонам и вверх.

Они собрались в котловане недостроенного дзота — тяжело дышащие, возбужденные, радостно обалделые. Жалсанов происходил из рода воинов и потому старался сдерживаться. Он сощурил темные блестящие глаза и сейчас же стал закуривать. Но сигарка крутилась плохо, он рассыпал табак и потому начал слегка сердиться: мужчине волноваться не пристало. И он отвернулся вполоборота от ребят, к передовой. Она лежала близко. Стороны стояли здесь тесно.

Жилин, словно не глядя, отобрал у Жалсанова сигарку, доклеил ее, прикурил и, жадно затянувшись, так же не глядя, отдал Жалсанову.

— Вот так вот, Петя-Петушок! А ты не верил... — Пропустить возможность подначить и посмеяться даже в удаче, даже в радости Жилин не мог. — Наша помощь Сталинграду в действии! Смерть немецким оккупантам! Выше боевую активность!

— Ладно тебе, не трепись, — миролюбиво сказал Колпаков. Но, как человек во всем справедливый, отметил: — Богато получилось. Высверкнуло, ну... что говорить!

Сдержанный, немногословный Малков — рослый, отлично сложенный и красивый — налегая на «о», уточнил:

— У нас в Иваново, в Глинищево сказали б: хорошо уделали.

Все засмеялись, и низкорослый, румяный Засядько, паренек из-под Днепропетровска, восхищенно покрутил головой и повторил: «Уделали».

Малков мельком взглянул на него, довольно усмехнулся и достал баночку с табаком. Он всегда и все делал чуть-чуть не так, как остальные,—либо чуть раньше, либо чуть позже. Но делал красиво, аккуратно, и потому завидно заметно.

— А чо ж это было?—поднял взгляд на Жилина Колпаков.

— Шут его знает... Может, снаряды, а может, мины.

И все, словно по команде, приподнялись и приникли к срезу котлована. На шоссе клубился жирный дым—должно быть, от солярки или масла. Он доходил до вершинок растущего за Варшавкой леса и круто изгибался, косо растекаясь уже не черным, а коричневым потоком над немецкой передовой.

— Ветер меняется...—отметил Жилин. Он помолчал, ожидая ответа, но все смотрели на дым, и Костя добавил:—Надо бы о новых позициях покумекать.

Ему не ответили, потому что дым подбросило новым, запоздалым взрывом, и Жалсанов первый раз за все время вымолвил словечко:

— Мины.

Жилин кивнул.

Они опять присели на корточки, привалившись спинами к глиняным стенкам. Малков глубоко затаился и спросил:

— Младший сержант, что там нового?..—и кивнул в сторону, на юг.

— Что-что... После упорных боев оставили... несколько домов.

Жилин и сам не заметил, как он сгладил сообщение, уж очень ему хотелось, чтобы под Сталинградом было полегче.

— Хреново,—отметил Малков.

— А мы все сидим...—вздохнул Засядько.

— Ну вот и сбегай!—вдруг разозлился Жилин: он понимал Засядько. У обоих близкие остались в оккупации.—С чем побежишь? Танков нет, артиллерия, видно, карточки получила, снаряды на сухари сушит. Не знаю, как ты, а я нашу авиацию с лета не видел.

— Ну и у немца тоже... нет ни черта. Одна «рама» летает,—вмешался Колпаков.—А мы все землю копаем.

— Эх ты... Петя! По науке, чтобы наступать, нужно иметь трехкратное превосходство. А нас, обратно, растянули.

Колпаков отвел взгляд. Жилин не только кадровый сержант. Он все время вертится возле начальства. Он науку знает. Малков едва заметно улыбнулся.

— А вот товарищ Сталин говорил: еще годик, еще полгодика — и погоним мы все это куда-нито подальше.

Ребята поерзали и подняли взгляды на Жилина. Как вывернется командир?

— Правильно говоришь, — пряча глаза, слегка иронически сказал Костя и поощрительно добавил: — Говори, говори. Приводи примерчики.

— Пример — перед нами.

— Вот именно! Вот именно: перед нами! Вон даже Петя говорит, что у немцев так же, как у нас, — ни черта нету. Одни мины, да и те мы в распыл пустили.

— А годик кончается...

— Так что ж такого? Чесанули аж... до самой Волги... и Кавказа, это ж разве можно было предположить? Ясно, он на такое рассчитывать не мог. Да и кто ж мог? Разве мы с тобой?

— Сержант, посмотри, — позвал его Жалсанов.

Костя поднялся и стал рядом с Жалсановым. Чуть левее, в ухоженной немецкой обороне, всегда такой тихой и незаметной, явно ощущалось постороннее движение. Какое бы натужное, серое утро ни выдалось, но свет все равно струился с северо-востока и, значит, падал на противника густо. И в этом рассеянном, сером свете проступали легкие дымки, иногда тускло отсвечивали хорошо промазанные ружейным маслом солдатские каски. В траншеях переднего края накапливалась пехота.

— Жалсанов старший! — не оборачиваясь, приказал Жилин. — Засядько, со мной. Стрелять после нас. Все! К бою.

Глава третья

Комбат капитан Лысов ворочался на своем топчане в землянке и никак не мог уснуть. За накатами шуршали мыши — домашне и почему-то весело. И эта веселость раздражала Лысова.

«Как-то все не так получается, — думал он. — Говорили: ни шагу назад, а сидим на Волге... Ведь и на границе можно было драться, так отступали: казалось, что позади места еще много. А в окружениях дрались как черти — один за десятерых, и себя не щадили. Почему? А потому, что другое моральное состоя-

ние. В начале войны все резервов ждали: подойдут, ударят — и понеслась... на чужую территорию. А в окружениях, под Москвой — иное... На резервы не надеялись. Стали понимать, что каждый и есть самый главный резерв. Значит, что ж главное? Конечно, и вооружение, конечно, и количество и качество дивизий, и экономика — все главное. А вот самое главное — боец. Что у него в душе! Душой решит стоять насмерть — будет стоять! Не решит — какие там приказы ни пиши, а он всегда причину найдет и драпанет. Значит, главное — в моральном состоянии».

За тремя накатами бревен, в земле, передовая почти не прослушивалась. В сырой шуршащей теплоте думалось особенно тревожно. Изредка, когда где-то рвался снаряд, к шуршанию прибавлялся шорох — осыпалась подсохшая земля. Взрыв на Варшавке отозвался и звуком, и струйками земли.

Лысов вскочил, прислушался и покосился на сладко посапывающего Кривоножко.

«Конечно, ему что... Случись что — с меня спрос. Командир... Единоначальник».

Он опять прилег, поворочался и ослабил ремень еще на пару дырочек. Дышать стало просторней — картошка, особенно жирная, не сразу укладывается, — и он тоже стал посапывать. И тут сразу, обвалом, на оборону батальона посыпались мины.

Еще в полусне, но уже на ногах, затягивая ремень и нащупывая пистолет, Лысов знал, что посыпались мины, — они по-особому, противно выли и рвались как бы поверхностно, без глубинной снарядной дрожи. Та смутная, постоянная тревога, с которой человек всегда живет на войне, окрепла, а сам он как бы раздвоился.

«Ну вот... началось. Началось» — это была самая первая мысль.

За нею приходила убежденность в том, что противник не может так долго и так бездарно стоять на месте в то время, когда его части вышли к Волге. Он обязан долбануть и здесь. Он должен был заметить, что здесь мы снимаем с передовой части и уводим их в тыл. Куда? Дураку ясно — на юг. Там сейчас главное. Противник не мог не заметить, как растянулась оборона батальона, и сейчас, когда заболоченная лощина подсохла, ему в самый раз ударить по сухому.

«Куда ж он ударит? Как под огнем вывести людей в траншеи? Резерв оставить или сразу пустить на уп-

лотнение обороны?»— эти практические мысли шли как бы рядом и одновременно. И они не могли не идти, потому что Лысов был кадровым военным и такие мысли составляли его сущность. Мозг работал как бы вне его воли, подсказывал десятки вариантов возможного боя.

Постепенно, хотя эта постепенность и заняла секунды, Лысов привычно взял себя в руки и уже с порога посмотрел на Кривоножку. Тот крепко спал. Удивительный человек — артналет, а он дрыхнет. Ну, нервы! Капитаном на мгновение овладела злость. Он повернулся, чтобы разбудить Кривоножку, но в это время неподалеку разорвался снаряд — земля вздрогнула, задребезжали на столе алюминиевые кружки и котелок, в который Жилин вылил чай из чайника. Лысов глубоко, бешено втянув воздух, ощутил весенний запах сливовых веточек, которыми Жилин заправлял чай.

Кривоножку обалдело вскочил, но сейчас же пришел в себя, рывком и точно, не путаясь, набросил снаряжение и подтянул голенища. С тех пор как батальон растянули, они спали в сапогах.

Лысову захотелось заорать, но он сдержался еще и потому, что запах сливовой веточки напомнил ему о Жилине. Жилине-связном, который носится неизвестно где, а ему, Лысову, придется идти в бой без связного, без прикрытия.

— Я в штаб,— все-таки крикнул комбат и бросился в дверь.

Адъютант старший — что за название для должности начальника штаба батальона! — вскочил из-за стола и сразу же передал телефонную трубку Лысову. Звонил командир полка.

— Что там у тебя? Атакует?

Этот знакомый ворчливый голос сразу успокоил Лысова, выбил все лишнее и вернул к единственно правильному состоянию боевой напряженности.

Лысов взглянул на адъютанта старшего, тот отрицательно покачал головой.

— Пока минометный налет, но начинает вводить артиллерию.

— А что это за взрыв был?

— Взрыв у противника? — чтобы оттянуть время, переспросил Лысов, показывая одновременно и свою осведомленность обо всем, что делается в его батальо-

не и против него. Как-то не думая тогда в полудремераздумье, он просто отметил направление взрыва, его силу и не то что понял, а почувствовал — это у противника и, значит, его не касается. Вот теперь все сработало.

Адъютант старший пожал плечами: не знает.

— Ну не у тебя ж... — разозлился командир полка.

— Уточняем, товарищ подполковник.

— Когда уточнять, если на тебя сейчас навалятся.

— Будем отбиваться.

— Смотри, Лысов! Отойдешь — головы не сносишь! — Помолчал и добавил: — Звони через каждые десять минут. Я — на НП.

Да уж... Если противник прорвет оборону, головы и в самом деле не сносить. Оборона хоть и старая, а жидкая, и, насколько известно Лысову, позади особых резервов не имеется... Выйдет фриц на простор, покажется как по асфальту. А там — Москва...

Лысов кинул трубку в коробку аппарата и отрывисто спросил:

— Что с НП?

— Связь нарушена. Лупят по седьмой роте и НП.

Час от часу не легче. Седьмая рота строптивого старшего лейтенанта Чудинова почти вся в ложбине, от нее до немца ближе всех. А правее роты, на взлобке, — наблюдательный пункт командира батальона. До него, значит, не доберешься, а наблюдатели молчат: нарушена связь.

— Связь с артиллерией?

— Есть. Отметили движение противника в траншеях. Орудия приведены к бою.

«Пока откроют огонь, противник проскочит сто метров и ворвется в траншеи. Поди потом, выковыривай его артиллерией — своих больше накрошишь».

— Что у соседей?

— Тоже налеты, но послабее. Главное вроде бы по седьмой роте.

Лысов мгновенно вспомнил, что адъютант старший дружит с Чудиновым и потому особенно беспокоится о седьмой роте. Это насторожило и как бы включило некие критические центры.

Мозг комбата работал четко, точно. Лысов понял, что противник ударять только по седьмой роте не будет: она ведь в ложбинке. Если нельзя втянуться в тран-

шей с флангов, с более высоких мест ударят наши пулеметы, и занятые траншеи не помогут: огонь достанет сверху. Значит, противник наверняка ударит в стык. Там, над стыком, Лысов собирался соорудить новый командный пункт батальона, да уж больно не хотелось перетаскивать уже устоявшееся хозяйство, мучить людей строительством. Теперь вот расплачивайся...

Впрочем, остановил себя Лысов, еще ничего не известно. Может, противник ударит сразу по всему фронту батальона, а может, и полка — вон как командир полка взволновался. Сразу помчался на свой НП.

Огонь противника не ослабевал. Он даже несколько усилился: все чаще грохали тяжелые снаряды — земля с накатов сочилась гуще, и чай в котелке на столе покрывался рябью.

В блиндаж влетел Кривоножко, и Лысов встретил его неласково. Не потому, что бывший комиссар опоздал, а потому, что обстановка комбату очень не нравилась. Но как бы она ни тревожила, его мозг все равно проделывал ту незримую и еще никем не понятую работу, которую иные именуют творчеством, иные — интуицией и другими умными словами.

— Не все еще ясно, комиссар, но ясно одно — тебе нужно двигать на правый фланг — роты там на новом месте. Действуй сообразно с обстановкой, но сразу же подумай о создании контратакующей группы и связи с соседями и артиллерией. Не забудь и о связных. Все. Действуй!

И раньше, в трудные минуты боя, Лысов говорил точно так же — с одной стороны, как бы отдавая приказ, а с другой — допускал и некоторое панибратство: не требовал повторения приказаний, давал свободу действий и все такое. И Кривоножко принимал и этот тон комбата, и форму обращения. Сегодня эта форма несколько задела, потому что Кривоножко не знал, как себя повести — повторять приказание, он же теперь подчиненный, или...

Кривоножко коротко, испытующе взглянул на комбата, но взгляда его не поймал, козырнул и сказал «Есть!» таким тоном, словно прощал комбату этот приказ и его тон и форму.

Позвонили из девятой роты — у них только беспо-

кочащий огонь, а уж когда Кривоножко выходил из блиндажа, наконец позвонил и Чудинов. Трубку взял Лысов.

— Товарищ капитан!— кричал Чудинов.— Лупят по землянкам, и потому выводить людей в траншеи не спешу. Создал контратакующую группу— два отделения автоматчиков, а ручников выдвину на стык.

— Почему на стык?— спросил Лысов. Он сразу отметил проницательность Чудинова и ждал от него подтверждения своей догадки: противник нацелился на ротный стык.

— Он там, понимаете, артиллерией обрабатывает, а землянки и у меня, и у восьмой— минометами. Мешок делает.

— Понятно. Держись и звони почаще.

Лысов поправил фуражку и спросил:

— Автомат лишний есть?

Лишнего автомата, конечно, не было, и адъютант старший молча передал капитану свой— незаконно списанный когда-то, нигде не числящийся и потому ставший как бы личной собственностью начальника штаба.

Обстановка прояснялась. Противник, видимо, проводил разведку боем. Если бы он собрался в настоящее наступление, так артподготовку вел бы на полную мощь, а не скупился бы, не маневрировал бы стволами. Тоже, видать, на лимите сидят, экономят выстрелы. Выходит, все замыкается на ротном участке.

«Ну что ж... это полегче,— подумал Лысов, но, взглянув на часы— прошло минуты четыре-пять,— спохватился.— Всем легче, а мне— труднее. На меня наваливаются. Значит, все от одного меня и зависит».

И хотя еще в те секунды, когда он просил автомат, он уже принял решение пробираться на свой НП— ведь вон связисты восстановили же связь, значит, пробиться можно,— только теперь Лысов осознал обстановку, прочувствовав ее, понял, чем он рискует, и выругался про себя: «Чертов Жилин! Иди под огонь без прикрытия. Ранят— и вытащить некому».

— Старший лейтенант. Дайте связиста, пойдем на НП.

Как раз в это время позвонили с НП.

— Товарищ капитан!— почему-то весело, возбужденно кричал командир взвода связи молоденький млад-

ший лейтенант, и Лысов, узнав его по голосу, про себя решил, что командир взвода связи действовал в данном случае правильно — НП сейчас главное звено, и именно там находится начальник связи.

— Товарищ капитан! Фрицы атакуют.

— Много?— спокойно спросил Лысов — ведь он ждал этой атаки.

— Много, товарищ капитан! Человек сто!

— Держитесь там. Сейчас подойду!

Он бросился к дверям, и адъютант старший глазами приказал писарю сопровождать капитана: последнего, дежурного, связиста он отпустить не мог.

Глава четвертая

Жалсанов как стоял, боком привалившись к стенке котлована, так и остался стоять. Только выложил винтовку между темными ломтями осенней глины. Колпаков и Малков молча встали по обе стороны и тоже выложили винтовки. Жилин с Засядько пробежали метров сто и юркнули в кустарник — когда-то они отрывали там парные окопы-«кувшинчики».

Они едва успели устроиться в тесных окопчиках, как начался минометный налет. До кустарника мины не долетали. Вся оборона батальона была как на ладони, и Жилин гораздо раньше Лысова определил и направление удара противника и его замысел.

«Конечно,— думал он,— фрицу тоже требуется узнать, чего мы стоим на сегодняшний день и почему так активно примолкли. Ничего... рога мы ему сейчас собьем».

Сюда, ко второй линии обороны, осколки не долетали, но дым от разрывов доплывал — горьковато-пряный, возбуждающий.

Жилин видел, как мелькали каски наших солдат, как юлили по бурому бурьяну связисты, сращивая обрывы, и находил, что все идет правильно и опасаться нечего. Но тут вспомнился Лысов, и Костя на секунду заколебался. Комбату, ясно, потребуется пробраться на НП, а он, его связной, здесь. Непорядок.

«А-а...— мысленно махнул он рукой.— Не маленький, проберется. Людей много, возьмет на прикрытие».

И все-таки успокоения не пришло. Бой, он и есть бой, и комбату, конечно, было бы надежней с Костей — и привычка, и есть с кем перекинуться парой слов и даже на ком сорвать злость. Но главным все-таки было не это. Костя привык к комбату и, может быть, по-своему любил. И беспокоился он о нем в те минуты не потому, что не сможет прикрыть его, спасти, а потому, что как нелюбящая, но преданная жена вечно беспокоится о своем баламуте-муже, отце ее детей, так и он боялся, как бы Лысов не натворил что-нибудь. «Не дело», как сказал бы Малков. Косте казалось, что он умел удерживать Лысова от ненужных, на его, конечно, взгляд, порывов, а иногда, наоборот, подталкивать, когда комбат колебался. А тут Лысов окажется один, без присмотра...

Была минута, когда Костя мог бы бросить снайперов и побежать к комбату, хотя был твердо убежден, что здесь, на этом месте, в этой неожиданной засаде, он нужней. Но сердце иногда бывает сильнее разума.

Огонь минометов и артиллерии усилился, распространился почти на весь фронт батальона, а с первых траншей нашей обороны переместился и в глубину — немцы били по штабу батальона и ходам сообщения.

И тут началась атака.

Противник выскакивал резво, стремительно — застоявшиеся, хорошо тренированные солдаты словно распластывались над землей, как летающие лыжники после взлета с трамплина. На секунды они скапливались у проходов в проволочных заграждениях, а потом бежали опять вперед. Целиться в таких, прорвавшихся за проволоку, было нелегко, и Жилин стрелял по тем, кто еще только выпрыгивал на бруствер своей, только что такой надежной, траншеи.

Первый же фриц мгновение покачался в неестественной позе — задрав вверх руку с автоматом, выставив вперед колено — и завалился назад.

Жилин, как всегда, стрелял трассирующими. Он указал и цель и показал, как нужно бить. И снайперы заработали. А Жилин в это время стремительно сменил обойму — выбросил трассирующие и загнал обычные.

Теперь целеуказание ни к чему. Противник — на ладони. Бей — не хочу.

И они били. Конечно, многие из фрицев успевали оттолкнуться от брустверов траншей и устремлялись

вперед, но многие, очень многие опрокидывались навзничь, оставались лежать на брустверах.

В грохоте минных и снарядных разрывов винтовочные выстрелы, конечно, потонули, трасс не было, и поэтому убийственно точный, на выбор, снайперский огонь подавляюще действовал на тех, кто еще не успел выпрыгнуть. Там, в траншеях противника, заметались офицеры и унтера, выталкивая замешкавшихся солдат, и снайперы стали бить по каскам, выбирая точку прицеливания пониже, на срезе брустверов: точно попадешь — пуля прошьет шею; возьмешь чуть выше — попадет в голову, а если винтовка «клянет», пуля пробьет землю и врежется в грудь. Винтовочная пуля — мощная. Верхушку бруствера она прошьет и не завихрится. Не автомат стреляет...

Но как бы точно ни били снайперы, как бы ни заливались неслышимые в грохоте разрывов дежурные пулеметы, а, как потом выяснилось, большинство из них немцы разбили из орудий прямой наводки — все-таки большая половина атакующего противника ворвалась в траншеи, добила немногих наблюдателей и захватила «языка». Бить по этим, ворвавшимся, снайперы поначалу не могли: над траншеями виднелись только каски, и какая из них своя, а какая чужая — разобрать было трудно.

Жилин все это время даже не оглядывался на остальных троих. Он знал Жалсанова, его каменный, жесткий в бою характер, его поразительное умение мгновенно увидеть то, чего еще никто не видит, и сразу принять единственно правильное решение. Недаром он был из рода воинов.

Да и сам Жалсанов совершенно не следил за Жилиным. Он только стрелял — не торопясь, размеренно, не взглядывая на своих товарищей. По звуку их выстрелов он понимал, что ребята ведут огонь спокойно, выцеливают старательно — они не частили, не затаивались. Все были заняты своим делом, увлеклись им и не думали ни о себе, ни о чем другом, кроме этого дела.

Вот почему никто так и не увидел, как капитан Кривоножко пробежал позади Жилина и Засядько, как остановился возле Жалсанова. Он сразу оценил действия снайперов, понял, какой урон они могут нанести, а присмотревшись, увидел этот урон и внутренне обмяк: все оказалось не так страшно, как там, в

землянке батальонного штаба. Вспомнился Лысов, и Кривоножко отрывисто, по-командирски, спросил:

— Где Жилин?

Никто не удивился появлению замполита, никто даже не обернулся. Только Жалсанов небрежно махнул рукой в сторону, откуда вел огонь Жилин. Кривоножко понял это по-своему: Жилин убежал к штабу, к Лысову. Значит, и здесь все в порядке.

Капитан немного потоптался. Он осознал, что правому флангу батальона ничто не угрожает и лучше бы ему быть на НП, но сейчас же вспомнил, что теперь он такие вопросы решать не может. Он получил приказ и обязан его выполнить. В частности, подготовить контратакующие группы. Конечно, он сразу понял, что контратаковать силами крайней девятой роты стык седьмой и восьмой слишком неудобно. Людей придется вести поверху, на виду у противника, или, наоборот, обводить тылами... Но приказ есть приказ. И Кривоножко, уже не слишком торопясь, потрусил, сгибаясь, по еще мелкой траншее на правый фланг.

Кривоножко не видел, как из захваченной противником траншеи вывалились два немца и поволокли к своим траншеям «языка». «Язык» в бурой шинели, без каски хорошо просматривался меж зелеными шинелями фрицев. Виднелась даже белая точка кляпа во рту. Немцы связали ноги и руки «языка», и он беспомощно волочился по земле, вероятно теряя сознание от боли.

Когда Жилин увидел эту тройцу, он прежде всего понял именно эту боль «языка», представил, как ломают суставы, как обдираются руки о бурьяны, и отдал приказ:

— Засядько! «Языка» не трогай. Беру на себя.

Засядько с ужасом посмотрел на Жилина — он решил, что Костя расстреляет сейчас своего же брата красноармейца, с которым, может быть, коротали ночные часы, а то и ели из одного котелка и который попал вот в такую беду.

Самым страшным, пожалуй, было то, что Засядько понимал: противник не должен иметь «языка». Ни при каких обстоятельствах! Потому что «язык» может рассказать все, что он знает об их обороне, и тогда туго придется всем, а значит, и Засядько. И все-таки он, убивающий сейчас фрицев, с ужасом ждал, когда Жилин расстреляет этого бедолагу — ведь другого выхода Засядько не видел.

Его видел Жилин. Он выцеливал так долго и так тщательно, что Засядько перестал ужасаться. Фрицы проползли уже метров тридцать, когда Жилин выстрелил первый раз. Ближний к нему немец поерзал правой ногой и вывернулся на бок. Второй, тот, что был за пленным, видно, покричал ему, потом толкнул, и убитый немец вяло отвалился на сторону. Живой подхватил пленного поудобней, для чего ему пришлось несколько приподняться над землей, и тут его свалил Жилин.

Костя с облегчением вздохнул, мельком посмотрел на Засядько, ужас в глазах которого сменился восхищением, и буркнул:

— Ну ползи же, дура старая!

Засядько теперь понял все: Жилин не торопился с выстрелами, ждал, пока немцы подтянут пленного к старой бомбовой воронке, в которой можно будет скрыться. Стрелял он первым ближнего потому, что дальний немец после смерти напарника обязательно приподнимется и, значит, у лежащего пленного окажется больше шансов не попасть под жилинскую пулю; «Дура старая» — тоже сказано не случайно: днем в траншеях норовили оставлять пожилых бойцов. Считалось, что они бдительней, их не так тянет в сон.

Все это Засядько оценил, и его добрые темно-карие глаза повлажнели. Он перевел дыхание и опять стал выцеливать противника. Лицо его сразу стало жестким и колючим, как полминуты назад у Жилина.

Глава пятая

До наблюдательного пункта капитан Лысов добрался благополучно.

Раза два его обдавало глиняной крошкой и прахом от ближних разрывов, но не сильно и не страшно. Только на НП он обнаружил молчаливого пожилого писаря, но не обратил на него особого внимания — бросился к стереотрубе. И уж только убедившись, что противник, как ему и докладывал стоящий рядом начальник связи, явно создал огневой мешок вокруг стыка, а по фронту ведет отвлекающий огонь, окончательно освободился от предчувствия общей для всего участка беды. Теперь все, что происходило, стало его личной бедой и заботой. И думать он стал соответственно.

Лысов строго, придирчиво огляделся. В НП набилось порядочно народа: наблюдатели, связисты — свои

и артиллерийские, связные и загнанные под накаты НП огнем налетом минометчики, саперы, артиллеристы...

В иное время Лысов сразу же разогнал бы всю эту шарагу — непорядок же! — но в этот раз только мрачно и придиричиво оглядел их — все оказались с оружием — и подумал, как это он хорошо сделал, когда приказывал хранить на НП ящик ручных гранат, и неожиданно про себя решил: на контратаку всего этого воинства хватит, а вслух он спросил:

— Связь с Чудиновым?

— Прямой нет, — извиняюще сообщил младший лейтенант. — Линию сечет.

— Соединяй вкруговую.

Пока соединяли, немцы бросились в атаку, и Лысов, окруженный тяжело дышащими людьми, смотрел через стереотрубу и видел, как стали падать солдаты в проходах и на своих брустверах. Поначалу он оценил работу жилинского отделения, даже почувствовал что-то вроде признательности к нему, но внутреннее озлобление против связного не прошло. Потом, когда первые немцы вскочили в батальонные траншеи, он совсем распалился и вслух сказал:

— Что ж он, дурак, не туда бьет.

Никто не понял, о ком говорит комбат, как не поняли, что его больше всего волнует, но на всякий случай отодвинулись от амбразуры.

Лысов не сомневался, что противник не слишком силен. Если он даже закрепится в траншеях переднего края, батальон выбьет его если не сразу же, так ночью. Да и сам противник не дурак. Не станет закрепляться в низинке. Тут нужно рвать вверх, ко вторым траншеям. Правда, можно было подумать и о том, что этот рывок всего лишь отвлекающий маневр, а главный удар он нанесет попозже или в стороне, но Лысов опытом своим, особым, накопленным только в боях чутьем знал — это всего лишь разведка боем. Проверка, как русские держат оборону, какие у них силы.

Выходило, что именно его батальон и он лично держат сейчас экзамен и перед противником за всю оборону в целом и перед своим начальством. Он верно своим военным чутьем угадал состояние командира полка — тот наверняка уже на своем НП и тоже наверняка уяснил обстановку, доложил о событиях в штаб дивизии, а оттуда, небось, уже сообщили и в армию.

Вот так и встал капитан Лысов во весь рост перед всеми вышестоящими штабами и начальством.

Пришел его час.

Теперь он, кажется, помимо своей воли выработал и план контратаки и определил свое место в бою. В ином положении он наверняка остался бы на НП, а комиссар возглавил бы контратаку. Поднять, воодушевить бойцов личным примером, первым рвануть на огонь врага — прекрасно опасная привилегия политработника, комиссара. Но теперь и командир стал как бы комиссаром. И Лысов уже знал, что сам поведет людей в бой. Поведет, потому что иначе нельзя. Как человек, обремененный и новыми, партийными, правами и обязанностями, он должен показать тот смертный личный пример, который прежде лежал на политработниках; и еще потому, что его батальон стоял сейчас в центре всей обороны и Лысов, а значит, и батальон, должны были выглядеть с наилучшей стороны. Все эти мысли Лысов не оформлял в слова. Они готовились раньше, в дни раздумий над приказом Верховного, а теперь они руководили Лысовым — человеком честным, дисциплинированным, хоть и несколько прямолинейным.

— Чудинов на проводе, — доложил начальник связи.

— Чудинов! — хватая трубку, закричал Лысов. — Готовь контратаку! Парой отделений. Слева! Понимаешь — слева! Справа ударит восьмая, а я сверху. Понимаешь — сверху! Через семь минут! Семь минут! Засеки! У меня все! Начальник штаба! Немедленно вышли ко мне из резерва отделение автоматчиков. Немедленно!

Лысов бросил трубку в руки младшего лейтенанта, грозно и решительно оглядел всех и приказал:

— Разобрать гранаты! Приготовиться к контратаке! — И уж только потом приказал младшему лейтенанту: — Вызови восьмую.

Пока телефонист бубнил: «Огурец», «Огурец», — Лысов, решительно раздвинув красноармейцев, столпившихся у ящика с гранатами, взял из него четыре штуки и стал снаряжать запалами.

— Товарищ капитан. Фрицы пленного тянут, — крикнул младший лейтенант, и его молоденькое, розовое, в пушке лицо исказилось, как от острой зубной боли.

Лысов бросился к стереотрубе. Он видел, как снайперы расстреляли немцев, но не обрадовался этому — пленный продолжал лежать между двумя трупами сов-

сем рядом с воронкой: кажется, скатись в нее — и все дела.

— Ну дурак! — крикнул Лысов. — Все не так делает!

Младший лейтенант тоже считал, что пленному нужно скатиться в воронку, и согласно покивал. А Лысов ругал не пленного. Он ругал Жилина — за то, что он позволил немцам вытащить пленного из траншеи. Ругал и знал, что несправедлив, — не могут же снайперы вот так сразу отбиться от сотни специально тренированных солдат. Но поделаться с собой он ничего не мог: надоела ему жилинская насмешливость, его вечное, плохо скрываемое, ехидное превосходство над всеми. Раньше терпеть такое он еще мог, ведь даже комиссар не обращал внимания на жилинский характер. Но теперь нет! Теперь этому конец!

— Товарищ капитан! Восьмая!

Лысов скрипнул зубами от злости на Жилина, на собственную по отношению к нему несправедливость и неожиданно понял: вся оборона видит, как работают снайперы, а он, комбат, как бы в стороне, словно бы и ни при чем. Он выругался:

— Чертов Жилин! Ничего толком не сделает!

Младший лейтенант почтительно держал телефонную трубку, впитывая слова и настроение Лысова, — ведь через минуты не кто другой, а именно капитан поведет его в контратаку, может, и на верную смерть. И чтобы сделать такое — повести на смерть — нужна какая-то особая, еще недоступная младшему лейтенанту сила и настрой духа. И он, молоденький, впитывал этот настрой, не зная, что капитан очень глубоко в душе побаивается этой контратаки, потому ярится перед ней, подстегивает себя.

— Восьмая! — заорал капитан. — Готовь контратаку взводом! Что значит нету взвода? Кто же тебе, дураку, приказывал выводить людей в траншею? Под огонь? Собирай людей и через пять минут! Понял? Через пять минут! В контратаку! Это тебе и капитан приказывал? Вот и действуй. Пять минут. Понял?

«Рано, очень рано назначил контратаку — не соберется восьмая. Не соберется. И этот замполит чертов — ведь я же ясно сказал: прежде всего позаботься о контратаке. Впрочем, может, Кривоножко правильно приказал, но командир восьмой, человек пожилой и трусоватый, как и раньше бывало, прикинулся, что не все понял».

— Лично, понимаешь, веди в контратаку!— уже в ярости заорал Лысов, отрезая для командира восьмой роты все возможные пути для маневрирования.— Через пять минут! Головой ответишь!

Он бросил трубку и оглянулся. Бойцы кончали снаряжать гранаты, и Лысов, почему-то исподлобья, быстро, норовя заглянуть в округленные глаза, взглядом прошелся по их лицам и уже спокойно приказал:

— Приготовиться... Выползай по одному.

Этот странный, на взгляд бойцов, переход от ярости к полному спокойствию был необъясним, но именно он подействовал сильнее всего — в них тоже постепенно накапливалась боевая ярость. Лысов одним из первых вышел в ход сообщения, картинно надвинул поглубже фуражку и расправил стеганку под ремнем. Потом подвигал руками, расстегнул одну пуговицу и сунул за пазуху пистолет: он готовился к рукопашной, это все поняли и тоже стали готовиться к ней: кто-то вынул нож и засунул за ремень, а большинство просто придвинули поближе лопатки и отстегнули ремешки на чехлах: штыки давно были потеряны и в рукопашном бою могла хорошо помочь лопатка.

Подбежали автоматчики из резерва комбата, и Лысов, мгновенно выправившись, как перед броском в воду, не крикнул, а сказал:

— Вперед!— И сам первым выскочил на бруствер хода сообщения.

Он бежал не оглядываясь, зная, что за ним бегут его люди, и еще потому, что смотрел все время на левый фланг роты, вслушивался в перестрелку, в разрывы мин и снарядов. Они рвались левее, в расположении жилых землянок и штаба батальона.

«Добежим! Под горку — минуту... в крайнем случае полторы,— успевал думать он,— а за это время ихние минометчики не успеют перенести огонь. Не успеют».

Капитана, вероятно, увидели в седьмой роте, потому что оттуда донеслось слитное «ура» и сразу же раскатились перестуки автоматов и нестрашные хлопки ручных гранат. Хорошо бы сейчас тоже крикнуть «ура», но Лысов не спешил — бойцы из седьмой роты по двое-трое выскакивали из траншей на поверхность и, прежде чем снова прыгнуть в траншею, некоторое время бежали вдоль них.

«Пусть на них все внимание. Пусть на них»,— думал Лысов уже отрывистой и яростней — давно не бегал,

стало заходиться дыхание. И все-таки метрах в пятидесяти, а может, и меньше, он тоже закричал «ура» и сорвал с пояса гранату.

Бойцы группы поддерживали его, и почти сейчас же и справа послышалось «ура» — пошла в контратаку восьмая рота: значит, и замполит на высоте.

«Ну, все правильно», — решил капитан и швырнул первую гранату. Она разорвалась, не докатившись до траншей. За капитаном стали бросать гранаты другие бойцы, разрывы пришлись и в траншеи и за ними. Забасили немецкие автоматы, но в ход снова пошли гранаты, а потом ударили лысовские автоматчики. И — снова гранаты.

Лысов не вскочил в траншею первым. Этого уже не требовалось. Лысов пропустил мимо себя бойцов и залег за свежавывороченным комом глины, выдвинув автомат. Он не увидел, а почувствовал, что за его спиной кто-то есть, и резко обернулся. Там лежал писарь — молчаливый, потный, но совершенно спокойный. Даже глаза его, окруженные густыми морщинками и нездоровыми мешочками, смотрели устало, но спокойно.

«Не заметил человека», — мельком подумал Лысов и отвернулся: в траншеях разгоралась рукопашная — разрывы гранат, крики, вопли, лязг оружия и, конечно, выстрелы. Лысов быстро сориентировался, понял, что противнику приходится туго. И не потому, что бойцов было больше. Просто они раздробили противника на несколько групп и теперь, очутившись в привычных, обжитых траншеях, теснили его и лупили, как теснят и лупят грабителей хозяева ограбляемого дома, чувствуя свою правоту и законность действий, яростно и жестоко.

Все шло как положено, и Лысов, следя за развитием боя, успевал посмотреть на себя со стороны, глазами вышестоящих командиров, и считал, что эти глаза не могут не отметить разумность и решительность его действий, его личную смелость и... Да чего уж там!.. И высокий морально-политический настрой батальона, который он, Лысов, как командир-единоначальник, воспитал, организовал, а в решительную минуту и возглавил личным примером. Словом, беда, что грозила батальону и, значит, лично Лысову, оборачивалась... хорошо оборачивалась...

Лысов не то чтобы повеселел, а стал рискованней, смелее.

Метрах в двадцати от комбата во взрезной ячейке и возле нее столпилось человек восемь немцев. Трое или четверо отстреливались, а двое уже заносили руки, чтобы метнуть гранаты с длинными ручками. Лысов, не задумываясь, полоснул их автоматной очередью и как-то бездумно выхватил из-под себя гранату. Приподнимаясь для броска, он напоролся на автоматную очередь, дернулся и неторопливо осел, сперва на локоть, потом на автомат, перевалился на диск и застыл на боку.

Писарь увидел слегка порозовевшие по краям ватные вырывы на стеганке сзади и сейчас же покато свалился в траншею — подставлять себя под новую очередь он не желал.

Глава шестая

Когда началась контратака и Жилин боковым зрением увидел капитана в стеганке и фуражке, у него опять шевельнулось ощущение виноватости. Но сейчас он уже ничем помочь капитану не смог бы и потому, скрипнув зубами, зарядил винтовку трассирующей и выстрелил по немецким траншеям. Ребята тоже перевели туда огонь, стараясь выбить поддерживающие противника пулеметы. Трудно сказать, удавалось ли это им: пулеметы то замолкали, то оживали вновь. Похоже, что они или меняли позиции, или заменяли выбитые расчеты.

Потому что бой длился уже долго — минут десять — пятнадцать, у Жилина постепенно стали возникать вопросы: противник атаковал довольно широким фронтом, значит, не боялся мин. Выходит, что его минеры поработали славно, нащупали и обезвредили наше минное прикрытие. Да и проволочные заграждения оказались разведенными очень аккуратно и разумно — в них оказалось несколько проходов. Тоже выходило, что фрицы готовились к разведке боем долго и тщательно.

«Хорошо воюют... — с тоской подумал Жилин, — умно воюют. Ничего не скажешь».

Конечно, это было уважение к чужому мастерству и расчету, но по законам войны уважение это вызывало прилив боевой ярости. Может быть, перемешанной с приступом самой черной зависти. Он стал стрелять чаще и, вероятно, чаще мазал. Поймав себя на этом, выругался и стал стрелять размеренней, впервые ощутив боль в правом плече: отдача у винтовки сильная и резкая.

Именно потому, что он заставлял себя сдерживать-

ся, хотя все в нем кипело от ярости и зависти, он уловил в траншейной рукопашной схватке некий слом. Это бывает в бою — кажется, он проигрывается, противник теснит и лупит, но незаметно, исподволь, возникает и наслаивается последняя, уже как бы нечеловеческая, вневещная воля к сопротивлению. Человек, боец поднимается на некую внутреннюю высоту, с которой открываются никем не виданные дали и возможности, и в отрешенном холоде и огне той высоты неузнаваемо изменяется, отбрасывая все прожитое, известное, и с жестокой, все сметающей яростью он бросается в самую гущу схватки, не понимая и не желая понимать, что этот бросок смертельный, последний в его жизни. И если противник уже утратил или еще не обрел этой летящей, самоотрицающей ярости и стремительности, он не выдерживает ее, ломается и катится вспять.

Жилин уловил нарастание этой высотной, самоотрицающей ярости контратакующих и слом засевших в траншеях немцев. Ни он, ни другие участвующие в жестоких боях люди, пожалуй, никогда не скажут, по каким признакам они улавливали этот взлет и этот слом — те неосвязаемы и быстротечны, но они улавливали. Иные по многу раз. Уловив это состояние, Жилин сам зарядился этой общей волей. И когда из наших траншей выскочили обрастаемые в бегство немцы, он сразу выстрелил и свалил первого же. Трассирующих пуль он не применял — знал, что примерно то же яростно-парящее состояние овладело и другими и потому они и без его команды-целуказания будут бить тех, кто больше всего заслуживает — бегущих, струсивших.

Стреляя, Жилин все время, боковым зрением, наблюдал и за своей траншеей, и за пленным, который так и лежал возле воронки, не двигаясь и даже не шевелясь. «Убили, должно быть», — равнодушно подумал он: сейчас его волновал не этот одинокий, со связанными руками и ногами, с белым кляпом во рту, наверняка, пожилой боец, может быть, отец семейства. Его волновала вся оборона в целом, все дело, которому служил и тот, одинокий на ничейке, и Жилин, и все остальные. Все они, каждый в отдельности и все вместе взятые, были важны только в соотношении с общим делом.

И не только осматривая с обыкновенной земной вы-
34 сотки это общее дело — отражение разведки боем, но

и со своей внутренней высоты, со своего перевала — Жилин понял и другое: противник сломлен, вскоре будет добит, а разгоряченные контратакой бойцы — действительные, неукротимые, отрешенные от самих себя — наверняка останутся в траншеях, чтобы сразу исправить все, что испортил налет противника в их уже обжитом и теперь, после передрыг, даже любимом доме — траншее.

Но сделать это без вмешательства комбата они не сделают. Комбат следит за их действиями и за всем окружающим. Зная его вроде бы и вялую, но увлекающуюся натуру, Жилин сразу представил себе, как Лысов не выдержит и прибежит в траншею, чтобы самому убедиться и в потерях, и в разрушениях, и сам начнет распоряжаться, увлечется, и тут-то наверняка на них обрушатся огневые налеты противника. Он не дурак, этот противник, он тоже понимает, что к чему. И вот тогда-то победа, настоящая победа, может обернуться и поражением, и гибелью многих, в том числе и комбата. А этого Жилин допустить не мог.

Одно дело — начало боя. Тогда Жилин понимал, что здесь он сделает больше, чем если он окажется возле комбата. Он сознавал свою правоту. Но сейчас, когда он уже сделал свое, важное для всех дело, теперь он нужен возле комбата.

— Засядько! Дай свой винторез, бери мой! А я — к комбату.

Он ворвался в штаб батальона как раз в тот момент, когда адъютант старший доложил командиру полка об обстановке и смерти комбата, и потому жилинский вопрос: «Где комбат?» — вызвал по-своему справедливым гнев.

— Я у тебя спрашиваю — где комбат?! Где ты шлялся?! Отсиживался?!

Жилин слышал и не такие крики и не раз стоял перед направленным на него пистолетом — в окружениях, да и в бою всякое бывало... Криком его не возьмешь. Да и внутренняя его правота не позволяла ему сгибаться. Он тоже заорал:

— Где был — там нету! Где комбат?!

Адъютант старший, который знал о ходе боя лишь по звонкам из рот, конечно, не видел, как действовали снайперы, но он помнил, что Лысов просил у него сопровождающего, взял его автомат... Значит, Лысов наверняка знал, где Жилин и что он делает. Да и

прошлая, спокойная жизнь батальона, ежедневные выходы жилинского отделения на снайперскую охоту тоже сказали свое, и адъютант старший обмяк.

— Убили комбата.

Жилин сглотнул воздух — все навалилось с такой силой, что он сразу слетел со своей внутренней высоты, но в этом беспорядочном полете, словно по инерции, успел сказать:

— Слушай, старшой, ребят из траншей надо вывести... налет будет... костей...

Больше говорить он не смог — горло перехватил спазм. Он пытался сглотнуть, отчего по землянке прокатились гулкие, булькающие звуки, и молчаливый телефонист почти с ужасом взглянул на Жилина.

Костя справился с собой и, не замечая своих слез, стал ругаться... Выскочив из штаба, он бегом, не пригибаясь, побежал к переднему краю.

Глава седьмая

До крайней, девятой роты замполит Кривоножко так и не добежал.

Обстановка менялась стремительно, и он уже пробивающимся военным чутьем и, главное, натренированным в предыдущих боях умом понял, что место его — в восьмой роте.

И здесь, в деле, он сразу почувствовал себя спокойней и собранней, особенно потому, что командир восьмой роты — человек тихий, хозяйственный и вполне примирившийся со своим положением не слишком удавшегося командира, — хоть и выполнил приказ — он всегда выполнял любые приказы безропотно — уже стал собирать контратакующую группу, — все-таки явно колебался. И, пожалуй, не мог не колебаться: в случае неудачи с него обязательно спросят за то, что он, выполняя приказ комбата, оголил участок своей роты. Вечное положение командира — между приказом вышестоящего командира и действиями противника.

Кривоножко достаточно хорошо знал ротного и, злясь на него, все-таки понимал. Поэтому, не добежав до девятой роты, он, в сущности, превысил свои полномочия — решил перегруппировать силы. Из землянки восьмой роты он позвонил в девятую и приказал растянуться влево, на юг, перекрыть опустевшие траншеи восьмой. Это, в сущности, еще могло входить в круг его обязанностей, определенных приказом Лысова. Но он пошел и дальше. Позвонил командиру поддерживающей

противотанковой батарее и приказал выдвинуть всех свободных батарейцев вперед, чтобы прикрыть и свои огневые и поддержать девятую роту.

Командир батареи попытался было возражать — ведь его батарея не придана батальону, а только поддерживает его, и формально он может и не подчиняться приказам Кривоножко. Наверное, в другое время комиссар Кривоножко или комбат Кривоножко заорал бы, обругал, но замполит Кривоножко поступил иначе.

— Слушайте, товарищ старший лейтенант Зобов, я передаю приказ при свидетелях. Вы сами понимаете, что будет, если противник прорвется... Вот и действуйте.

И командир батареи Зобов, чертыхаясь, выполнил приказ, а Кривоножко помчался к контратакующей группе — как замполит он обязан быть именно там, чтобы в случае нужды возглавить контратаку.

Однако, в отличие от капитана Лысова, он совершенно не думал о том, как он будет выглядеть в этой передрыге. Его волновал батальон — ведь будучи комиссаром, он всегда думал именно о батальоне. И он понял, что возглавлять контратаку ему не стоит: бежать впереди контратакующих по траншеям — значит не возглавлять, а отрываться от людей: ни он ничего не увидит, ни люди не увидят его личного примера. И он сделал то, что подсказывал ему комиссарский опыт:

— Коммунистов и комсомольцев ко мне!

Их было не так уж много, коммунистов и комсомольцев, человек десять, но для цементирования группы и этого было вполне достаточно.

— Товарищи, противник хочет узнать, растянулись мы или нет, чтобы потом ударить. Сами понимаете: Сталинград, он и есть Сталинград. Поэтому в данном конкретном случае самое главное — наш ответ, наш удар должен быть стремительным, на одном дыхании: нельзя, чтобы фрицшки (он и сам не заметил, как произнес это несвойственное ему, но пришедшееся своим оттенком к месту словечко) не то что поняли, а даже почувствовали бы, что у нас тут слабинка. Ясно? Я иду с вами. Впереди — командир взвода и замполит роты. Надо, ребята, толкнуть так толкнуть! Чтоб у фрица косточки хрустнули. Силенки хватит — и седьмая атакнет, и комбат сверху навалится.

Вот это — смесь словечек, высокого Сталинграда и понятное каждому (навстречу ударит седьмая рота, а сверху — комбат) объяснение тактической задумки контр-

атаки — сразу подняло дух людей, изгнало колебания, в которых всегда гнездится страх.

Командир роты облегченно вздохнул: решение замполита освобождало его от ненужного и даже вредного в этих условиях двоевластия. Ему же нужно командовать всем этим участком обороны, вести людей в контратаку.

Когда взвод пошел вперед, Кривоножко вылез наверх, залег в посеченном кустарнике и осмотрелся. Он понял, хотя и не так быстро, как Лысов и Жилин, расстановку сил, оценил действия снайперов, которые стреляли неподалеку от него, и даже пожалел, что Жилин убежал к комбату (он ведь так и не знал, что Жилин все время стрелял). Потом он снова спустился в траншею и догнал взвод, кому-то помог, а кого-то попросту вытолкнул на поверхность, а потом, заражаясь яростью рукопашной, что-то орал, куда-то стрелял, двигался все вперед и вперед, ступая на что-то мягкое, податливое под каблуками...

Он видел, как немцы выскакивали из траншей, иногда волоча за собой раненых, но чаще просто убегая, видел, как иные из них падали, но в убегающих не стрелял — берег патроны для тех, кого мог встретить. Но — никого так и не встретил. Люди разделились с противником и без него.

И уж потом, пробегая траншеями, он встречал своих и не узнавал их — расширенные яростью зрачки, то закусенные до белизны, то, наоборот, раскрытые, как после погони, рты, безумная чернь под глазами и у крыльев носа. Не было огня, но люди опалились, а может быть, закалились на своем и вражьем внутреннем огне. И многих била крупная нервная дрожь — уходило напряжение.

Пока шли в контратаку, пока дрались — много ж выхода не было — драться нужно: не ты убьешь, так тебя убьют, — страха не ощущалось. Впрочем, он был, но не стал главным. Главное — убить. А вот теперь, когда кого можно было уже убили и они лежали под ногами, когда все явственней пахло свежей кровью — приторно и муторно, — вот теперь-то, представив, что могло произойти с ними, люди запоздало испугались и за себя, и за то, что они наделали.

Кривоножко сам был близок к этому состоянию и понял и людей, и обстановку. Как и Жилин несколько минут назад, он тоже находился на своей внутренней

высоте и с этой высоты увидел то же, что увидел и Жилин: если противник обрушит сейчас артналет — будет плохо... Очень плохо. А комбат, по-видимому, еще не понял обстановки...

Но тут сработали иные центры — ведь за батальон отвечает не только комбат, но и замполит. И Кривоножко отдал приказ, как полноправный заместитель командира:

— Выбросить трупы! Своих — в тыл. Приготовиться к отражению контратаки противника.

Приказ оказался неточным и половинчатым. Ведь атаковали немцы, а наш батальон контратаковал. Но так уж сложилось, что немцы чаще всего словно бы контратаковали. Этим поддерживался боевой наступательный дух. А половинчатым этот приказ оказался потому, что Кривоножко хотел отдать приказ отойти в укрытия, но не решился сделать этого. Он только рассредоточил людей, надеясь и на их выучку, и на боевой инстинкт, — кого как бы подвел к укрытиям, а кого-то увел в тыл — они выносили трупы.

И уж только потом, узнав о смерти комбата, он, ужаснувшись и впервые на войне выругавшись, снял каску, опять выругался, но уже мягче, покаянней — он все-таки привязался к Лысову — и вздохнул: что ж... придется командовать.

И он командовал. Как ни просил командир восьмой роты вернуть взвод, он оставил его восстанавливать траншеи и дзоты седьмой роты, и Чудинов с признательным удивлением поглядывал на Кривоножко — ничего, комиссар, разумно. Разумно...

И уж только тогда, когда позвонили из полка и потребовали от него расследования обстоятельств смерти комбата, он словно вспомнил, кто он такой, и внутренне отстранился от управления батальоном — все равно ж пришлют другого комбата. Политработников и строевую работу посылают редко... Хотя в приказе Верховного говорилось и о таком варианте... Но ведь то приказ, а то традиции...

Глава восьмая

Лысова похоронили там же, где и всех, — на опушке леса, на высоте, с которой открывались далекие и тихие тыловые дали. Когда капитана хотели переодеть в шинель, Жилин сказал:

— Он не любил шинели. Говорил, в ногах путается... И капитана похоронили в стеганке.

Ночью восстанавливали траншеи, землянки, дзоты. И немцы тоже работали — собирали трупы; выползали на ничейку с длинной веревкой, на конце которой была привязана отточенная «кошка» — якорь. «Кошку» швыряли к трупу, подцепляли его и тащили к себе. Просто и удобно. Потом трупы закладывали в плотные бумажные мешки и на машине отправляли на кладбище. Могилы рыл небольшой экскаватор, три мешка клали один на другой и ставили над ними один березовый крест. Быстро и организованно.

Еще не остывшие от ярости контратаки, наши бойцы сдували пулеметами сборщиков с их «кошками».

В этот час прибыл новый комбат — не слишком молодой, красивый, со шрамом-подковкой над переносицей. Из штаба полка его привел Жилин.

Новый комбат старший лейтенант Басин пожал руку адъютанту старшему, писарю, телефонисту, но на Жилина рукопожатия не хватило — ни в ту минуту, когда он встречал комбата, ни сейчас.

Комбат выслушал адъютанта старшего и решил:

— Немцам не мешать. Пусть таскают мертвяков — меньше вони будет. — Подумал, добавил: — Проволочные заграждения самим не восстанавливать, саперы попарятся. — Помолчал, спросил: — Где комбатовский автомат?

Жилин молча выскочил из штаба и побежал в комбатовскую землянку. Торопливо засветил гильзу с фитилем. Землянка отдавала нежилью — на столе курганчики осыпи с накатов, топчан комбата не убран, и над ним одиноко висит полевая сумка. Костя ощутил такую боль, такое одиночество, что со свистом вобрал в себя воздух и покривился. Быстро убрал сумку в лысовский чемодан, сунул туда же его старые уставы и наставления, перестелил топчан и только после этого захватил автомат и каску.

Лысов, как всегда, пошел в бой без каски. Не любил он ее, говорил, сползает часто. И Костя понял, что вражеские автоматчики подстрелили его неспроста — все были в касках или пилотках, а капитан в старой, еще довоенной фуражке, которую Костя сохранил на Соловьевской переправе. Она тогда свалилась с Лысова, и ее подобрал прибившийся к остаткам их роты ефрейтор Жалсанов, который тащил свою снайперку, не-

мецкий и наш автоматы. Он прибил к Косте потому, что увидел его снайперку с зачехленным оптическим прицелом.

Потом уже они соорудили носилки и пронесли Лысова до какого-то медсанбата, а может, госпиталя. Лысова там перевязали, а остатки роты, вместе с прибывшими, дня три отсыпались в ближнем лесу. Потом их всех направили на переформировку. Вскоре там появился и Лысов...

Все вспоминалось разом, но путано, с перескоками. Впрочем, он весь этот день жил как бы с перескоками, то клял себя, то сжимался от боли, то становился нахальным: «А-а, переживем!» Но понимал: чего-то он не переживет. В чем-то и он стал другим, и все вокруг тоже сменилось.

Новый комбат, старший лейтенант Басин, молча принял оружие и каску, вышел из штаба.

Шел он быстро, решительно, правильно поворачивая в путанице старых и новых ходов сообщения и отсечных позиций. Косте Жилину это понравилось — у человека есть военное чутье. Ориентируется...

Старшего лейтенанта Чудинова они нашли в дзоте. Привалившись к стене, ротный дремал. Когда хлопнула дверь, он вскочил и сразу же ухватился за пистолет. Басина он не знал. Но потом увидел Жилина и засмеялся:

— Думал, диверсант.— И представился, небрежно коснувшись пилотки: и он не любил каски, а фуражки не имел.

Комбат тоже представился, и Чудинов неуловимо подобрался, но так же весело и беззаботно доложил, чем занята рота.

— Это вы приказали не мешать фрицам убирать трупы?— закончил он доклад вопросом.

— Я.

— Вроде перемирия?

— Зачем — перемирия?— поморщился Басин.— Во-первых, вони будет меньше, во-вторых, зачем уточнять наши огневые точки. Ведь они зачем шли? Разведку боем вели, вызывали огонь на себя. Может, в спешке и не все увидели, а вы им подскажите.

Чудинов помолчал, подумал и кивнул:

— Резонно. Ну вот я пулеметчиков и отпустил новый дзот доделывать, а сам здесь кукую на всякий случай.— И, уже не обращая внимания на комбата, ве-

село спросил у Жилина:— Это твои ребята со вторых линий били?

— Мои...— прохрипел Жилин. Горло почему-то перехватило.

Чудинов доверительно и весело пояснил Басину:

— Я, понимаете, смотрю, немцы так и валяются, а пулемета не слышно. Потом, когда они уже ворвались, жду ихнего тяжелого оружия— пулеметов там, минометов. А они как появляются на бруствере, так и падают. Мне ж не видно, кто их сечет,— позади все в дыму. Что это, мыслю, за секретное такое оружие появилось— и не видно, и не слышно, а фрицы падают... Послушайте, комбат, а нельзя ли там еще снайперок расставить?

И Басин, и Жилин невольно вскинули взгляды на Чудинова: уж слишком вольно он вел себя. Но в сумерках дзота его лицо освещалось только с одной стороны— с той, с которой горел фитиль в сплюсненной гильзе зенитного снаряда. Лицо ротного казалось безмятежным и веселым.

И в самом деле, чего ему побаиваться, Чудинову? На взвод его не понизят— есть третья звездочка, на батальон не повысят— молод еще. И должно быть, Басин понял это, а может, ему оказалась близкой эта юношеская бесшабашность еще не остывшего от боевого накала ротного.

— Полагаете, товарищ старший лейтенант, что снайперы в наших условиях достаточно серьезны?

— Да я и сам не очень в них верил. Еще с Лысовым поругивался— и так людей мало, а он еще снайперов отрывает. Но сегодня— поверил. Особенно когда Мкрытчан рассказал, что они натворили у них.

— Мкрытчан— это командир девятой роты?

— Так точно. Ведь тут как все произошло? На шоссе утром ка-ак грохнет. Мы все повскакивали, смотрим— дым, взрывы... Гадаем: наша артиллерия или снайперы пробрались и заминировали шоссе? Пока гадали, пока спорили, а тут налет. Ну, думаем, ясно: фрицы мстят. Нет, оказывается, дело по-серьезному... А уж потом...— Чудинов запнулся, и голос у него зазвучал глуше,— Мкрытчан рассказал...

Чудинов примолк, словно только что понял: ведет он себя не соответственно обстановке. Пришел новый комбат, прямой и непосредственный начальник, а он тут о снайперах, да еще... как с товарищем...

Басин не спешил прерывать паузу, но когда она слишком уж затянулась, он сел на патронный ящик и предложил:

— Садитесь, старший лейтенант. Закурим.

Чудинов уселся на обрубок бревна и достал кисет. Жилин продолжал стоять у притолоки. Чем-то нравился ему Басин, но чем — еще понять не мог. Да и обида на него не проходила. Вернее, она только что прорезалась: для него, связного, за все время он не то что рукопожатия, слова порядочного не нашел. Конечно, формально он прав — связной есть связной. Комбат не обязан быть с ним запанибрата. Но ведь кроме формальностей есть еще настрой, стиль поведения. Со всеми Басин как человек, а с ним — в отдалении. И Жилин впервые за эти сутки почувствовал, что на нем висит какой-то грешок, о котором Басину доложили, а он его не знает или не считает за грех. Но кто доложил? Когда?

— И вы присаживайтесь, товарищ младший сержант, — не оборачиваясь, не предложил, а словно приказал комбат. И как только Жилин сел на второй обрубок, спросил: — Так что вы там натворили, в девятой роте? Рассказывайте, товарищ младший сержант. — Жилин вскочил, но Басин, не повышая голоса, так же строго официально, почти приказал: — Сидите, сидите.

Пришлось рассказать все как было, объяснять, почему поступали так, а не иначе, и все это походило на допрос, а может, и на обмен опытом. Чудинов обмяк — ему хотелось спать. Состояние боевого подъема, которое давало ему право и возможность говорить так, как он говорил, исчезало.

Сквозь прикрытую задвижкой амбразуру все явственней просачивался шумок передовой — звяканье лопат, тюканье топоров, сдержанный, шепотом, говорок. Он был привычным, и потому на него не обращали внимания. Но когда шумок сразу стих и в наступившей тишине проступил далекий, очень далекий стук пулемета, все трое вскинулись и примолкли, поглядывая на амбразуру. Жилин встал и придвинулся к двери.

Минуту было тихо, потом шум прорезался снова. Но на этот раз он был иным — возбужденным, нерабочим: слышался говор, топот и чавканье ботинок, и, наконец, совсем близко кто-то простуженно предложил:

— Санитаров надо бы...

Ему быстро ответил резкий, отбойный голос:

— Тащи к ротному в дзот! Там разберемся, кого надо.

Чудинов вскочил и скрылся за дверью. Комбат как сидел боком к двери, а лицом к амбразуре, так и остался сидеть, искоса поглядывая на стоящего у притолоки Жилина. Поглядывал недобро и, кажется, недоуменно.

Дверь распахнулась, и командир взвода — рослый младший лейтенант — и невысокий, но крепко сбитый боец втолкнули в дзот человека с багрово-синюшным страшным лицом. Его коротко стриженная голова все время дергалась — он не то икал, не то пытался что-то проглотить. Когда его отпустили, человек мягко скользнул на земляной пол...

— Это еще что такое? — строго спросил Басин, обращаясь к младшему лейтенанту.

Тот вытянулся, но не успел ответить. Из-за спин появился Чудинов.

— Это, товарищ комбат... пленный. Немецкий пленный. Немцы его в плен взяли, но не дотащили. Он так с утра и лежал на ничейке, возле воронки. И мы, и немцы, видно, решили, что убитый. А он сейчас вот прикатился. Покатом.

Жилин смотрел на бойца и не мог его узнать — таким оплывшим, багрово-синюшным, страдающим было его лицо. Но он вспомнил белый кляп и заступился.

— Противник, товарищ старший лейтенант, захватил его в траншее, связал и забил кляп. Понятно, что в таком положении он не мог двигаться иначе как покотом.

Боец поднял тяжелую голову, в его узких заплывших глазах мелькнула благодарность, и он покивал — натужно и неясно.

— А вы откуда знаете такие подробности, товарищ младший сержант?

— Так я ж его отстреливал!

— Как это — отстреливали?

Жилин объяснил, и боец опять покивал, а Костя добавил:

— Я ж до воронки их допустил, надеялся, что он в воронку скатится и там долежит. А он, видите, хитрее оказался. Рисковее. Притворился убитым. — Подумав, добавил: — И то верно — из воронки червяком можно и не выбраться, и увидеть никто не увидит.

Боец снова покивал, и из его припухлых глаз выкатились слезинки. Он попытался что-то сказать, но слова

слились в сплошное бульканье. Он pokrивился от боли и заикал сильнее.

Комбат поднял взгляд на Жилина, и тот, безмерно жалея этого так и не узнанного им бойца, сострадая ему, почему-то с обидой сообщил:

— Вам бы полежать связанным по рукам и ногам, да еще с крепким кляпом. У него ж отнялось все... Язык же завернут был... Корень загнут... а дышать как?

Странно, но Басин не удивился этому упреку. Он кивнул — понял, — выпрямился и приказал:

— Чудинов! Немедля санитаров. Медицине скажи, что я приказал прежде всего дать стакан водки. Пусть командир хозвзвода найдет. Утром разберемся. Раз живой — значит, очухается. — Он опять нагнулся к бойцу и извиняющимся тоном сказал: — Потерпи чуток... Наладится.

Боец пошевелился, покивал и, трудно подняв словно ватную руку, провел ею по багрово-синюшному, в буграх лицу. Все смотрели на него и с сожалением и с болью, и все ж таки с малой долей брезгливости — уж слишком нечеловеческим оно казалось; слишком неясной, опасно неясной становилась судьба бойца...

Комбат выпрямился и опять резко приказал:

— Все! По местам. Жилин! Пойдем пройдемся по передовой.

И они ходили по передовой, слышали, как стонет тяжелораненый фриц, которого подцепили «кошкой» и волочили к бумажному мешку, смотрели, как работают бойцы. Басин ни о чем не спрашивал, не делал замечаний. Он только смотрел. Уже почти на стыке с восьмой ротой он остановился и спросил:

— Ты кем был до войны, Жилин?

— Газосварщиком.

— То-то смотрю — лицо темное. Прокоптился?

— На нашей сварке лицо не загорает.

— Это ж что у вас за особая такая сварка?

— Мы барабаны для котлов варили. А для этого есть такая сварочная машина. И в ней сидишь как в ЗИСе, в кабине.

— Интересно... Ну и как же вы варили?

— А довольно просто. На ней две газовых горелки на штангах. Одна сверху, одна снизу. Между горелками пропускается барабан, согнутый чуть внахлест. Горелки калят металл, и как только он начинает капать, плавиться — пускают в ход каталки (вообще-то они назы-

вались по-другому, научно-инострanno, но Жилин, когда рассказывал о своей работе, упрощал для ясности). Обратно — одна сверху, другая — снизу. Они и закатывали стык, сваривали. Получались цельносварные барабаны.

— Совсем интересно. Цельносварные — слышал, а такую технологию не представлял.

— А вы что — инженер?

— Да. И где ж такие машины имеются?

— Завод «Красный котельщик» в Таганроге.

— Ну, как же! Слышал, слышал. Прямоточные котлы профессора Рамзина?

— И они бывали... — Помимо своей воли, Жилин доверительно сообщил: — У нас говорили, что и дочка его у нас работала — такая беленькая. И ресницы беленькие. Но я этого точно не скажу.

Жилин надеялся, что Басин обязательно заинтересуется дочкой знаменитого профессора, но старший лейтенант опять замкнулся. Он смотрел в сторону противника и так же, не оборачиваясь, заговорил новым, задумчивым тоном:

— Значит, все случилось так: утром тебя отпустил комбат на охоту. Вы пошли на участок девятой роты, обстреляли машину, и она взорвалась. Потом вы сразу же сменили позицию на второй линии. Тут начался артоналет, а затем и разведка боем. Вы стали стрелять по противнику. А когда наши выбили немцев, ты побежал искать комбата. Так?

— Так, — согласился Жилин и отметил, что Басин стал обращаться к нему на «ты».

— А почему же ты с началом артоналета не побежал к комбату? Ты ж его связной!

— А кто ж думал, что начнется разведка боем? Считали — просто налет. В ответ за машину.

— А потом?

— Потом?.. Потом немцы пошли... Что ж?.. Бросать их бить и спешить, обратно, до комбата?..

— Постой, постой... Почему — обратно? Ты что ж, выходит, уже был у него и он опять тебя отпустил?

Жилин почувствовал, что краснеет.

— Нет, не в том дело. Это присказка у нас такая... Вроде как опять. Это самое обратно.

— Почти понял. И все-таки, почему не пошел к комбату?

Костя молчал. Да и как он мог объяснить то, что,

как он полагал, ясно каждому? В тот момент он был важнее на огневой, а не возле комбата. Он делал дело. Самое важное, ради которого он и призван в армию,— бил врага, спасал того же комбата. Но что объяснять, если Басин, кажется, все равно не примет объяснений? И раз уж знает все как было, значит, верно — над Костей нависла беда. Но откуда и за что — он не понимал.

Он не знал, не мог знать, что замполит полка позвонил Кривоножке и потребовал политдонесение о бое — жали из дивизии — и попутно приказал расследовать обстоятельства гибели комбата. Лысов был хорошо известен в дивизии. Замполит должен знать все досконально, чтобы вовремя ответить на неминуемые вопросы. И пока Жилин тащил тело комбата, пока готовил ему гроб — бойцов похоронили без гробов, а комбата снабдили, как положено, — Кривоножке поговорил со всеми, кто видел эту смерть.

Выходило, что Жилин где-то сачковал, возможно, даже струсил: ведь когда замполит бежал в девятую роту, он спрашивал у снайперов, где Жилин. И Жалсанов показал, что он пошел в штаб. А в штабе Костя появился уже после смерти Лысова. И начальник связи, младший лейтенант, рассказал, что Лысов ругал Жилина. И адъютант старший подтвердил, что дал комбату свой автомат и послал сопровождающим писаря. Даже если бы Кривоножке и захотел, он не мог бы сообщить в полк что-нибудь иное, кроме этих лично им проверенных обстоятельств. Он был честным человеком. Выходило, что в смерти комбата во многом виноват Жилин.

Но сам Жилин ничего об этом не знал, и его беспокоило только одно: кто же накапал?

— Так я спрашиваю — почему не побежал к комбату? Ведь начинался бой, а ты — связной. Обязан прикрывать комбата в бою.

Костя прикинул накоротке, что ему может быть за эту оплошку, и решил: дальше передовой не пошлют, а потому и рубанул:

— Так... само ж дело подсказывало, где мне быть. И потом, кто ж мог подумать, что он сам поведет... команду в эту самую контратаку? Ему ж боем надо руководить. Раньше он такого не допускал. Вот я и думал...

— А ты видел, как он повел людей в контратаку?

— Откуда же? Видел, что пошли от НП, но я ж не

думал, что и комбат там...—но тут же смолк, и Басин уловил, что Жилин остановился на взлете.

— Так видел или не видел?

— Не знаю...— признался Костя.— Вроде мне показалось, что он бежит,—он же в фуражке был, каску не любил,—но подумалось, что не должен он... Да и... Да нет... Все как-то не так... Словом, вроде померещилось, что он, а вроде и не он. И не думал я в те минуты — немцы ж на пеньке прицела. Бой же ж...

Басин долго молчал.

— Ну а потом чего ж ты помчался? Запал кончился? Или совесть заговорила? Ты ж с ним с границы?

— Да... С границы... А совесть?.. Совесть — она ж все время... копошилась. А вот уж когда вроде отбились... полегче стало, я подумал... да нет, не думал я... Просто почувствовал, что не так... Предчувствие... А может, дошло, что тот, в фуражке, капитан... Не знаю...

О том, главном, что его подтолкнуло — вывести людей из траншей,—он не сказал, забыл.

Они опять долго молчали, и Костя, с ужасом перебирая прожитое, понимал, что в смерти комбата есть и его вина. Нельзя было его оставлять... Никак нельзя. Был бы рядом — наверняка бы уберег. Собой прикрыв. Отташил... Ну да что теперь рассуждать... Теперь ясно — носи в себе этот упрек и мучайся. Да и нагорит еще. И тут Костя с пронизывающей ясностью осознал: а ведь дело пахнет трибуналом... Подумал, вспотел и сейчас же стал успокаивать себя: «Ну я ж тоже делом занимался. Я ж не сбежал. Врага ж бил».

Но сам чувствовал: как повернешь это дело... Как повернешь... Комбат, конечно, отпускал на охоту, но ведь...

Он совсем запутался в своих рассуждениях и оправданиях: все они — как повернешь. А Лысова нет... Нет и не будет... И этого из сердца уже не выкинешь.

— Ты спал?—спросил Басин.

— Нет.

— Это ж почему?

— Кривоножко приказал охотиться в личное время. Чтоб в батальоне не говорили, что мы сачкуем.

— Значит, и твои ребята сейчас в траншеях?

— В траншеях.

— М-да... Ну, вот что, Жилин, пойдём-ка мы сейчас в штаб. Здесь дела и без нас делаются. Иди спи, а завтра разберемся как следует.

Комбат знал, что разбираться обязательно придется. Лысов еще жил, еще гадал, как ему вести себя в новой обстановке без комиссаров, а Басин уже двигался на его место, потому что Лысову следовало отбыть в распоряжение штаба того военного округа, в котором формировалась новая, никому не известная дивизия. И в этой дивизии Лысов должен был занять отведенное ему место начальника штаба полка. Он подходил для этой должности — боевой опыт, училище, умение сработаться с политработниками. Наконец, и срок выслуги в звании давно вышел — выдвижение выходило закономерным.

Но Лысов ничего об этом не знал. Он жил сиюминутными заботами, не мог, да еще и не умел смотреть дальше. А Басин знал, что после госпиталя и военных курсов «Выстрел» ему надлежит сменить опытного комбата, поучиться у него с таким расчетом, чтобы видеть и свою перспективу. Поэтому Басин не спешил в батальон. Он задержался в штабе дивизии, потолкался по его службам, установил контакты, уяснил обстановку. То же самое сделал и в штабе полка — со всеми перешел, ощутил настрой, стиль полка. А потому что кое-что новое узнал и на курсах, и в штабе дивизии, то увидел не только хорошее, но и промашки, а главное, сумел показать, что он видит эти промашки. И еще не приняв батальона, заполучил если не славу, то всеобщее признание самостоятельного, подготовленного командира. И когда он шел в батальон, то знал, что связанного комбата скорее всего будут судить — бросить командира в бою, конечно, преступление.

Единственно, что его смущало, так это то, что Жилин и Лысов вместе идут с границы. Комбат вырос — получил новое звание, новую должность, а младший сержант так и остался младшим сержантом. Как-то странно... Чтобы получить сержантское звание в мирное время, требовалось многое, и недаром довоенные сержанты так легко становились средними командирами — подготовка и боевой опыт невольно их выдвигали.

Разговоры в траншеях кое-что прояснили, и старший лейтенант, отпустив Жилина, связался с командиром полка, доложил о ходе работ, предусмотрительно завысив размер разрушений, чтобы просьба о присылке саперов выглядела убедительней, в конце доклада сказал:

— Кстати, о связном комбата. Полагаю, что следует не судить, а писать наградной лист.— И рассказал, как проходил бой.

— Ты брось погибать! Что ж тебе, политики даром доносят?! Кривоножко расследовал и доложил.

Басин в свое время привык к директорским разносам и потому тактично промолчал, но как только командир полка приутих, жестко, может быть, даже излишне жестко для первого доклада, сказал:

— Нельзя судить человека за то, что, выполняя обязанности на двух должностях, он с какой-то справился не так, как положено. Вначале следовало определить его положение.

Командир полка не привык к жесткости возражений. Поэтому поначалу неприятно удивился, а потом рассвирепел:

— Ты что там ерунду городишь?! Связной есть связной...

И тут Басин перешел грань. Перешел сознательно, преднамеренно, полагая, что должен с первой же минуты поставить себя, показать характер.

— Он командир отделения снайперов,— перебил командира полка Басин.— И это отделение следовало либо узаконить, и тогда у Лысова был бы настоящий связной, либо ликвидировать. Комбат и его комиссар не сделали ни того, ни другого. А штаб полка не контролировал. А он обязан был сделать это — дело-то новое. Снайперских отделений нет нигде. Насколько мне известно.

От этой наглости командир полка даже задохнулся. Вероятно, ему захотелось сразу же закричать что-нибудь вроде: «Вон из моего полка! Мальчишка! Не успел появиться, а уже учить!» Но он не сделал этого. Не сделал и не мог сделать, потому что, как и каждый командир полка, был немножко дипломатом. Он помнил, что Лысов докладывал ему об этом отделении, но он решил не спешить с его оформлением. Да и, честно говоря, не очень верил в него: поди проверь, убил кого-нибудь снайпер или нет?

— А комиссар вдобавок еще и приказал проводить охоту в свободное время. А может ли быть у бойца свободное время на передовой? В демократию, понимаете, играли.— Басин отлично знал, как действует на старых командиров это словечко — «демократия», сказанное в определенном, армейском звучании. За ним стояло об-

суждение приказов командира, вообще приказов, своевольная их трактовка и прочие нетерпимые в армии грехи. И он не ошибся — командир полка кашлянул, а Басин продолжил:— Снайперы эти — все как один — либо комсомольцы, либо кандидаты партии.

Все больше осозная, что в случае с этим чертовым связным он в чем-то попал впросак: «Комиссар, понимаешь, подвел... подвел... Наговорил семь верст», но стараясь сохранить свой настрой, командир полка заорал:

— А он что, этот самый снайпер, большевик?!

— Кандидат партии...— как о само собой разумеющемся сообщил Басин.— И, между прочим, газосварщик редчайшей квалификации. Рабочий класс!— И, не давая перебить себя, продолжил:— Ну вот, понимаете, а этим ребятам даже отдохнуть не дают. Ночью на передовой, как все, а днем — на охоте. И это в то время, когда с нас требуют повышения боевой активности. Это же настоящий почин.

«Да...— вероятно, подумал командир полка.— Ничего себе комбат попался: не успел прийти, а уж такое...»

Но эти мысли, если они даже и явились, скорее одобряли молодого комбата. Главным тут оказалось иное: Басин легко перешел от сугубо военных, тактических разговоров к политическим. А они волновали командира полка, потому что в эти дни они волновали всех. И он еще смутно, еще не все улавливая, подумал, что снайперское отделение и в самом деле может стать почином, и остановил подчиненного:

— погоди ты! Уже и почин! Ты давай еще раз по порядку расскажи, что ты там нарасследовал.

Пришлось повторять то, что старший лейтенант узнал о снайперах, а командир полка слегка поддакивал: «Ну, взрыв-то я и сам слышал», «То-то я глядел с НП и удивлялся — чего ж это, думаю, фрицы пулеметов не тащат?» Он говорил искренне, потому что в горячке внезапного боя он, конечно, видел все его особенности, но осмысливать не успевал. Да, вероятно, и не мог — такого быстротечного боя еще не бывало, и к его оценке командир полка подходил со старыми, привычными мерками. А вот теперь открываются и новые подробности и новые возможности.

— Ну, хватит! — перебил командир полка. — Расследовать все равно придется, а вот начальнику политот-

дела я доложу. Что ты думаешь делать со снайперами?

— Как кончится расследование, узаконю отделение — и все дела. Надеюсь, что и вы поможете — выделите снайперок. — Басин примолк и опять, по бывшему своему, заводскому, опыту — добился победы над начальником — не вылазь, дай и ему отыграться, — сообщил: — Правда, тут у нас есть еще и кое-что неприятное...

Командир полка насторожился: Басин не сказал «у меня». Он сказал «у нас». Это — тоже новые веяния... Впрочем, он только что с курсов — там могли и новому научить.

— Что там... у вас?

— Немцы захватили пленного, но утащить не успели. Жилин его отбил — застрелил конвоиров, пленный и вернись. Так что вот — политическая задача. С одной стороны, сдача в плен врагу, с другой — героический поступок: связанный, с кляпом во рту вернулся в свое расположение. Опять же требуется расследование.

— Кривоножко докладывал? — посопев, спросил командир полка.

— Не думаю. Не успел.

— Ну вот... Значит, первое ЧП имеется. С чем и поздравляю.

— Это опять-таки как посмотреть, — ответил Басин. — Можно как на ЧП, а можно и как на показатель высокого патриотизма. — Словно понимая, что командир полка насторожился от такой непривычной постановки вопроса, добавил: — Словом, расследование покажет. У меня все.

Весь этот разговор происходил при молчаливом присутствии адъютанта старшего и телефониста. Конечно, Басин знал, что не то что завтра, а уже сегодня ночью его новые подчиненные сделают выводы.

Глава десятая

С Кривоножко, который расследовал дело пленного, старший лейтенант Басин встретился за полночь. Сам Кривоножко не очень торопился со встречами. Ощущение неудовлетворенности и даже обиды, появившееся в конце боя, окрепло. Что ж... Он просто замполит... Значит, лезть на глаза начальству не следует, нужно иметь скромную, но гордость. И он ждал, когда новый начальник хоть чем-нибудь проявит себя.

И он проявил — отозвал снайперов из рот и приказал им отдыхать. Правда, Кривоножко не знал, что так рассудил Жилин: если ему разрешили спать, так почему другие хуже? Костя сам обошел ротных и передавал им приказание. И никто не удивился — все видели, как работали снайперы, и все понимали: отдыхать после такого им нужно не только ночь. А главное: выставил Кривоножко в невыгодном свете перед командиром полка. И еще не зная старшего лейтенанта, замполит его невзлюбил, в душе решив, что представляться ему не станет. В конце концов он не мальчик! И он старше нового начальника по званию. И возрастом. И, уж конечно, образованием. Надо с первого же дня поставить на своем и показать, что хамства он не потерпит. Не угоден — пусть переводят! Меньше батальона все равно не дадут.

Внутренне бунтуя, но стараясь быть спокойно-решительным, Кривоножко вошел в свою землянку готовым к первой и последней решительной схватке. За столом сидел старший лейтенант — ворот расстегнут, ремень без портупеи со старенькой кобурой небрежно валялся на топчане, возле каски, а автомат — прямо на столе, рядом с толстой тетрадью.

Старший лейтенант поднялся — статный, слегка полнеющий, с темными волнистыми, зачесанными назад волосами, высоким, уже тронутым морщинами лбом и крупными, хорошего рисунка губами. Цвет его глаз Кривоножко не заметил. Секунду они молча смотрели друг на друга, потом старший лейтенант протянул руку и, улыбаясь, спросил:

— Кривоножко, Павел Ефимович, из крестьян, образование высшее... ну и так далее?

— Так точно, — обескураженно согласился Кривоножко, не зная, как себя вести.

— А я — старший лейтенант Басин, Андрей Николаевич, год рождения десятый, инженер, сюда с высших командных курсов «Выстрел». Воевал на юге, ранен, контужен... Садись, замполит, будем держать совет.

Кривоножко медленно присел, снял каску и хотел было «рассупониться», но не посмел: вспомнил, как всегда на него косился Лысов. Басин заметил это и засмеялся:

— Привык к амуниции? А я все никак не могу привыкнуть... Гражданка, знаешь ли... посвободней хочется.

Кривоножко даже встряхнул головой, отводя наваждение. Все противоречило его представлению о командирах батальонов: и образование, и стиль поведения, и даже внешний вид. Пришел новый человек, такой, которого он не ждал и ждать не мог. Кривоножко опять встряхнулся и поерзал — появилось ощущение подвоха: играет старший лейтенант, ждет, когда Кривоножко попадет впросак.

Басин почувствовал, а может, и понял состояние своего заместителя по политической части. Лоб наморщился, и шрамик стал виднее.

— Ну что ж, Павел Ефимович, докладывай о политико-моральном состоянии вверенного нам батальона.

Кривоножко отметил: первое обращение на «ты» не обмолвка. Что это значит? Стремление сразу установить добрые, равные отношения или, наоборот, подчеркивание их неравенства? Для Кривоножко всегда — и в учительской среде и на политработе — все эти мелочи, переливы человеческих отношений имели огромное значение. И он решил сдерживаться.

Говорил он коротко, ясно, и получалось, что батальон в целом крепкий, хорошо сколоченный, ЧП — чрезвычайных происшествий — не бывало давненько, хотя, конечно, есть и недоработки: недостаточная идейная закалка молодых, и по возрасту и по боевому опыту, командиров, трудность ведения партполитработы: неудачные бои на юге... Люди нервничают. Приходится крутиться — не столько разъяснять, потому как что ж разъяснять в таком цейтноте? — сколько придерживать и сглаживать.

Басин слушал не перебивая, изредка делая пометки в своей толстой тетради, с интересом вглядываясь в замполита. И это вглядывание тоже не нравилось Павлу Ефимовичу: в прежние времена прежние начальники сразу, не таясь, выносили решение — правильно говоришь или неправильно. Можно было быстро поправиться, уловить, чего хочет начальник. А этот молчит и пишет.

— Значит, ЧП не было... — Басин навалился грудью на стол и сцепил кисти. — А как вы рассматриваете случай с пленным?

Вот... Вот и начинается! Вон он когда берет за глотку. Кривоножко выпрямился. В эту минуту он больше всего ненавидел этого самого пленного — ведь как бы все хорошо получилось, если бы не этот дурак. Павел

Ефимович даже пожалел, что его не убили в суматохе на ничейке, но не то что осудил или отогнал эту поганую мысль, а заглушил ее. Ответил с достоинством:

— Наши ведь тоже взяли пленного. И не одного. Правда, раненых, но тем не менее...

— И тем не менее наш тоже оказался в плену. Кстати, кто он?

— Кислов, Иван Андреевич, колхозник. Женат, трое детей. Чудинов говорит, что дисциплинирован и сознателен. Но... есть сведения, что последнее время вел себя очень нервно: осуждал наше бездействие на этом участке, возмущался положением под Сталинградом...

— Откуда он родом?

— Пензенский.

— Совсем неподалеку от Сталинграда... А там — трое детей. Возраст?

— Год рождения четырнадцатый. Беспартийный.

— Быстро он детей наделал... Ну и как же он попал в траншеи? Дежурный?

— В том-то и дело! — оживился Кривоножко: в бесстрастно-иронических вопросах и замечаниях комбата ему почудилось понимание. — Он не должен был быть в траншеях. Рота отдыхала. А он попросился у командира отделения сходить в траншеи — говорит, что забыл в нише противогаз, а в нем — книги.

Басин с интересом посмотрел на ожившего Кривоножко и едва заметно усмехнулся — шрамик над переносицей побелел.

— За книжками, выходит, побежал... Ну а потом что?

— Командир отделения говорит, что когда начался артналет, он видел, как Кислов, вместо того чтобы пробиваться к своим, к землянкам, повернулся и побежал к передовой. Зачем, спрашивается? Выходит, в плен побежал? Если так — таких расстреливать и то мало!

Кривоножко не хотел выговаривать этого слова — «расстреливать». Оно вырвалось само по себе, потому что приглушенно уже жило в нем. И еще, наверное, потому, что ему очень хотелось быть железным, бескомпромиссным человеком. Хотелось сразу поставить себя, а тут подворачивался случай...

Но Басину это, кажется, не понравилось. Его лицо неуловимо изменилось — стало строгим, даже суровым, а шрамик над переносицей желтовато-белым и мягко блестящим, как пчелиный воск после липового взятка.

— Подождите с расстрелами, товарищ замполит... Не спешите. Человек побежал не к землянкам, где можно было спрятаться, если... если пройдешь сквозь огонь, а к передовой, где огня еще не было, но где, возможно, следовало вступить в бой. Может, даже одному. Ведь, кроме наблюдателей и дежурных, в траншеях никого не было?

— Вот именно!— ожесточаясь, ощерился Павел Ефимович.— Нормальный человек прежде всего прибьется к своим. Гуртом легче бить. А этот? Подальше от своих? Не-ет, товарищ старший лейтенант, вы не защищайте...

— Я не защищаю. Я выясняю. Ведь решение выносить мне.

Впервые они встретились взглядами, и Кривоножко наконец увидел его глаза. Светло-карие, небольшие и острые. Они не понравились Павлу Ефимовичу — в них не было сомнений и колебаний.

«Сразу подчеркнул: «Я буду решать». А я, выходит, только при нем...»

Но странно, уже привычное это самобичевание не принесло привычной же горькой радости — вот до чего меня довели. Наоборот, сам того не ожидая, Кривоножко ощутил облегчение: хоть и не слишком хорошо, а все — ясность. От Лысова он такого бы не потерпел, а вот от Басина... Что ж... Он не кадровый, отучившийся полгода на курсах младших лейтенантов. Он — инженер. Высшее образование. Да и с курсов — высших — только что... Ведь учили же их там кое-чему...

И как только пришла эта успокаивающая мысль, облегчение усилилось, и взгляд Басина не показался ему неприятным. Обыкновенный волевой командир...

Нет, теперь, кажется, Басин начинал не то что нравиться, но Кривоножко примирялся и с ним, и со своим новым положением и уже инстинктивно искал оправдания всему, что произошло и с ним и с другими...

— Так вы считаете?.. — начал было уже осторожней и мягче Кривоножко, но комбат, не повышая голоса, перебил:

— Пока что я ничего не считаю. Расследуют, не волнуйтесь. А нам с вами нужно иметь полную и точную картину происшествия. А вот чрезвычайное оно или нет — покажет дело. — Кривоножко отметил, что комбат твердо перешел на «вы», и принял это за признание его, замполитовских, качеств. Потому он и согласен покивал.

Да, учили их там, учили... Но почему, почему он не спрашивает о Жилине и обо всех снайперах? Ведь с них все началось. С них!

Значит, все сам решил, припоминая все, что рассказывал ему адъютант старший, понял Кривоножко.

Понял и, по привычке угадывать и упреждать мысли начальства, протянул, не столько утверждая, сколько как бы советуясь и заполняя паузу:

— Как вам связной?

— О Жилине пока говорить нечего,— отрезал Басин.— Покажет расследование.

Кажется, Жилин ему не понравился. Это — хорошо... Связной, конечно, нужен иной — услужливей, заботливей.

Почувствовав неожиданное облегчение, Кривоножко спросил о том, что его мучило больше всего, не давая возможности окончательно примириться и с новым начальством и со своим новым положением.

— А вы, простите, большевик?

— Я?— удивился Басин.— Да. Большевик. В институте был комсоргом курса, на заводе — парторгом цеха. Потом начальником цеха.— И, словно поняв все мучения своего замполита, чуть-чуть улыбнулся, и от этого напряженное лицо Кривоножко тоже разгладилось.— И вот вспоминая то время, мне и хочется с вами посоветоваться. Дело в том, что политикой партии стала война. Значит, нужна военная пропаганда, военная политика, или, говоря довоенным языком, производственная пропаганда. Так вот я здесь,— он придвинул к замполиту несколько газетных вырезок, торчащих из потрепанного журнала,— подобрал нужный материал. Кстати, в будущем делайте это сами. Это все о кочующих огневых точках.— И, перехватив недоуменный взгляд замполита, пояснил:— Есть, представьте себе, и такие. Они больше всего подходят для наших условий и позволят полнее выполнить приказ об активизации боевой деятельности. Прочтите, проведите совещание с агитаторами и активом по этому вопросу, а на будущей неделе проведем батальонное партсобрание с повесткой дня: «Сталинград и наши задачи». Как вы на это смотрите?

Никогда еще — ни на сборах, ни в резерве, ни, конечно, во время боев — никто из командиров-строевиков не ставил перед ним таких задач. Что это задача, а не совет, Кривоножко стало ясно, как только Басин ска-

зал, что ему «хочется посоветоваться». Не такой, видно, человек, чтобы советоваться. Командир ставит задачу, отдает приказ — вот что это за совет. Но такую задачу Кривоножко получил впервые, и он растерялся. Это было его святая святых.

Но ответил он в высшей степени странно для собственного настроения и убеждения. Что-то уже подавило его, перевернуло. Может быть, та самая воинская дисциплина, которая причиняет столько мучений отдельно взятым людям и которая как-то незаметно, въедливо, постепенно становится их сущностью.

— Есть, товарищ старший лейтенант.

— Ну, ладно, — опять доверительно, как в начале беседы, улыбнулся Басин. — Как бы нам организовать ужин?

— Это можно, — тоже понимающе улыбнулся Кривоножко, но сейчас же вспомнил, что Жилину разрешено спать, а командир хоззвода тоже наверняка спит, и послать к нему некого. Выходило, что следует идти самому.

«Что ж... Пока что я еще хозяин и должен угостить нового командира. А потом, как-никак командир есть командир», — горько улыбнулся про себя Кривоножко и пошел будить командира хоззвода.

Глава одиннадцатая Ночью пал зазимок. Под ногами тревожно хрустела корочка подмерзшей бурой земли, ломко падали травы, запахло горьким осенним листом и еще тем необыкновенным — чистым, арбузным, — чем пахнут первые морозы.

На небе полыхали звезды, и заря вставала торжествующая, желтовато-алая. Иней и ледок казались опасными, ненастоящими, в них играли алые отсветы.

Басин собирался отдохнуть, но пришел уполномоченный особого отдела старший лейтенант Трынкин. Невысокий, худощавый, с близко поставленными остро-серыми, круглыми, птичьими глазами, он держался скромно-снисходительно и обратился к сонному Басину как к старому, но не слишком любимому знакомому: они встречались в штабе полка. Точнее, Басин сам заходил к нему, поговорить.

— Рановато укладываешься, старшой, — по-волжски перекатывая «о», пробасил особист.

— Откуда ж знать, что ты с утречка заявишься. Полагал, еще позорюешь... Землянка у тебя теплая...

— У тебя дела такие, а мне зоревать?— притворно удивился Трынкин.

— Ну, зачем ты уж так сразу — «у тебя». У нас, дорогой ты мой старший лейтенант. У нас. В полку.

— Отвечать тебе...

— И тебе.

— А я ж при чем?— насторожился Трынкин — он не привык к такому вольному отношению.

— А как же ты считаешь? Если и в самом деле Кислов полез сдаваться в плен, то как твое начальство расценит твою оперативную работу? Не знал, что такой гад имеется?

Трынкин сощурился, и его покойное бледное лицо стало решительным и, пожалуй, злым; широко вырезанные ноздри чуть вздернутого носа раздулись.

— Ты, смотри, петришь... Откуда?

— Как учили, старшой. Как учили...

Они помолчали, и Басин успел одеться и встать.

— Ты куда собрался?

— Поговорим с Кисловым вместе... Для начала...

Басин смотрел твердо, но в глазах мелькала настороженная усмешка. Трынкин подумал, что комбат знает, как проворачиваются подобные дела, и все-таки собирается присутствовать на допросе. Это — не положено. А он...

«Напрасно пришел к нему, — подумал Трынкин. — Нужно было сразу к комиссару... Как всегда».

И вдруг вспомнил, что «как всегда» уже не будет. «Как всегда» стало «как раньше». Может, и прав Басин?

— Не задумывайся, старшой. Надо выполнять постановления партии и правительства, а также приказы Верховного Главнокомандующего и укреплять единоначалие. А поскольку я здесь командир, то отвечаю и за Кислова, и, между прочим, за тебя тоже... Пока ты в батальоне.

К подобному повороту дел Трынкин не готовился. Он внутренне заколебался. Чтобы потом ни говорили, а ЧП с пленным действительно не только у Басина, но и в полку. И как бы то ни было, а он, Трынкин, должен был знать о Кислове раньше. Должен... А не знал.

Басин не дал ему додумать.

— Пошли. Дел еще немало... как я понимаю...

Он усмехнулся и вышел за дверь. Трынкин, еще нехотя, пошел следом.

Кислов спал в землянке фельдшерицы. За ночь он отошел. Страшное его багрово-синюшное лицо стало бледно-серым, обыкновенным окопным лицом. Он выглядел бодро и когда угадал в сумерках и нового комбата и Трынкина, сразу понял, что к чему. Он подобрался и напряжился. Серые глаза его расширились, и слегка курносый нос словно заострился. Он облизал полные потрескавшиеся губы и отчаянно спросил:

— Как понимаю, допрашивать будете? Отвечаю — делал настил в стрелковой ячейке, чтоб ноги не промокали, не стыли, а работать было неудобно, тесно, противогаз мешал...

— Кстати, — лениво перебил его Трынкин, — большинство бойцов противогазы не носят. А вы — носили. Почему?

— Отвечаю — одно: что положено носить, я и носил. Второе. В нем на месте накидки — там в сумке карман такой — у меня книги были.

— Что за книги? — опять перебил Трынкин.

— Отвечаю. Учебник шофера. Отвоюемся — сдавать на шофера буду. Вот я и выложил противогаз в нишу. А тут командир отделения заторопил — я противогаз и забыл. Пришел в расположение, вспомнил и отпросился у младшего сержанта.

— Читать собирались? — почему-то язвительно спросил Трынкин.

— Читать.

— Все — работать, а вы — читать.

Кислов понял подвох и ожесточился. После всего, что с ним произошло, он не боялся уже ничего и потому вел себя смело, почти вызывающе.

— Ребята перекуривают, а я — читаю.

— Вы что ж — не курите?

— Не курю.

— Старовер? Баптист?

— Физкультурник, товарищ старший лейтенант. ГТО первой степени, соревнования.

Встреча допрашиваемого и следователя всегда в чем-то схватка, борьба. Басин понимал Трынкина: он сбивал внутренний накал Кислова, расшатывал в нем ту линию поведения, которую мог наметить себе Кислов. И в то же время щупал его, искал ниточку, которая могла привести к истине. И то, что он так попался, почему-то обрадовало Басина, но он все так же хму-

ро, уставившись в пол и сцепив кисти рук, сидел на топчане и слушал.

— Понятно...— протянул Трынкин.— Комсомолец? Беспартийный?

— Внесоюзный и беспартийный. Из комсомола выбыл по возрасту.

— А почему в партию не вступал?

— Подал, а тут война. А на войне то окружение, то госпиталь... Никак на одном месте не усидишь, чтоб опять получить рекомендации.

Что-то напряженное, злое, что жило до сих пор в Трынкине, словно стучевалось. Он не изменил ни позы, ни тона, ни выражения сумрачного лица, но и Кислов и Басин почувствовали — в нем что-то сменилось.

— Так... Пришли в траншею, взяли противогаз и... что было дальше?

— Что было дальше? Отвечаю. Пошел в отделение, а тут арналет. Я в горячке бросился было к ребятам, но меня, видно, маленько контузило — в ушах зазвенело, и все поплыло. Думаю — такого налета давно не бывало. Не иначе артподготовка, а в траншеях почти никого. Я и повернул назад.

— Выходит, чтобы защищать позиции?

Слова эти — защищать позиции — прозвучали фальшиво, и Кислов недоуменно взглянул на Трынкина: как это старший лейтенант может употреблять такие гражданские слова?

— Отвечаю. А зачем же еще? — почти с вызовом ответил Кислов.

— Желание благородное, а все-таки в плен попался. Как же это произошло?

Кислов на мгновение замаялся, и напряженное, уже розовеющее его лицо неуловимо изменилось. На нем мелькнуло горькое раздумье и вера, что его поймут правильно, — может быть, потому, что Кислов чувствовал смену настроения Трынкина.

— Понимаете, товарищ старший лейтенант, тут я, наверное, промашку дал. Я ж как бежал? Согнувшись. За бруствер не выглядывал, боялся, что осколки срежут. Да и, наверное, рассчитывал, что фрицы под свой огонь не полезут — дождутся окончания артподготовки. Всегда ж так бывало...

— Сколько раз вы ранены? — быстро, резко спросил Трынкин, опять сбивая настрой и Кислова и, может быть, свой.

— Два раза.

Кислов настроился на теплый покаянный лад, и этот быстрый, злой вопрос смутил его. Он впервые почувствовал себя виноватым и растерялся.

Молчание получилось излишне долгим — Трынкин почувствовал это, поерзал и торопливо потребовал:

— Продолжайте.

— Так это... Я еще до своей ячейки не добежал... Все думал, что у соседа в нише надо бы гранат прихватить, а фрицы — вот они. Не скажу — испугался... Не успел, наверное... Удивился скорее — откуда они? Арт-подготовка все ж таки... А винтовка ж у меня хоть и с патронами, а патрон не дослан. Вот и об этом тоже сокрушался... Не ожидал. Я одного, того, что как раз передо мной выпрыгнул, по-бабьи, тычком винтовкой сбил, и тут у меня огонь из глаз — сзади оглушили. Видно, прикладом.

Кислов осторожно притронулся рукой к макушке и поморщился от запоздалой боли.

— Очнулся уж на ничейке, возле воронки — задыхаться стал. Они, черти, кляп далеко вбили. Вот... так...

Трынкин привстал, ощупал стриженую кисловскую макушку и покачал головой. Басин теперь, и не трогая, увидел и шишку и багровый рубец запекшейся крови.

— Каску оставил, чтоб налегке? Не пригодится вроде...

— Так я ж только за противогазом... Думал...

— Думал, думал! Противогаз забыл и каску забыл. Почему ж винтовку не забыл? — И глядя, как безропотно переживает Кислов этот набор улик, решил: — Давай дальше. Рассказывай.

— А что ж... Справа-слева мертвяки... чужие. Через них переваливаться? Начал шебуршиться — дыхания не хватает. Ладно, думаю, полежу, кляп вытолкну. Языком много не наработаешь — аж резь под корнем пошла. А главное... Главное... может, и смешно вам это покажется... Как начну напрягаться, так и... того... мочусь. Подпирает... А второе, как напрягаюсь, воздуха не хватает. Так не хватает, что сознание уходит.

— Для этого нос есть, — сурово, но так, что Басин понял, что Трынкину уже все ясно, отрезал особист.

— Так у меня ж насморк. Я ж зачем и подстилку делал: чтоб не простужаться. Продую нос — глотну воздуха, а потом опять заливает... Пробовал в себя... черт его знает, чего там у меня внутри завернулось —

не пропускает. Задыхаюсь. Даже ужас брал, не хватало воздуха, и все тут.

Басин поднялся. Если что-то и не прояснялось для него раньше, то теперь он знал — Кислов не врет.

— Товарищ старший лейтенант, зайдите ко мне. — А Кислову сказал с еле заметной и потому особенно доброй подначкой: — Штаны высохнут, а наркомовскими ужас выбьешь.

Трынкин, после его ухода, спрашивал еще немного — голос у него стал противно требовательным (Кислов решил, что теперь ему, после ухода комбата, совсем хана) — и стал составлять бумаги. Он писал долго, старательно, прикидывая что-то свое, и Кислов, как на ничейке, впадая в забытие и вырываясь из него, ждал смерти, чтобы избавиться от мучений, так и сейчас, неотрывно наблюдая за трынкинской сильной, с черными глянцевыми волосами на пальцах, сноровистой рукой, мучительно переживал каждое слово, после которого рука делала остановку. Писался его приговор, и, как полагал Кислов, оправдательным он быть не может: в плен он все-таки попал, и как ни объясняй, а улики против него много. Так много, что, будь он на месте судьи, он бы не мог не принять их во внимание...

Но когда пришел черед подписывать бумаги, Кислов с удивлением отметил, что улики эти отсутствуют и вся его история изложена чересчур уж спокойно и как бы обыденно. Так обыденно, что он даже обиделся — пережить такое, и на тебе: ничего особенного. Попал в плен и выкарабкался. Пока Кислов читал, Трынкин вызвал фельдшерицу — молодую и не очень красивую — и приказал выдать справку о состоянии Кислова, а уходя, буркнул своим противно требовательным тоном:

— Не разлеживайся. Вину надо искупать.

Впервые Кислов не выдержал и с великой надеждой спросил:

— Что теперь будет?

В иное время Трынкин, может быть, ответил по-иному, а скорее всего совсем бы не ответил. Но сейчас он сказал непривычные, но нужные слова:

— Командир решит, что будет.

Что ж поделаешь — единоначалие. Конечно, и Трынкин многое решает, но и командир. Такие времена...

И от вошедшего в него сознания, что единоначалие все-таки существует и обойти его теперь можно дале-

ко не всегда, легонько вздохнул, но сейчас же поборол себя и пошел допрашивать Жилина. Во всем должна быть ясность. В том числе и в смерти комбата.

Глава двенадцатая Однако Жилина Трынкин не нашел — отделение ушло на охоту. Особист опросил писаря, командира взвода, связи, артиллеристов, а под конец адъютанта старшего. Этот отвечал сдержанно, упирая на то, что комбат каждый день отпускал снайперов на охоту, и в этот день тоже. Такой порядок был заведен в батальоне, и комбат порядок поддерживал.

Трынкин пообедал в землянке командира хозвзвода, но от водки отказался — он не позволял себе пить на людях: такая должность. Когда вернулись снайперы, сам пошел к ним, отозвал Жилина в сторону, на высверкнувший яркой озимой зеленью пригорок. После заморозка день выдался теплым, солнечным, дали про-светлели, и дышалось легко, весело.

Жилин добросовестно рассказал все как было, и оно, рассказанное, сходилось с тем, что узнал Трынкин от других. Заходящее, греющее спину солнце, дальний вороний грай, редкие выстрелы — все настраивало на мирный лад, но Трынкин чувствовал себя не в своей тарелке. Что-то мешало ему, и только в конце беседы-допроса, когда он понял и принял в сердце происшедшее, он заметил, что в кустарниках, как в скрадке, сидят снайперы и наблюдают за ними. И Трынкин сразу понял, чей взгляд его все время беспокоил — немигающий, острый взгляд Жалсанова. Глаза степняка из рода воинов, казалось, никогда не мигали и не метались. Он смотрел цепко и ровно. Чуть скуластое лицо было покойно-бесстрастным и потому загадочным.

Освобождаясь от внутреннего беспокойства — стало известно, откуда оно идет, — Трынкин уже миролюбиво спросил:

— Слушай, Жилин, а если по-честному — ты сам уверен, что бышь фрицев наверняка? Или, может...

Жилин оскорбленно вскинул взгляд на старшего лейтенанта, потом хитро улыбнулся и стал шарить взглядом по округе. Над тем перелеском, со старыми, еще золотящимися листвой березами, что отделяли кладбище от позиций, кружились вороны, то присаживаясь и покачиваясь на ветках, то взлетая и размеренно, солидно покрикивая. Жилин медленно дослал патрон, под-

нял винтовку и, как только одна из ворон уселась на верхушку подсыхающей от старости березы, выстрелил. Ворону словно подбросило, и она полетела вниз, роняя перья и вспугивая подруг.

— Вот так вот, товарищ старший лейтенант,— сказал Жилин и откинул стреляную гильзу.

Трынкин улыбнулся.

— Здорово! Верю!

Но сейчас же опять почувствовал беспокойство и оглянулся на Жалсанова. Солнце освещало его темное, словно высеченное из песчаника лицо, глаза были чуть прикрыты и казались совсем узкими. Но не лицо Жалсанова поразило Трынкина, а его руки — большие, раздавленные в кисти, крепко, так что явственно белели суставы, сжимающие винтовку с оптическим прицелом. Потом старший лейтенант посмотрел на других снайперов. Все были покойны, бесстрастно покойны, и у всех руки — большие, крепкие.

Было в их позах нечто такое, на что раньше Трынкин не обращал внимания,— уверенность в своих силах, в своей правоте, неукротимая внутренняя решимость, перед которой, вероятно, спасовала бы и своя и чужая смерть. Так отдыхают рабочие люди, мастера своего дела, перед новой, трудной работой, которую, как они твердо знают, никто, кроме них, не сделает. А они делают. И даже если им будут мешать, они отодвинут молча, небрежно-решительно мешающее и все равно сделают. Потому что, кроме них, этого не сделает никто.

«Да...— подумал Трынкин.— Вот тебе и Сталинград...»

Но какая связь между увиденным и далеким, горящим в тот час Сталинградом, он бы объяснить не смог. Но она была, эта связь, она жила и делала свое дело.

— Жилин!— закричал вышедший на близкий выстрел Басин.— Ты стрелял?

— Я, товарищ старший лейтенант!— Жилин вскочил.— Товарищу старшему лейтенанту показывал.

— А-а!— спокойно, даже лениво протянул Басин и спросил, подходя:— Товарищ старший лейтенант, окончили?

— Да... Закруглился,— поднимаясь на ноги, ответил Трынкин.

— Ну, давай ко мне, а я тут команду дам.

Трынкин не спеша пошел к комбатовской землянке, а Басин, насмешливо поглядывая на Жилина, сказал:

— Вот что, Жилин. Как связной ты мне и на страш-

ном суде не требуешься. Разгильдяй, каких мало. В землянке и то порядка навести не умеешь.— Глядя, как темнеет Костино лицо, Басин усмехался все откровенней.— Так что я тебя от этой важной должности отрезаю. Не достоин.— Он сделал крохотную паузу.— Назначаю командиром снайперского отделения. Разрешаю взять еще пару человек. Помолчи! Два дня на обустройство. Вырыть землянку неподалеку, а то разбалуетесь—это раз. Как сам понимаешь, для этого двух дней много. Главное, вырыть большую землянку для замполита. Два-три топчана. И так, чтобы он мог людей собрать. Заметь—вырыть. А когда саперы освободятся, они остальное доделают. Это—два. Все понятно?!

Конечно, Жилин уловил комбатовское настроение, принял его тон и, благодаря его глазами и улыбкой, все-таки съерничал:

— Расстаетесь, выходит, с замполитом... А я ж надеялся вас вдвоем еще понежить... Обратно же, и водочкой попоить...

— Не болтай, Жилин. Водочки ты и без нас ухватишь. Но с другой стороны—какой из тебя связной...— Комбат задумался.— Тебе, дураку, учиться нужно. И я тобой займусь. Учти! Я из тебя человека сделаю. Потом весь этот... ну, завод-то ваш...

— «Красный котельщик»?

— Во-во! Весь «Красный котельщик» будет удивляться—из такого разгильдяя, как Жилин, и то человека сделали.

Басин подмигнул, и они разошлись: Басин пошел к себе, а Жилин подался к снайперам, не выдержал и заорал совсем не по-командирски:

— Ну, братва, живем!

Любовь и слава

Глава первая

Командиру отделения снайперов Косте Жилину присвоили звание

сержанта и направили на неделю в дивизионный дом отдыха. Он размещался при медсанбате в большой деревне. Бои шли под Сталинградом и на Кавказе, а на Западном фронте, как сообщали сводки Совинформбюро, никаких изменений не происходило. Медсанбат почти пустовал. Немногие раненые лежали в школе, а избы, в которых раньше располагались палаты, отдали отдыхающим красноармейцам и младшим командирам.

Жителей из деревни перевезли в тыл со всеми шмотками и запасами.

Костя пришел в дом отдыха после завтрака: он отстал от ребят полка, потому что проверял, как его подчиненные выдвигались на огневые. Но после регистрации его все равно повели в столовую — огромную брезентовую палатку — и дали кружку чая со сгущенным молоком и несколько галет «Поход».

Костя не пил молока с тех пор, как встали в оборону. Оно показалось ему необыкновенно вкусным, и он подумал: «Жить можно».

Потом его отправили в баню. Эта была не окопная — в землянке, а то и просто за плетнем из елового лапника, с бочками из-под бензина для согрева воды и лапником же вместо пола. В такой бане не столько напаришься, сколько намерзнешься, оттого и мылись в ней быстро, но старательно — тело требовало. В доме отдыха баня оказалась старинной, с парилкой и предбанником. В нем стояли темные отполированные скамьи, и в бревнах торчали гвозди-вешалки.

Однако вешать ничего не пришлось — белье сразу кинули в кучу, а обмундирование — шаровары, гимнастерку, шинель — отправили в вошебойку. И совсем не потому, что Костя или кто иной страдал от вшей. Нет. Это когда наступали прошлой зимой от Москвы, так и холода и вшей нахватались.

Просто удивительно — зайдешь в деревню и, не спрашивая, определяешь: были немцы или не были. Если вошь пешей стаей ходит — были недавно, если ушли давно — спи спокойно, разве что укусит домашний, пригревшийся и потому не злой клоп.

Пожилой санитар сунул Косте кусок мыла и спросил:

— Веничком балуешься?

Костя подумал и отказался. Санитар посмотрел на него неодобрительно.

— Ты что, не русский, что ли?

— Почему ж не русский?

— Черный уж очень, — сказал санитар, кивая на еще не утратившую смуглоту южного загара поджарую фигуру Кости. — И от веника отказываешься.

— Во-он што... Не привык, батя. Обхожусь, — весело ответил Костя и пошел в предбанник.

К бане он и в самом деле не привык. До армии Костя жил на окраине Таганрога. Он, как и большинство его товарищей, полгода купался либо в море — вода в нем сладкая, донская, — либо в Миусском лимане. Круглый год мылись после работы в цеховом душе, но перед праздниками ходили в баню на Новом базаре. В ней была парилка, однако Костя ее не любил.

Парилка требует времени для семи потов.

Вначале нужно сидеть, кряхтеть от жара и ждать, когда пойдет первый пот — сероватый, тяжелый, густой, — а потом лежать на полке, переворачиваясь с боку на бок, и млеть, исходя уже светлым и легким, струйками, вторым потом. К этому времени следует подумать о мокнущем в шайке веничке. Говорили, что вся прелесть в березовом венике: в его листьях содержится нечто особенно важное и полезное. Но Костя этого не знал, потому что в Таганроге и его округе берез не водилось. Первый раз не только березу, а даже осину, да и настоящие елку с сосной он увидел уже в армии, когда прибыл с пополнением в Белоруссию. Вот почему особые любители парилки в той красивой бане на Новом базаре парились с вишневыми, а иногда сливовыми вениками или еще какими бог на душу положит.

После третьего — мелкого, бисером — пота и следовало хлестаться веником. Считалось, что чем крепче мужик, тем больнее он должен хлестаться. Может, в этом и на самом деле была особая приятность — говорят, что

и в боли бывает радость,— но Костя такого не признавал.

После хлестания и выбитого им четвертого, размазанного, пота следовало еще полежать, исходя уже сладким, безвольным пятым потом, бездушно ощущая, как отмякает, алея, исхлестанное тело, как оно радуется, что его уже не лупят наотмашь доброхоты.

Во рту к этому времени пересыхает, мысли начинают сдвигаться и плавать, как после пятой стопки, и человек словно разделяется — тело его, сладко саднящее, тяжелое, распластанное, живет одной, покойной жизнью, а дух воспаряется и кружится вокруг приятных воспоминаний, томится предвкушением облегчения и насыщения.

После парилки следует охолонуться под душем или окатиться водой, сразу, уже с мылом, смыть шестой, как бы остаточный, пот. Если не сделать этого сразу, то, случается, нападает такая лень, что подумаешь: а-а... можно и так обойтись, грязь уже вышла.

После мытья славно посидеть в предбаннике, накинув на плечи полотенце,— иные, правда, окутывались в простыни, но из разговоров Костя знал, что простыни — не то. Простыня не дает телу дышать, мокрая, залепляет поры, а ведь как раз в это время и сходит седьмой, последний пот.

Сидеть нужно голым, потому что раз уж ты занимаешься парилкой для удовольствия, значит, посидеть голым тоже одна приятность. В этой приятности, теоретически, конечно, Костя был уверен, потому что в бане с парилкой чувства идут как бы наыворот. Ведь в обычной жизни, когда ты работаешь до пота, так не радуешься, а ругаешься. И когда на улице или в степи такая жарынь, что глаза заливают, так ты всех чертей вспомняешь. А вот в парилке лезешь на самую верхнюю полку, в самое пекло, кряхтишь, задыхаешься, а радуешься. Противоестественно, как считал Костя, радуешься.

В обычной жизни, если тебя начнут хлестать, да еще по голому, хоть березовым, хоть каким другим венником, так ты от этого не возрадуешься. Скорее всего или взвоешь, или обидишься и полезешь на обидчика, потому что такое хлестание в обычной жизни называется поркой. А в парилке — удовольствие.

В обычной жизни пройти голым совершенно невозможно. Не только потому, что перед женщинами

стыдно, но даже и перед мужиками: они же первые тебя облают, назовут придурком или чокнутым. А после парилки все наоборот, потому что сама парилка — это жизнь наоборот.

Потому, должно быть, и приятно посидеть голым на людях.

Вот когда голым, с полотенцем на плечах усядешься на лавке, следует заняться... Ну, это кому что нравится... Одни пьют чай с любимым вареньем, чаще всего малиновым или сливовым, а то и крыжовенным или кизилловым, или квас. Но большинство мужиков прежде всего выпивают — немного, граммов сто пятьдесят, но водки, и хорошо — холодной. Закуска должна быть соленорыбная. Лучше всего рыбец, балычок, в крайнем случае вяленый чебак. Неплохо и помидоры, малосольные огурчики, а еще лучше маринованные с перцем синенькие баклажаны. После водки следует поговорить с соседом и обязательно посетовать, что нынче баня не та. Хорошо, конечно, попарились, отдохнули, но можно б и лучше. Вспомнить следует, как в старину парились — до одурения, а чтоб мозги на место встали, сразу из парилки бросались в сугроб поваляться, но не до посинения. А нет сугроба — так ныряли в озеро или в речку. Но лучше всего в прорубь.

Мужики за сорок с искрой в глазах вспоминали, как парятся семейские, староверы — семьями, мужики с бабами вместе. Тоже ведь противоестественно: в обычной жизни тело показать, кроме лица и рук, считается грехом, а в бане — пожалуйста, голышом друг другу спину трут.

После банных воспоминаний нужно приступить к пиву, и раки в том случае на закуску не идут. Нужна вяленая рыба — и не жирная. Тут уж даже рыбец не в почете. Нужна таранька — она помягче, потоньше против воблы. Вот уж после пива и следует не торопясь, с отдыхом, собираться домой. На все это уходит часа два, а то и три. Да пока домой дойдешь — как раз полдня.

Костя же мылся просто: окатился теплой водой или постоял под душем, намылив мочалку и драй свое грешное, жилистое, смуглое тело. Содрал первую грязь, снова намыливаясь и мой голову: тело под мылом отмягкает. Снова продраил и — под душ или пару раз окатись из шайки. Дома обязательно нужно промыть голову второй раз — водопроводная вода в его местах

жесткая, известковая, а дождевая дает волосу мягкость. У Кости волосы были густыми и мягкими. В известные минуты отдыха их любили гладить и перебирать его немногие подруги.

И в этот раз Костя помылся быстро, вышел в предбанник, а в нем на скамьях, вместе с санитаром, сидели голые распаренные мужики и копались в сидорах, доставая тяжеленькие, невнятно перекликающиеся фляжки и фронтовую снедь: консервы, сало, хлеб.

Костя, чтобы не мешать компании, присел в сторонке. Санитар с удивлением спросил:

— Это и все?

— А чего ж чикаться?

— Ну-у...— уже не то что неодобрительно, а прямо-таки сердито протянул санитар и, не глядя, швырнул Жилину пару новенького, пахнущего холодом и складом белья. Костя натянул его, а мужики на лавке разлили водку в подставленные санитаром кружки. Один из них — круглолицый, с маленькими хитрющими глазами — спросил у Кости:

— Глотнешь?

Жилин мгновение поколебался.

— Нет. Не буду.

— Что так? Брезгуешь?

— Нет. Просто на халтурку сроду не пил, а отплатить нечем — запаса собрать не догадался.

Голые мужики переглянулись, и другой, чем-то похожий на Костю, такой же поджарый, со свежей розочкой-шрамом возле ключицы, усмехнулся:

— Когда приглашают, отдачи не требуют.

— Ну, если так,— в лад усмехнулся и в тон ответил Костя,— так я, обратно, не против. Только мне поменьше. Я ведь не парился.

Санитар нырнул под лавку и подал еще одну, памятую кружку. Круглолицый плеснул в нее из фляжки, поджарый еще раз осмотрел Костю и осведомился:

— Не уважаешь, значит, парную?

— Не то что не уважаю, а просто не привык.

— Выходит, в ваших местах не парятся? С юга, что ли?

— Оттуда..

— Казак, что ли?

— Казак.

— Ну, верно... В ваших местах настоящей бани сроду и не видавали. Это я понимаю.

Все чокнулись, выпили не спеша, покряхтывая и, сглатывая горькую слюну, потянулись к закуске. Костя не тянулся. Слишком хорошо он знал, что такое бойцовская пайка, и, досадуя на себя — приперся налегке, даже без сидора, с одной кирзово́й, еще довоенной сержантской сумкой! — скромно отодвинулся в сторонку, стараясь почаще сглатывать, чтоб выпитое покрылось пленочкой и устоялось.

Поджарый опять усмехнулся:

— Ты, казак, не на передовой, закусывай смело. Это у нас вроде доппайка.

Костя выдвинулся и осторожно, можно даже сказать деликатно, взял пластинку невкусного, должно быть американского, сала и кусочек хлеба. Голые мужики переглянулись, и поджарый осведомился:

— Ты с верховых или понизовых, станишник?

— Из Таганрога...

— Тю-у... Какой же ты станишник?! Ты ж даже не иногородний. Так... слободской...

Костя незаметно для себя подобрался, и острые, темные его глаза недобро сверкнули — свое казацье происхождение он отстаивать умел.

— Тю на тю, вспоминай кутью... Раз ты все знаешь, так дед у меня из пластунов, а сами мы — сальские.

Когда Костя упомянул кутью, розочка-шрам у поджарого побелела, но потом он сразу отошел и опять усмехнулся:

— Вас понял, перешел на прием.

— Ты что ж, артиллерист?

Теперь они смотрели друг на друга почти влюбленно: оба оказались понятливыми, военную жизнь знающими. Только связист да артиллерист, и то не всякий, поймет эту присказку: вас понял... Так говорят при радиопереговорах.

Санитар, хоть и подобревший, все еще неласково смотрел на Костю и потому спросил не у него, а у поджарого:

— Слышь, Иван. А это что ж за пластуны? Слышать слыхал, а... в толк не возьму.

— Видишь, какое тут дело, — отложил закуску поджарый. — В старое время казак должен был идти в войско на своей лошади, при своей амуниции и даже частично при своем оружии. За то им и наделы давались, чтоб справлялись. А если у казака баба сынов рождает? Ну, двух соберет, ну трех... А если их пятеро

али семеро? Вот младшие или поздно к станице приписанные, бедные уходили в пластуны, казачью пехоту. Добудет себе хабар, по-теперешнему трофеи, справит коня с амуницией — может и в строевые казаки перейти. А вот не добудет, так домой пластуну лучше не возвращаться — все равно в батраки идти. У отца на всех земли не хватит. Вот те пластуны и уходили. Кто в новые казачьи войска приписывались — в забайкальские, уссурийские, в среднеазиатские. А другие в города: в Царицын, в Воронеж, в Таганрог... Ну, конечно, описанные со своими хуторами-станицами связи не теряли — родина...

Санитар покивал — такое он понимал. Безземелье и у него в деревне выгоняло младших на сторону. Внутренне он примирился с Костей и потому спросил уже без неодобрения, но еще сурово, словно надеялся найти в нем нечто оправдывающее его неприязнь:

— А на фронте ты, милый человек, чем занимаешься?

Костя хорошо понял движение санитаровой души и потому нарочито беспечно ответил:

— В снайперах, папаша, шаستاю. Курочка по зернышку, а мы — по фрицишке.

Санитар неожиданно встрепенулся:

— Ты не с батальона Басина?

— Из него самого.

— Слушай, так тебе не Жилин ли фамилия?

— Н-ну... Жилин, — настороженно ответил Костя.

— Так ты ж, выходит, знаменитый человек! — воскхитился санитар, но в голосе у него звучали и сожаление — не слишком Костя достоин восхищения, и крохотное недоверие-надежда: может, все-таки он врет?

Голые мужики поерзали — дело оборачивалось интересно. Костя помолчал, осмысливая: розыгрыш или нет? Но тронутое морщинами лицо санитаря было бесхитростно, да и глаза — серые, пристальные, — округляясь, излучали восхищение.

— Это ж когда я в знаменитости... пронырнул?

— Ты что ж, газет не читаешь? Или прикидываешься? — В глазах санитаря опять мелькнуло недоверие, сменившееся острым любопытством: как вывернется этот чернец? — Может, ты неграмотный?

Костя растерялся. Мужики переглянулись, лица у них стали непроницаемо отчужденными, и Жилин почувствовал себя очень плохо, хотя бы потому, что все

они — голые, а он, как дурак, в новеньком, шелковистом, нежно-шершавом на слежавшихся сгибах, пахучем белье.

— Хватит баланду травить. Газеты читаю, но про себя не читал.

Нет, он сразу стал совсем не тем, что полминуты назад. В нем как-то мгновенно прорезался жесткий, несговорчивый отчаяюга, который умеет, несмотря ни на что, гнуть свою линию. И все почувствовали это. И именно это, прорезавшееся, сразу убедило санитаря.

— Надо же... о себе — не читал... Ну, погодь, погодь, я тебе сейчас притащу.

Он бросился было к дверям, но вспомнил и полез в карман. Достал кисет, а из него выпростал аккуратно сложенную фронтовую — в четыре странички — газету, развернул и передал Жилину.

— Эта, понимаешь, на курево хороша. Наша, дивизионная, груба.

Костя, внутренне замирая, прошелся глазами по заголовкам и перевел дыхание. Большая статья называлась: «Массированное применение снайперов». Писал какой-то старший лейтенант В. Голубев. Костю смутило и то, что снайперов, оказывается, применяют, и что пишет об этом совершенно незнакомый ему человек.

— Про тебя? — заинтересованно осведомился Иван.

Костя промолчал, Иван сурово, отрывисто потребовал:

— Читай вслух.

И Костя, почему-то подчиняясь, стал читать. Голос у него звучал глухо, но ровно.

Автор статьи доказывал, что сведение снайперов в отделение в условиях обороны, как показывает опыт отделения младшего сержанта Жилина, вполне себя оправдал. Командир батальона получил возможность непосредственно руководить такой, как оказалось, мощной огневой силой. Он организует боевую подготовку, ставит задачи, исходя из интересов и задач батальона, используя для этого данные разведки, контролирует работу снайперов, проводит разборы результатов снайперской охоты.

Жилин читал, а сам отмечал все неточности статьи. Никто его не контролировал, никто не ставил задач. Да и подготовкой никто не занимался. Просто вечером Жилин приходил к комбату Басину, докладывал о результатах охоты, говорил, что собирается делать завтра

ра. Комбат соглашался, иногда, правда, сообщал, что в такой-то роте жалуются на такой-то пулемет. Костя обещал подумать, и не сразу же, а через несколько дней, после наблюдений и оборудования позиций, снайперы били по этому пулемету. Вот и все. А замполита батальона старшего политрука Кривоножко они просто не видели. И винить его в этом нельзя. У него и линейные роты и спецвзвода, его и в полк постоянно вызывают: захотел бы — и то времени для снайперов у него б не хватило. И, признаться, снайперы о том не слишком горевали — меньше начальства, больше покоя.

Смесь правды и полуправды, вернее, возможной правды испугали Костю. Сказать все можно, даже байку подпустить, но если написано, а уж тем более напечатано — значит, оно должно быть святой правдой. А ее не было. Хуже того, и корреспондента того никто не видел. Откуда ж он взял такое? В гражданке, да и в армии чуть что не так сказал, обязательно оборвут: не болтай! Думай, что говоришь! А тут — написано. Выше того — напечатано.

Должно быть, на Костином задубелом, смуглом и несколько угловатом лице проступили и растерянность, и обида, и недоумение, потому что мужик с круглым лоснящимся лицом и острыми маленькими глазками спросил:

— Не про тебя, выходит?

— Про меня... Только... — но Костя сейчас же оборвал себя, потому что не мог представить, как же он теперь будет выкручиваться, как прикрывать полуправду, выворачивая ее на правду.

— Набрехали?

— Не в том дело...

Трое голых и санитар смотрели на Костю требовательно и осуждающе. От той теплоты, восхищения и сочувствия, что были на их лицах, когда он читал, не осталось и следа. Костя почувствовал себя виноватым и перед ними и перед своими ребятами — он представил, как будут читать такое в отделении, и окончательно растерялся. Но тут вмешался третий — мускулистый, кипенно-белый, но с темным, заветренным лицом и тронутой морщинами шеей. Глаза у него светились острой, но умиротворенной синевой, и все лицо — узкое, благообразное, как на иконах суздальской школы, было и мягким, отстрадавшимся, и в то же время словно отлитым, твердым.

— Так понимаю — приукрасили?

— Не это главное...

— Главное, парень, в другом... Главное в том, что машину-то вы подбили?

— Это — было... И разведку боем отбивали. Нет, про то, что делали, — тут правда. Тут ничего не скажешь...

— А чего ж тебя волнует? Слова разные умные? Так это, как я понимаю, тот старший лейтенант маленько себя приукрасил: во как все знаю и во всем разбираюсь! Ты на это плюнь. Ты в суть посмотри: дело сделал, о тебе написали. Сейчас, так я понимаю, по всему фронту сидят люди, читают и думают: а что? Может, и правильно этот самый Жилин действует? Ведь что получается, парень? Под Сталинградом дерутся, а мы вот — в доме отдыха...

Жилин еще не понимал, куда клонит этот кипенно-белый мужчина, но то дальше, что толкнуло его на организацию снайперского отделения, что заставляло и его и его товарищей-добровольцев после ночных бдений на передовой днем выходить на охоту, рисковать жизнью, недосыпать, недоедать, да еще в дни неудач переживать насмешки и недоверие, вот это, уже невысказываемое — дальше, взорвало его. Он резко обернулся и как-то хищно, стремительно изогнулся, как перед дракой.

— Когда мы под Москвой наступали, помнится, на других фронтах тоже... не так уж много существенного происходило.

— Ты не о том...

— И об этом! — упрямо отрубил Костя.

— Ладно. Но главное все-таки в том, что в тебе совесть жжется, а вот теперь, может, и у других совесть... вскинется. Вот что главное.

Поджарый Иван со шрамом посуровел.

— Совесть — она у всех есть. И у всех жжется... И то правда — у нас ребята говорили: на кой черт сэкономленные снаряды швыряем с закрытых? Нужно на прямую наводку выходить. Курорты устраивать всякий сумеет.

Все заговорили вразнобой — водка подогревала, лица, красные или багровые не только от пара или водки, но и от прилившей крови, казались злыми и непримиримыми: того гляди, разгорится драка.

Но драки не случилось. Просто говорили так, как говорят рабочие после получки,— о своем цехе, о непорядках, о том, что и как сделать. И санитар—самый пожилой и, видно, самый простодушный—постучал ногой по опрокинутой шайке и сказал:

— Вы чего ж, мужики, на парня насели? Он, значит, фрицев стрелит, а вы за это самое на него и насели?

И все четверо переглянулись, увидели лица собеседников, ощутили собственный яростный настрой, и круглолицый засмеялся:

— А ведь верно! Мы еще собираемся, а он... А-а... да что говорить. Осталось у меня тут маленько.

— У меня тоже есть,—кивнул улыбающийся голубоглазый.—Я ведь с того и начал...—попытался он оправдаться, но его перебили.

— Ладно! Разболтались! Ведь что за народ пошел—как чуть чего, так политику подводят. А она—вот она, политика. Бей фрица, а время выпало—и выпить не грех.

Круглолицый, рассуждая, разлил водку, встряхнул фляжку, и они опять выпили, но санитар свою кружку отставил:

— Мне хватит, ребята, я—при деле.

Он ушел, и когда беседа шла уже поспокойней, но без доброго настроения—слишком уж глубинно она началась,—санитар вернулся и принес пахнущее сухим жаром и дезинфекцией обмундирование. Оно было разглажено, а на гимнастерках неправдоподобно чистыми и ровными полосками белели подворотнички.

— Вот,—победно сказал санитар.—Стараются девчата, защитничков улаживают.

Потом он раздал еще и по паре теплого, байкового белья. Оно было удивительным, это теплое белье: младенчески нежное с изнанки, плотное с лица, и натягивать его на новое же шелковисто-обыкновенное белье здесь, в теплом предбаннике, казалось неправильным, почти кощунственным. Хотелось любовно сложить его, завернуть в газетку и спрятать на самое дно сидора до какого-то особого, торжественного случая. Но потому, что особых, торжественных случаев не предвиделось, стало грустно, и одевались медленно, словно примериваясь к сладко млеющему, чистому телу и непривычно новому белью. Когда натягивали гимнастерки, опять увидели подворотнички и завздохали: выходит,

есть еще заботливые, теплые женщины на свете, есть и другая, недоступная им жизнь.

От этого у каждого должно было занять сердце и грусть усилиться, но этого не случилось: за многие месяцы боев, грязи, крови, смертей они так втянулись в эту неестественность, что как бы забыли о существовании другой, чистой, неторопливой, в чем-то женственной жизни, ради которой они переносили все, что переносили. А эта жизнь, оказывается, существовала, она обволакивала и радовала, и за нее, забытую, явно стоило драться и терпеть то, что они терпели месяцами.

— Послали меня как-то в дом отдыха,— мягко акая, начал круглолицый.— Хорошо было... Море, понимаешь, кормежка... А вот такого... белья — не было. Белье свое привозили.

И пока одевались, пока перепоясывались и заправляли мятые, теплые шинельки, их не оставляло ощущение светлого, тихого праздника, случайной радости. Потому и шли они к штабу медсанбата не торопясь, прислушиваясь, как поскрипывает необычно ранний в том году снежок, с благодарностью принимая пощипывание мороза, — лица еще не высохли, и мороз брал хватку, — разбираясь каждый в своем, внутреннем, а все вместе привыкая к совершенно непостижимому для них — к отдыху.

А Жилина отдых этот уже не волновал. Он опять переживал статью. Получалось, что всему голова комбат Басин. Костя его уважал. Но ведь не Басин организовал отделение, не он отстоял его перед комиссаром. Это теперь, когда комиссар стал замполитом, теперь Басин все может решать по-своему. А прежний комбат капитан Лысов? Он и погиб, может, потому, что Жилин увлекся снайперской охотой и не прикрыл его в бою.

Костя не был виноват в смерти комбата, он это знал. И все знали. Но в душе, в самой ее глубине, жила и саднила вина перед Лысовым. От границы, через окружения, до Москвы Жилин прикрывал комбата, вытаскивал его раненого. Но здесь, в обыкновенном бою, не уберег, и вот Лысов забыт, и все его заслуги — Басину. Разве ж это справедливо?

Глава вторая

Они поселились вместе. Большая, еще новая, не перегороженная изба, уже утратившая свое домашне-крестьянское обличье, пахла дезинфекцией, простым мылом и немного

не то мочой, не то гноем — тем самым душным, неестественным, чем пахнут госпитальные палаты. Но этот запах перебивался острым, свежим запахом хвои: лапник ковриками лежал у нар и кроватей, висел на меж-оконных проемах. Его глубокая, вошедшая в силу зелень словно сливалась с темным золотом голых стен и яркой, нарядной белизной новенького постельного белья, рождая ощущение забытой, детской, елочной праздничности.

В избе уже поселились отдыхающие — тоже обалдело-веселые, распаренные. Они заняли лучшие места — кровати и нары у окон и поближе к печи. Жилину и его новым товарищам остались только нары вдоль глухой стены.

Петр Глазков вздохнул и стал успокаивать:

— Это, может, даже к лучшему, потому что дуть меньше будет, и опять же...

— Хватит,— махнул рукой круглолицый Горбенко.— Было б лучше, они б не навалились.

Иван Рябов решил за всех:

— Дареному коню в зубы не глядят, на бесплатном постое хозяев с полатей не сгоняют. И тут перебьемся.

Они кинули свои потощавшие сидоры на нары. Костина кирзовая сумка пришлась к краю, но Глазков сразу же уступил ему место в серединке, и эта не то что угодливость, а излишняя уступчивость не понравилась жившему в эти минуты обостренной справедливостью Косте.

Он огляделся и глубоко вздохнул. В его Камбициевке, как и в ее округе, русских печей не держали: слишком громоздки, да и дров в степном краю не напасешься. В деревнях и станицах топили соломой, подсолнечным и кукурузным будылем. А чаще ставили плиты и топили каменным углем. Но Костя с первых, еще мирных учений признал русскую печь за свою. На ней хорошо было погреться после бросков и учебных атак. А в войну и говорить нечего...

Костя обошел печь и обнаружил, что вещей на ней не имеется. Видно, в избе собрались бывалые солдаты, привыкшие на постоях не зариться на теплые местечки, где отсиживалась детвора и старики. Жилин вернулся, взял свою сумку и шепнул Глазкову:

— На печь полезем?

Тот сразу понял, что к чему, и прихватил свой сидор. Те, кто прибыл раньше, попробовали протестовать, но

Рябов и Горбенко вступились за товарищей так, словно их маленькая удача была и их удачей. Горбенко даже крикнул:

— Это ж вам Жилин, а не кто другой. Понятно?

И когда кто-то сонно осведомился, чем же знаменит этот Жилин, Глазков уже с печки прокричал:

— Газеты читать надо, лапотники! Знаменитый снайпер! Тот, что машину взорвал. А это, как сами понимаете...

Договорить ему не дали. Но, вероятно, с этой минуты утвердилось странное положение Кости Жилина. На обеде — не в котелках, а в мисках, только ложки свои, не где попало, а за столами — ребята из избы, не сговариваясь, отдали Косте лучшее место с краю, обращаясь с ним как-то подчеркнуто уважительно, так, что на это обратили внимание с других столов. И тогда их стол как бы возвысился: как-никак, а именно среди них сидела знаменитость. Уже в кино Костя почувствовал на себе любопытные взгляды, а потом и услышал вопрос шепотком:

— Вот это и есть Жилин?

Черт-те что получалось... С одной стороны, было, конечно, приятно, но с другой... С другой — непривычно, а главное, тревожно: вдруг обнаружится полуправда статьи, ее несправедливость? Поэтому Костя старался горбиться, сделаться незаметней и от этого становился еще заметней.

После кино, на танцах, в большом, обмазанном изнутри глиной овине слава прихватила его всерьез: на него смотрели и посмеивались уже девчонки. Их, как и говорили в ротах, было на удивление много. В чистеньком, пригнанном обмундировании и даже в чулочках телесного цвета — медсанбатовки и в гражданском, но тоже чистеньком и разглаженном — прачки. Были еще вольнонаемные — машинистки, писаря — кто в чем: и в военном, и в гражданском, все в пригнанных по ноге сапожках или туфельках. Так и хотелось смотреть на эти ножки — стройные и разные.

Имелась одна общая примета: все были хорошенькие. Такие хорошенькие — красивых как-то не замечалось, — что у Кости даже захватило дух, и гнет обостренной справедливости обернулся другой, радостной стороной.

Первый танец под хриплый патефон он не танцевал. И, наверное, правильно сделал — выиграл в цене. А ког-

да заиграли «Рио-Рито», Жилин не выдержал. Эта иностранная, но такая близкая на его юге мелодия здесь, в овине, среди густого пара от дыхания, в мерцающем, вздрагивающем свете электричества (его подавал походный движок), в смешанном запахе дезинфекции и одеколona, в этом отчужденном, но удивительно прекрасном, как бы ненастоящем мире, этот мотив показался опьяняюще чужим, прекрасно-кошунственным.

Костя скинул шинель и пошел пригласить девчонку, которая смотрела на него особенно часто, удивленно и, как ему казалось, зазывно.

Танцевал он хорошо — он это знал. Но слаженности не получалось: волновался. Как только положил руку на девичью талию, ощутил ее еще настороженное, но приветливое тепло, так и разволновался. Пересохло во рту, забилося сердце. И, может, поэтому, а может, потому, что девчонка танцевала совсем не так, как танцевали в Таганроге, он даже путался в фигурах. Но потом случилось то чудо, которое бывает на танцах: партнеры поняли друг друга. Костя чуть уступил, девушка поняла, что от нее требуется, и они затанцевали слаженно и четко. И так они были легки, так возвышенно-отчужденны, что танцующие не могли их не заметить и постепенно стали пропускать их в центр круга, раздаваясь и освобождая место.

Так они и танцевали посреди овина, под стосвечевой пульсирующей лампой, и мир для Кости стал ослепительным, парящим и одуряюще пахнущим. Исчезло и то, что вызвало сухость во рту и сердцебиение. Были только танец и хорошая партнерша. Он не видел, как шепчутся люди, не знал, что утвердил свою славу, не ведал, что стал первым кавалером этой смены. Он просто танцевал.

Но под конец танца, на крутом повороте с легким выпадом на себя — приятно же поприжать хорошенькую девчонку — он увидел в тусклом углу двух... пожалуй, не слишком молодых... а может, и молодых, но только полных... и опять-таки не полных, а крепких. Словом, двух прачек, сидящих наособицу. Потом он еще раз взглянул на них попристальней и заметил не хорошенькое, не красивое, а очень милое, светлоглазое лицо, большие красные, устало лежащие на полных коленях руки. И так это было удивительно — увидеть среди оживленных и хорошеньких девичьих лиц просто милое лицо и усталые руки, что Костя повернул партнершу

так, чтобы подольше видеть это лицо. И чем дольше смотрел, тем больше оно ему нравилось. Только глаза не слишком понравились — они были строги и насто-роженны. Но когда эта незнакомка уловила его взгляд, ответила на него строго и неприступно, а потом вдруг улыбнулась, прикрыла красивые полные губы красной большой рукой и потупилась, Костя уже знал: следующ-ий танец он будет танцевать с ней.

Потом, стоя в сторонке, в накинутаой шинели, поса-сывая услужливо подsunутую сигарку, он все время глядел в дальний угол овина, но его закрывали отды-хающие. На Костю косились многие девчонки, а при-стальной всего та, с которой он танцевал, но он смотрел в угол. И когда началось танго, он решительно поша-гал в этот угол, но та, миловидная, строптиво вскинула голову и отвела взгляд. Костя слегка нагнулся, протя-гивая руку, а ему ответили:

— Мы — деревенские, такое не танцуем.

Впервые за все последние годы, и в армии и в гражданке, ему отказывали в танце. Он должен был растеряться, обидеться, но все то незримое, что окру-жало его весь этот день, не позволило сделать этого. Он улыбнулся:

— Жаль... А посидеть рядом можно?

На него посмотрели свысока, но с интересом.

— Сиди... Место не купленное.

Что ж... Кажется, и в самом деле — деревенская... Но Костя не любил отступать, устроился поудобней и, закинув ногу на ногу, осведомился:

— А что же вы танцуете?

Соседки переглянулись, и миловидная отчужденно ответила:

— Здесь такое не играют.

Она явно набивала себе цену, и Костя начинал сер-диться. Но чтоб не потерять формы, все еще улыбался, рассматривая ее. В общем-то, ничего особенного... Даже конопатки на переносье, а весной наверняка все щеки усеются. И возраст какой-то неопределенный. Сбоку посмотришь — девчонка, а чуть повернется — женщина. Да еще усталая — морщинки у полных сомкнутых губ, морщинки под глазами, а сами глаза с прозеленью, очень уж не улыбкивы... но, кажется, не злые.

Он жадно курил, что-то болтал, но она гордо не отвечала. Когда он выдохся, она чуть брезгливо посо-ветовала:

— Шли бы вы, молодой человек, танцевать. Вон на вас как зыркают.

Если б она не сказала такого, он бы и сам ушел — унижаться не привык. А тут его заело. Как назло, кончилось танго, и стали крутить вальс.

— Ну а вальс в вашей деревне танцевали?

Она обернулась, и ноздри ее чуть вздернутого носа раздулись.

— Шел бы ты, парень...— Она повернулась и посушила ногами. Потупившийся от этой несправедливой неприязни Костя увидел ее ноги. Они были обуты в огромные растоптанные сапоги-кирзачи. Прачка, вероятно, поняла, что он увидел эти потрескавшиеся, но начищенные ворванью кирзачи, и поспешно засунула их под лавку.

Подруги пошептались, он боковым зрением увидел, как они стали отодвигаться от него, и понял: сейчас уйдут. Он разгадал их тайну, и они ему этого не простят. И Костя, все так же не поднимая головы и не разгибаясь, вслепую нашел ее руку, сжал ее и потянул на себя.

— Не уходи. Я понял.

Ее сильная, напружинившаяся рука обмякла, но слегка осипший голос прозвучал неожиданно громко:

— Чего ты понял? Чего ты понял? Шел бы ты...

На них оглянулись ближние пары — похоже, назревал скандал.

— Сиди. И не прыгай, обратно...

Наверное, ее поразило этого невозможное «обратно», и когда он поднял голову, она сидела рядом. Неприступно гордая и оскорбленная, порозовевшая, со страдающими, невидящими глазами. Но руку так и не вырвала.

Костя подвинулся ближе и тут только заметил, что подруга ушла. Он поудобнее перехватил ее руку, переплел пальцы и уложил свою тыльной стороной на ее круглое колено.

В Костю медленно проникала женская теплота, и он думал о своих — младшей сестренке и матери... Как они обходятся? Он перебирал в памяти домашние запасы и постепенно успокаивался: «Если не разграбили или не сожгли немцы, должны в тряпках и обуви не нуждаться. Отец умер недавно, от него осталось, да и от меня с братом все барахло на месте. Тяжело, ну да авось перебьются, пока мы тут...»

Потом он стал думать о знакомых девчонках, прикидывая, как кто повел себя при немцах, и мысли у него не всегда были добрыми... Под эти мысли рука у него непроизвольно сжималась, и он уже твердо знал (странно, что совсем не думал об этом, а уже знал...), как он поступит. И это внутреннее твердое решение как бы отдаляло от него соседку, гасило все мужское, оставляя нечто более высокое и чистое.

— Тебя как зовут?

— Мария...

— Ну а меня... Константин. Вот так вот... обратно.

Они долго сидели молча, странно близкие и еще чужие. Ей первой захотелось ясности.

— У тебя что ж... Жена в оккупации?

— Я не женатый.

Мария поерзала, но рука ее, та, что начинала потеть в руке Жилина, не шелохнулась.

— А кто ж остался?—она спрашивала настороженно, словно замирая, но Костя не замечал этого. Его не удивляло даже то, что она сумела определить, что его родные под немцем. Ему уже начинало казаться, что она давно все знает о нем и вот только уточняет...

— Мать. Сестренка. Ну и так... вообще...

Они опять долго молчали, а потом, почему-то застенчиво и настороженно улыбаясь, она сообщила:

— А у меня... муж был.—Поколебалась и, словно бросаясь в зимнюю протоку, добавила:—И дочка была.

Она ждала вопросов, замирала и в то же время набиралась сил для того, чтобы сразу, наотмашь, подрубить нахлынувшее на нее наваждение, если только Костя сделает что-нибудь не так. Что именно он может сделать не так, она не знала. Но была уверена, что сразу почувствует это «не так». А он ничего не сделал. Он долго молчал и спросил:

— А мать? Отец?

— Отец умер, а мать... в отгоне.

— Чего-чего?

— Ну это у нас так... по-деревенски... Отправили в тыл. С младшим братом.

Они опять долго молчали, думая каждый о своем, примеряя свою судьбу к соседней,—два человека, обделенных войной и объединенных ею.

— Знаешь... пойдем погуляем,—сказал Костя, когда наконец заметил, что смотрят на них слишком уж с

большим интересом. Она молча приподнялась, и они бочком, по стенке пробрались к выходу.

Было морозно, скрипучий снег слабо искрился — в небе висел тоненький серпик молодого месяца. Звезды лучились молодо, ясно. Оказалось, что Мария была чуть выше Костиного плеча, и ему удобно было держать ее под руку.

Стучал движок, на не такой уж далекой передовой взлетали ракеты — желтые, нестрашные, иногда доносился даже перестук пулеметов, но орудийных выстрелов не слышалось.

— Вас тут... не обстреливают?

— Бывает... Только снаряды ложатся на выгоне. А в деревню не залетают. — Она уточнила это ленивенько, как само собой разумеющееся.

Они прошли полдеревни, когда Мария остановилась перед старой, чуть покосившейся избой, повернулась к нему лицом и сообщила:

— Вот здесь я и живу.

— Пойдем зайдем, — строго сказал Костя.

У нее удивленно и обиженно расширились глаза, мгновение она колебалась, потом, словно махнув в душе рукой на все на свете, наклонила голову, точно заранее виноватая, медленно взошла на крыльцо. Он шел сзади и, когда она приостановилась, как бы еще раздумывая, еще колеблясь, легонько, но настойчиво подтолкнул ее, и они переступили порог сеней.

Мария приоткрыла дверь в избу, и в лица ударило тепло, чистотой и парфюмерией. И еще чем-то...

Света не было, но милое сияние месяца мягко и зыбко высеребрило окна, от них струились отблески, и Костя рассмотрел ряды висящих простыней. Мария прошла за свою простыню, впустила Костю и остановилась возле кровати. Лицо ее показалось Косте насмешливым.

Он спокойно, как дома, уселся на кровать, и она, поколебавшись, тоже села рядом. Тепло пробиралось сквозь шинель, в горле стало першить, и Жилин понял, что может не совладать с собой, — такой немислимой, неизвестной — и на войне и до нее — жизнью пахнуло на него со всех сторон. Поэтому он грубовато, сипло не то что попросил, а почти приказал:

— Ну... сымай-ка сапоги.

Она выпрямилась и повернулась к нему.

— Это еще зачем?

— Зачем-зачем... Дело говорю — сымай.

Она повременила и по-особенному, строптиво и в то же время беспомощно, повела плечами. Он наклонился и стянул — быстро и ловко — свои сапоги, потом перехватил сапог с ноги Марии и потянул на себя. Ее взгляд показался бы Жилину возмущенным и, может, даже брезгливым, но Костя не видел этого взгляда. Он перемотал портянки и всунул ногу в ее огромный кирзач. Нога вошла свободно, как в колодец. Костя нетерпеливо похлопал ладонью по второму сапогу и поторопил:

— Давай-давай. Сымай...

Тут только она поняла, что Костя задумал, и она отшатнулась, а потом зашептала испуганно:

— Не надо, слышишь, не надо...

А он, посмеиваясь, сам взялся за ее полную вздрагивающую ногу и снял второй сапог.

— Ну вот, — сказал Костя довольно. — Теперь порядок. — Встал, притопнул, ощутил, как ерзают ноги в ее растоптанных кирзачах, наклонился и шепнул на ухо: — А то ведь и завтра танцевать не пришлось бы. — Ощувив ее дрожь и разглядев слезы, немножко растерялся, хотел было приласкать, но сдержался. Опять забилося сердце, язык пошершавел. Костя отшатнулся. Силы оказались на пределе.

— Завтра приходи... Потанцуем.

Он ушел, громко стуча и шаркая кирзачами, безошибочно находя дорогу в простынном коридоре.

Пока шел до своей избы, в сапоги набился снег и ноги застыли. Но он давно привык к подобным неприятностям.

Ребята еще не вернулись с танцев, на нарах спал какой-то боец. Костя выставил кирзачи на загнеток, втянул постель на печь и попытался уснуть. Но это получилось не сразу. Им неожиданно овладело смешливое настроение. Он радостно ругал себя, великодушно издевался над собой.

«Пижон! Идиот собачеевский! Такое дело упустил...»

Но в душе он знал, что поступить по-иному не мог. Не мог остаться, не мог потребовать, потому что согласился с тем, что такая милая женщина из-за каких-то паршивых сапог не может чувствовать себя той, кто она есть на самом деле. Если бы он остался, потребовал, он оскорбил бы что-то очень глубинное, святое, что было в нем и в ней.

Его разбудили, и, вскинувшись, Костя больно ударился о потолок, с трудом понимая, что началась вечерняя поверка.

Ее проводили пожилой, с тонким, приятно-оживленным лицом старший политрук и хмурый старшина. С ними был красноармеец в бушлате — молоденький и явно восторженный.

Старший политрук записывал фамилии опоздавших, но вдруг смешно махнул рукой:

— А-а... Сегодня — пусть гуляют. — Голос его зазвенел: — Товарищи! Началось успешное наступление наших войск. Оборона противника прорвана севернее и южнее Сталинграда! Свершаются затаенные чаяния нашего народа.

Отдыхающие сразу сломали строй, окружили старшего политрука, и он, счастливо и потому застенчиво посмеиваясь, объяснил:

— Передали из политотдела... Ну, подробности, вероятно, завтра... Надо, товарищи, и здесь думать... Каждому...

Костя, как все, топтался возле старшего политрука и так же радовался и так же ждал подробностей. А их не было. И как все, наученные горьким опытом неожиданных военных радостей тех трудных дней, осторожно, незаметно для себя делал поправки на возможные неудачи, и потому ощущение первой взлетающей, бездумной радости, почти восторга медленно сменялось внутренней прикидкой того, что теперь ожидает каждого, — что бы там ни говорили, а любой, самый низший чин в армии всегда хоть немного, а стратег...

Но Костя думал еще и о другом. То, что пришло к нему на танцах, — тревога о своих близких, какая-то щемящая, отторгающая самого себя боль и обида за тех, кто сейчас по ту сторону фронта, породили внутреннюю, скрытую от постороннего взгляда, усиленную работу мысли и чувств.

Костя слушал старшего политрука, смотрел в его тонкое умное лицо и улыбался, когда улыбался — торжествующе и устало — старший политрук. Слова его — правильные, умные и, возможно, очень важные в тот момент — доходили до Кости с большим запозданием.

— ...Или взять, например, почин снайпера младшего сержанта Жилина из нашей же дивизии. Возможно, кто из присутствующих и служил с ним. Чем знаменит сейчас товарищ Жилин? Тем, что в самые трудные дни

он по собственному почину организовал снайперское отделение и вместе со своим помощником Жалсановым подготовил целый ряд сверхметких стрелков. Этот пример, товарищи, показывает, что каждый из нас, если он захочет, может найти пути и способы всемерной личной поддержки доблестных защитников Сталинграда. Для артиллеристов, думаю, небезынтересно будет знать...

Где-то в середине правильной политруковской речи до Кости дошло, что говорят о нем. Но говорят как-то странно — словно он уже не существует, что он весь в прошлом, далеко-прекрасном и потому легком.

Он заметил недоуменно-уважительные взгляды отдыхающих и растерялся...

Старший политрук почувствовал, что пример доблестных артиллеристов почему-то не волнует отдыхающих, подтянулся, заметил, что все смотрят на Костю, и строго спросил:

— В чем дело, товарищи? Вас не интересует мое сообщение?

— Да нет, товарищ старший политрук, — поспешно ответил молодой красноармеец. — Но чудно уж очень...

— Что же вам... чудно?

Он решительно не понимал этих странных людей. Даже победа под Сталинградом, даже личные задачи их не волнуют. Или, точнее, волнуют, но чрезвычайно странно, замедленно. Это смущало ясное сердце и чистые помыслы старшего политрука.

— Так вот вы насчет Жилина говорили...

— Ну и что? Что в этом чудного?

— Так нет... чудно не в этом... Чудно, что он сам — вот он! — Красноармеец ткнул пальцем в Костю, и Жилин, потупив взгляд, скромно потоптался в своих кирзачах. И потому что он смотрел на них и думал, как все нехорошо, неловко получается, то ужаснулся латкам и отставшим рантам.

— Что-то я вас не понимаю, товарищ. Я говорю о снайпере Жилине. О его почине, а вам это «чудно».

Старший политрук проговорил это в запале, как бы по инерции, потом только до него дошел смысл слов красноармейца. Он круто повернулся, с ног до головы осмотрел Жилина, который успел поднять голову, встретился с его твердым, слегка насмешливым взглядом и недоверчиво спросил:

— Так это вы младший сержант Жилин? Снайпер?

— Я. Только пока я инициативу проявлял, мне сержанта дали. Так что в данный момент я уже сержант Жилин.— И, конечно, не сумел сдержаться, блеснул своими темно-карими, лукавыми глазами, чуть-чуть улыбнулся и добавил:— А поскольку за починами дело не станет, то поглядим...

Первый раз старший политрук вот так, глаза в глаза, встретился с тем, чей боевой опыт и, как тогда говорили, ратный подвиг он прославлял и на кого призывал равняться. В этот вечер в других избах он уже не раз упоминал имя Жилина, «обкатал» свою речь-политинформацию и хорошо представлял себе младшего сержанта Жилина — красивого, русоволосого, с острыми стальными глазами, широкоплечего, отечески строгого к восхищавшимся им подчиненным и почти-тельного к начальству. А перед ним стоял смуглый, словно копченый, чернявый, кареглазый посмеивающийся сержант в старых латаных кирзачах.

Костя перехватил взгляд старшего политрука и вдруг понял всю нечистоплотность того, что он сотворил с сапогами: рядом и вокруг стояли пехотинцы в тяжелых ботинках и обмотках. Эти парни мечтали о таких сапогах, какие Костя вот так, за здорово живешь, отдал незнакомой женщине. Кровь прилила к покрытому стойким загаром лицу, оно побурело, Костя потупился, а старший политрук мучительно покраснел: чего стоят его беседы о мужестве и достойном почине младшего сержанта Жилина, если сам герой стоит перед ним в такой обуви? Что подумают красноармейцы и младшие командиры?

«Жилин собой рисковал, проявлял инициативу, а ему даже сапог не выдали. Так стоит ли после этого инициативничать и рисковать?»

Впрочем, настоящий герой должен быть скромным. А стоящий перед ним сержант Жилин — безусловно скромен. И потупился, как будто в чем-то виноват. И, по-видимому, иначе быть не может: сержант, он и есть сержант. Получилось у него так — вот и выдвинули, и он это отлично понимает.

— Что ж это вы... в таких сапогах? — спросил старший политрук сочувственно и слегка подозрительно, как и должен был спросить большой, умный начальник исправного, но несколько мужиковатого маленького подчиненного.— Не выдавали, что ли?

— Да... нет. Получилось так... нескладно,— проси-

пел Жилин: горло у него перехватило, потому что он заметил, как ребята уставились на его сапоги.

— А вы докладывали?—И, уловив в собственном голосе чересчур уж строгие, несвойственные ему начальнические нотки, старший политрук поспешил исправиться:— Впрочем, сапоги—это в наших скромных силах.— Он доверительно, словно извиняясь за промашку жилинских командиров, улыбнулся и обратился к старшине:— Мы что-нибудь сумеем сделать, а, старшина?

— Та сообразим,—весело кивнул старшина. Он сразу, по бойцовскому оживлению, понял, что Костя пришел в дом отдыха в хороших сапогах и уже здесь провернул менку. «Скорей всего на самогон»,—подумал старшина, но не осудил Жилина, с передовой вырывающегося не часто.

Старший политрук оценил всеобщее оживление как свою маленькую победу и закруглился:

— Ну, я думаю, товарищи, об опыте и подвиге товарища Жилина он вам расскажет лучше, чем я. Вы комсомолец?—спросил он у Кости.

— Кандидат партии,—вдохнул Жилин.

— Тем более. Вот вам мое партийное задание — рассказать как следует о своих боевых делах. Все, товарищи! Я у вас и так задержался.

Старший политрук ушел, а ребята обступили Жилина.

Они смотрели на него по-разному. Одни с веселым, но нерешительным одобрением, другие почти с завистью.

— Махнул, значит?—недобро спросил Иван Рябов.

Вмешался Глазков. Торопясь, опасаясь, что его не дослушают, он выдвинулся вперед и, заслоня Жилина, обратился к Рябову:

— Нет, Ванюха, нет. Ты сам видал, как он с одной сидел. И это ее сапоги. Вспомните, ребята, вместе ж были... Ее это сапоги.—И все смотрели на Костю, на сапоги, и Жилин начинал мысленно ругать Глазкова: на кой черт высказывать с такой защитой: вон у ребят аж глазки загорелись. Но Глазков понял ребят и, захлебываясь, прижимая руку к сердцу, бросился на помощь:— Нет, ребята, он же раньше всех вернулся... Не было ничего, это уж точно. Да и, слышь, Ваня, ты вспомни, как они сидели. Вспомни...

Видно, Рябов и те, кто был на танцах и следил за Костей, что-то вспомнили, потому что жесткое лицо Рябова смягчилось и он спросил:

— Землячка?

Костя промолчал, кровь опять прилила, и от выступившего пота лицо заблестело.

— Да что вы пристали к парню?! Пропил он те сапоги, что ли? А хоть бы и пропил — снова живем! — решил круглолицый Горбенко. — Я б, что ли, так не сделал? Если бы подвернулось...

— Он не так сделал, — почему-то сурово ответил Глазков и поспешно отошел в сторону. Его ясные, голубые глаза подернулись влагой.

— Ладно. Замнем для ясности, — решил за всех Рябов и обратился к отдыхающим: — Так как там, под Сталинградом, и какие наши задачи?

Все затаенно усмехнулись, и Костя понял, что смешным, если что случится, он может быть. Может. Мужики ради шутки свое возьмут, посмеются в усладу. И он сдавленно произнес:

— Дочку у нее убили... Здесь... Маленькую... И мужа тоже...

Он медленно повернулся, тряхнул поочередно ногами, отчего кирзачи вместе с портянками шмякнулись о беленую печь, и полез спать.

Глава четвертая

Отдыхающие проснулись от того, что в окнах дребезжали стекла, из-за вздрагивала, а сквозь щели в потолке сочился мелкий пересохший сор-засыпка.

Где-то хрястко, со звоном лопались тяжелые снаряды, и промерзшие за ночь окна расцветчивались алыми и зелеными огнями, растекающимися на морозных разводах.

Случись такое на передовой, каждый понезаметней, стыдясь соседей, постарался бы подобраться поближе к блиндажу, под его накаты, а если б сидел уже в нем или в землянке — перебраться к стене. Но здесь, в тылу, на отдыхе, поступить так было почему-то невозможно, может быть, потому, что никто не представлял, где ж нужно прятаться от артиллерийского обстрела в обыкновенной, приспособленной для мирной жизни избе.

Костя, как и все, после каждого разрыва ощущал привычную, но от того не становившуюся приятней, стылую пустоту в груди и под вздохом, он, как все, лихо-радочно думал, как и куда смотаться от обстрела, но вдруг вспомнил, что ему говорила Мария: «...Только

снаряды ложатся на выгоне. В деревню не залетают». Он сразу успокоился и, перекрывая нервный шепоток, сказал:

— Надо спать, братва. Снаряды ложатся на выгоне и сюда не залетают.

— Он уже все знает!— в сердцах сказал молодой губастый красноармеец.— Профессор!

И по тому, как зашумели другие, Костя понял, что уважения к его нарочито ленивенько сказанным словам он не вызвал. Скорее наоборот. Его, явно проштрафившегося не столько перед начальством, сколько перед ними, своими, они уже всерьез не принимали. Они в этот момент думали о нем так же, как под конец подумал и старший политрук: сержант, он и есть сержант.

Можно было обидеться, но чего ж на них обижаться— Костя и сам такой же. Потому он засмеялся и крикнул:

— Ну, кому невтерпеж, валяй на улицу ж... морозить. А я спать буду.

Снаряды рвались все там же— не приближаясь и не удаляясь— размеренно и хрястко. Противник, видимо, вел беспокоящий огонь. Приказали батарею, а скорее даже не приказали, а заранее запланировали— выпустить столько-то снарядов по такой-то цели в такое-то время. Вот фрицы и выполняют план. Старательно и серьезно, как они это делают всегда и везде. И чем дольше рвались эти плановые снаряды, чем привычней становилось полыхание ало-зеленых морозных разводов на стеклах, тем было понятней, что деревне ничто не угрожает.

— По площади бьют,— сказал наконец артиллерист Рябов.

— Чего ж они даром снаряды разбрасывают?

— Так видишь... Они ж по карте бьют. Не по видимой цели. А в карте, может, при напечатанье на какой-то миллиметр деревню сдвинули. Вот точности и нету.

Объяснение это показалось несерьезным, и потому, после молчания, кто-то крикнул:

— Эй, Жилин! А ты как думаешь?

В голосе звучала насмешка, пожалуй, даже неуважение, и Костя промолчал. Когда нужно— он умел молчать.

Обстрел вскоре прекратился, но, кроме Кости, уже никто не заснул. Потом над избами прокатился пою-

ший удар по рельсе — подъем. И пока лениво умывались в сенях обжигающе холодной водой, пока в неясных сумерках заправляли постели, Костя спал. И уж когда прокатился еще один певучий удар-сигнал идти на завтрак, мгновенно умылся, а постель на печи заправлять не стал: успеется.

Кормили хорошо — каша с гуляшом, вместе с сахаром и хлебом выдали, как средним командирам, сливочное масло и печенюшки. Чаю — сколько хочешь. Холодок, который невольно поселился в избе и перешел в застолье, растопился уже при чае. Рябов спросил:

— Ты откуда... про выгон узнал?

— Разведка... — пожал плечами Костя.

Тот красноармеец, который обозвал Костю профессором, — молодой, с круглым губастым лицом и с большим утиным носом — все так же зло и насмешливо спросил:

— Баба доложила?

Он сказал это проще, грубее, так что за столом стало как-то затаенно. Костя отставил кружку с чаем, внимательно осмотрел свой мосластый кулак и, не повышая голоса, порассуждал вслух:

— Стукнуть тебя, придурка, чтоб копытцами посушил? Оно б можно, да потом, обратно же, долго руки отмывать. — И взялся за кружку.

Конечно, рассуждал он тоже грубо, но в переводе это звучало примерно так.

За столом все еще жила затаенность, и красноармеец с утиным носом, быстро осмотрев соседей, почувствовал: если Жилин ударит — его не только покроют, но и поддержат, потому что он вломился туда, куда и на цыпочках входить не положено. Парень покраснел и промолчал.

Жилин поднялся, серьезно сказал: «Спасибо за чай-сахар» — и, ступая твердо, но все-таки шаркая разбитыми кирзачами, пошел к выходу. Искать старшину. Он знал, что в армии вообще, а на войне тем более откладывать на потом нельзя ничего. Сразу не сделаешь, не получишь — потом будет поздно. Сменится обстановка.

Но на улице, на морозе, который схватил за распаренное чаем лицо, глядя, как перебегают в остроносых, перешитых, а может, и специально для женщин выпущенных, аккуратных сапожках медсанбатовки, подумал:

«А может, ей такие достать, а себе свои вернуть?»

Мысль показалась дельной, и он решил разыскать Марию, чтобы узнать, какой у нее размер обуви. Поиск прачечной начал с ее дома — его он запомнил. За ним, ближе к испаханному снарядами выгону, стояла еще одна изба, а за ней, уступом влево — свинарник, окруженный развешенным бельем. Над свинарником, из кирпичной пристройки, курчавился дым — работала кормокухня. Еще дальше угадывалась речная излучина, и возле нее чернела избушка или амбар.

«Не-ет, — подумал Костя. — Карты у фрица отпечатаны правильно. Лупят они точно, только вот перелет снарядики дают. Перелет... Прицельчик неточно рассчитали. А сними два деления — и готова Марья к свадьбе. Как раз по свинарнику и его славной кормокухне».

И оттого, что он так просто разгадал, где и как работают прачки, и почему противник лупит по выгону, настроение у него улучшилось, и он не спеша двинулся к кормокухне, но тут же подумал:

«Ведь два деления — и накроют! Все измордуют! Разнесут по кирпичику, а прачек...»

Может быть, впервые за все время войны он с такой отчетливой, пронизывающей ясностью понял, что на фронте воюют не только на передовой. И кто воюет? Бабы! Прачки! Они, наверное, даже не понимают, что за ними охотится целая батарея — почти сотня сытых, здоровых мужиков. Да снаряды для этих мужиков делает тоже не меньше сотни человек. Вот и выходит, что на каждую прачку у ее корыта с замызганным, а то и окровавленным бельем, на каждую безоружную усталую бабу противник отрывает несколько человек.

Дверь кормокухни открылась, женщины стали вытаскивать корзины с парующим бельем, и Костя прибавил шагу, чтобы поскорее увидеть Марию, но почти сейчас же вспомнил, что не знает ее фамилии. Подойти и спросить у женщин просто о Марии он не мог. Не потому, что прачки наверняка бы подняли на смех такого ухажера. Этого он не боялся — отшутился бы. Его смутило то, что он мог бы повредить Марии: он знал пословицу насчет незнания фамилий...

Костя свернул в сторону и по тропочке, очень независимо, неторопливо, пошел к реке. Побродил по темно-зеленому льду, под которым уже не чувствовалось воды, и подошел к избушке у берега. Из нее слышалось

шлепанье белья, говор, из выведенной сквозь стену трубы тянулся ленивенький дымок.

За дверью, вокруг дыры в полу, над парующей черной водой, стояли женщины и полоскали белье. Костя прикрыл за собой дверь и оперся о притолоку.

Прачки работали споро и красиво. Левой рукой подхватывали из груды желтоватого белья, лежащего на настиле у ног, какие-нибудь кальсоны, встряхивали их и окунали в черную дыру. Потом перехватывали белье правой рукой и быстро, плавно, не с плеском, а с ласковым журчащим звуком протаскивали его в черной воде. И тогда оказывалось, что вода не черная, а желтовато-светлая и, кажется, тяжелая.

Потом они подхватывали белье, быстро, жестко, так что белели суставы на пальцах, выкручивали его, и тяжелые, совсем белые струйки и капли обливали сапоги, струились по прикрытым мешковиной, как фартуками, подолом. И когда они поднимали выполосканное белье, неуловимо быстро и ловко встряхнув его в воздухе, и, расправив, бросали в кучу по правую сторону, Костя видел их красные большие руки с набухшими и потому как бы укороченными пальцами.

В избушке было теплее, чем на воле, над водой висели веселыми рядками сосульки, и с них, как весной, срывались тяжелые белые капли. Поэтому весь черный квадрат в полу избушки вздрагивал по краям, и Костя видел, как струится вода — тяжело, весомо и неотвратимо.

Кто-то из прачек заметил его и хрипло спросил:

— Что, сержант, погреться зашел?

Женщины посмотрели на него — кто из-под руки, кто выпрямившись, с улыбкой, заинтересованно, а те и устало-безразлично: ходят тут всякие. Костя не ответил. На той, что стояла к нему спиной, он увидел свои сапоги, по которым тоже струилась вода. Возле их каблучков образовалась тонкая, еще не окрепшая ледяная окантовка.

«Сколько ж она стоит... вот так? Нагнется, прополощет, выпрямится, выкрутит и снова нагнется...»

Он не видел ее лица, не видел ее рук, но представил и ее слегка влажное от пота и брызг милое, усталое лицо, и ее красные припухшие руки, и говорить ему не захотелось. Он понял, что те остроносые, перешитые, а может, и специально для женщин сшитые сапожки, о которых он так хорошо подумал, ей, Марии, не нужны,

слишком они по ноге. А ей вот здесь, у воды, на морозе, в сапоги следует подложить бумаги, к чулкам прибавить пару портянок, из которых хоть одна была бы шерстяной...

И острая жалость к женщинам, час за часом, день за днем стирающим заношенное и замызганное белье в ледяной воде, на морозе, под постоянным огнем противника, от точности которого зависит их жизнь, ударила его больно и навсегда: такой войны он не представлял. Но он бы не был самим собой, если б не ответил весело, с ухмылочкой-заигрыванием:

— Вы что ж, девочки, геройствуете? Дымком на себя огонь вызываете?

Костя надеялся, что они удивятся, и он снисходительно разъяснит, что противник бьет по выгону не просто так, бездумно, а с умыслом, стараясь накрыть прачечное заведение, и уже приготовился к личному возвышению, чтобы с этой высоты понадежней их успокоить, а самому покрасоваться перед Марией. Но одна из женщин зло выругалась, а вторая, та, что затронула Костю, ехидно улыбнулась и, переглянувшись с соседкой, с презрением сказала:

— Еще один отдыхающий... Чем они там, на передовой, занимаются?..

И они все, словно по команде, склонились над черной водой. Костя на мгновение смутился, а потом спросил:

— Не понял, девочки. На отдыхе я и в самом деле салага-первогодок. Может, что не так сказал?

И это его покаянная, а не задиристая, как, вероятно, уже бывало раньше, речь сняла отчуждение.

— Ну, ты ж военный человек, сержант, а вопросы задаешь глупые,— в сердцах сказала та, что ругалась.

— Так я ж, девочки, как учили задаю. Иду, смотрю: вот разрывы, вот ваш свинарник. Линия одна. Урезать два деления — и вам амба. Вот и решил предупредить. Если что не так — простите.

Женщины опять переглянулись, и та, что задела Костю, рассудительно произнесла:

— Прощать нечего. Только, сержант, тут тоже не без понятия живут. Знаем, что к чему. Здесь постреляет, а в свой час, когда потребуется — перенесет огонь.

Она сказала это «перенесет огонь» убежденно и так, как говорят хорошо обстрелянные военные люди,— столько в ее словах, самом тоне было привычного спо-

койствия. Ему захотелось поспорить, узнать, откуда и почему у них такая убежденность, но он пропустил нужную секунду. И ему заметили:

— Поживешь — увидишь.

Кто-то спросил:

— На танцы ходишь? — Костя кивнул. — Вот там и поговорим.

Ему показалось, что женщины, хоть и мельком, взглянули на его кирзачи, и он поспешил отшутиться:

— Ну что ж... Годится. На танцах я, конечно, не все пойму — в этом деле я, обратно, салага, а вот после танцев... — он сделал короткую паузу и, сощурив масляные глазки, улыбнулся, — может, чему и научусь.

Прачки посмеялись, и он, словно нехотя, оторвался от притолоки и вышел за дверь.

Мария так и не оглянулась, даже слова не сказала. И уж когда он прикрыл дверь, она вытащила из-за пазухи стеганки матерчатые рукавицы, надела их и подошла к печке. Обняв трубу, она долго стояла, грела руки и думала; темно-серые глаза то суживались, то широко открывались. Ее окликнула злая прачка:

— Хватит о хахале думать! Сейчас опять привезут.

Глава пятая

Вечером, в почти новых сапогах, Костя был в овине и встретился с Марией. Она смотрела на него недовольно и обиженно, но танцевала только с ним. Костя никак не мог понять, откуда у нее взялась высокомерная отчужденность, но все-таки шутил, стараясь растопить эту отчужденность. Иногда в ее глазах вспыхивали смешинки, но она сразу же отворачивалась.

К середине танцев Жилин в душе окончательно признал свое поражение и примолк, Мария торжественно вздернула милое округлое лицо, поджала пухлые, красиво изогнутые губы и предложила:

— Жарко... Пойдем охолонем.

Особой жары в почти неотапливаемом, да еще с беспрестанно хлопающими дверями, овине Костя не ощущал, но подчинился. Они прошли сквозь круговерть танцующих — независимые, недоступные и как будто надоевшие друг другу. Шедшая чуть впереди Мария свернула в проулок по тропке вдоль пряслин, а когда вышли за деревню, остановились. Костя собрался закурить, но Мария небрежно, словно нехотя, толкнула его, он поскользнулся и упал в снег, еще не слишком колючий,

рыхлый. Он опешил, а Мария наклонилась и стала забрасывать его снегом. Снег падал на лицо, цеплялся за ресницы и брови, вспыхивая радужными, веселыми шариками.

Сквозь эту радужность Костя увидел ее лицо — отчаянно-веселое, озорное и как бы отрешенное. Он вскочил на ноги и бросился было на нее, но она увернулась и побежала к недалекому лесу. Несколько раз Костя почти догонял Марию, даже обхватывал, стараясь свалить ее в снег, но она увертывалась и тихонько, наверное, чтоб не слышал тот, кому это не нужно, смеялась. У опушки он наконец схватил ее и повалил в снежные наметы — высокие и мягкие. В запале этой игры он еще не знал, зачем это ему нужно — обязательно повалить ее в снег, — но когда сделал это, то почувствовал некоторую растерянность и неудобство: так близко были ее, теперь почти черные, глаза, раскрасневшееся лицо и темные в снежных сумерках, приоткрытые, в облачках пахучего пара губы.

Мария ловко выскользнула, перевернула Костю и нажала на его плечи неожиданно сильными руками, вдавливая в снег. Он попробовал вырваться, но она сама отпустила его и, вскочив, бросилась в лес. Несколько раз он валил ее в сугробы и уже не в шутку прилагал все свои немалые силы, чтобы удержать ее под собой, не выпустить, но из этого ничего не получалось. Мария ловко выскальзывала, подминала Костю, и он начинал злиться.

Было в этой игре-завлечении, игре-примерке нечто удивительное, такое, чего никогда не испытывал Жилин. Ему начинало казаться, что она нарочно поддается ему, чтобы затем сразу же утвердить свое превосходство, показать, что она сильнее, ловчее и смелее... Все это задевало его самолюбие, но он не терял надежды одержать верх — все-таки он чувствовал, что иногда ему почти удастся сломить ее: только бы чуть дыхания — и все в порядке. И в то же время, когда этого дыхания не хватало, ему казалось, что Мария только играет с ним, утверждая себя. И уж когда оба устали и, пожалуй, победа в игре-поединке вроде бы склонилась к Косте, Мария села в сугроб, поправила сбившийся платок и певуче, с усмешкой протянула:

— Хватит... Устала, — и, сверкнув глазами, добавила: — Ты ж здоровый, черт. Даже не думала... Такой с виду худющий, а жилистый.

— А я ж — Жилин, — усмехнулся Костя и вдруг понял, что ему как-то не хочется побеждать ее. Он поднялся и протянул руку. Мария испытующе, но с улыбкой посмотрела на него и ухватила за руку.

В деревню возвращались медленно, посмеиваясь и остывая. В проулке долго отряхивались, и тут он вперные почувствовал, как Мария, сбивая с него снег, словно ненароком прижимается к нему. Получалось как-то так, что, побежденный в игре-поединке, он словно бы достиг нечего, и это нечего заставило его подтянуться и сглотнуть слюну.

Теперь он взял ее под руку и из проулка повернул прямо к ее дому. И она не противилась, а вела себя так, словно там, в темном снежном лесу, свершилось какое-то таинство, после которого обоим все стало понятным и доступным.

В пахучем, простынном сумраке избы-общезития, замирая, Жилин в конце концов понял, что он проиграл не только игру-поединок, но и нечто неизмеримо большее. Мария легко приподняла его стриженую голову и положила к себе на мягкое, жаркое плечо, одной рукой обняла его, вздрагивающего от стыда и неутоленного желания, а второй стала гладить по лицу, словно отирая липкий пот.

— Успокойся... Эка беда... Ведь и так хорошо... — Она передохнула и неожиданно, с легким веселым придыханием, не сказала, а почти пропела: — Хорошо-то ведь как... — На секунду примолкла и притихла, потом опять стала гладить его и приговаривать: — Успокойся. Это со всяким может быть.

Вот это: «со всяким может быть», как свидетельство обидной для него опытности, он бессознательно отбросил, забыл, а все остальное словно впитывал в себя, все доверчивей и все спокойней принимая к ее мягкому, все горячеему телу. Не он, она нашла какое-то особое мгновение, которое, может, и решило все, и стала целовать его мягко, ласково, как целуют грудного ребенка, чтобы не причинить ему боль, не повредить его молочной кожицы, целуют и понимают, что поцелуи ребенку скорее всего не нужны, что нужны они самому целующему, чтобы хоть как-то излить свою нежность и преклонение перед собственным продолжением во времени.

А ему эти поцелуи показались в чем-то обидными, унижающими его мужское достоинство, и он, чуть сме-

нив положение и приподнявшись на локте, стал целовать ее темные губы, все крепче, все отчаянней и безжалостней, пока неожиданно для него самого к нему не вернулось все, что должно было вернуться, и она, с легким вздохом-сожалением оттого, что ее оторвали от мужчины-ребенка, покорила...

С той ночи днем Жилин отсыпался, а в сумерках бежал к избе Марии. В простынно-пахучем закутке, под шорохи, вздохи, неверные в сумерках шаги, они любили исступленно и самозабвенно, заметно худея и становясь гибкими и горячими. За сутки перед выпиской из дома отдыха, часа за три-четыре перед подъемом, Костя, боясь потревожить все время не высыпающуюся Марию, накинул шинель и вышел на крыльцо покурить.

За выгоном, на опушке леса медленно разгорался огонек. Ночь выдалась ясной, звездной, крепчал мороз, и даже сюда, в тыл, явственно доносились ворчливые очереди крупнокалиберного пулемета. Огонек то вспыхивал, то сникал — похоже, что его кто-то нарочно придерживал. Костя подумал, что огонь этот разгорается почти на той самой линии, которая соединяет выгон, где рвутся немецкие снаряды, и свинарник-прачечную.

В небе народилось тарахтение самолетного мотора. Огонь погас, только иногда снопом вспыхивали искры. Самолет, видно, выровнял направление и прошел над крыльцом, Костей, выгоном и огоньком. Потом опять все смолкло.

Жилин вернулся в избу и разбудил Марию:

— Слушай, где у вас замполит живет?

Она не сразу поняла его, но потом спросила:

— Пойдешь покаешься?

— Я серьезно...

— Так и я ж серьезно.

— Чего ж это, интересно, мне каяться?

— Ну как же... Послезавтра на передовую, так сегодня сам признаешься, что столько дней в самоволках пропадал.

— Да ну тебя,— рассмеялся Костя.— Я ж действительно серьезно.

Он рассказал об огоньке на опушке, самолете и о том, как он боится за нее: ведь стоит только противнику чуть довернуть прицел...

— Ладно уж, досыпай, вояка... Это наш старшина с фрицами в прятки играет.

— Не понял.

— Фрицы летают точно по расписанию. Вот к этому времени старшина и разводит огонь. Утром на том месте он еще и дым пустит. Вот фрицы и начнут лупцевать. А наш дымок, от прачечной, останется в стороне. Понял?

Потому, что она объясняла все это ленивенько, а потом обняла его, холодного с мороза, он опять почувствовал себя побежденным и, главное, беспомощным и до противности непонятливым.

Мария молча приникла к нему и уронила на его ключицу слезу. Теплая, она перекатилась по выпирающей косточке, пощекотала кожу и приняла другую слезу.

— Ты чего?— растерянно и виновато спросил он.

— Так...— всхлипнула она.— Только один денечек... Всего один...

Она тихо, без всхлипов плакала, он прижимал ее сильное большое тело, гладил и целовал теперь так, как целуют ребенка, стараясь не причинить ей вреда или боли...

Глава шестая

Ребята из палаты-избы отнеслись к жилинским похождениям равнодушно. Можно взбрыкнуть, вот и взбрыкивает. Тем более что поджарый Иван и круглолицый Горбенко тоже пропадали две ночи, и другие ребята старались подсыпаться — атмосфера такая сложилась: снова живем.

Только Глазков отдыхал по всем правилам: после завтрака гулял, посещал политинформации и лекции, смотрел кинокартины и читал. Его лицо строгого судальского письма разгладилось, стало особенно добрым и привлекательным. Ясные, голубоватые глаза смотрели покойно и доброжелательно. Когда он объяснял что-нибудь, его уже не обрывали, слушали и, пожалуй, слушались. Костя тоже невольно, как все, проникался к нему не столько уважением, сколько приятностью: с ним даже помолчать было приятно, а уж поговорить — тем более.

И когда за полдень млеющего на своей печи Костю растолкал не кто-нибудь другой, а Глазков, Жилин не рассердился, а только сладко потянулся и спросил:

— Новости есть?

— Есть,— почему-то печально произнес Петр Глазков.— Девушка к тебе пришла.

Костя искренне удивился, потом испугался: может,

с Марией что? Он натянул шаровары и босиком прыгнул с печи.

Девушка оказалась хорошенькой — тоненькой, туго перепоясанной, с удлинённым белым лицом и яркими крупными губами. Ее глаза — светлые, большие — не позволили Косте обратиться на «ты».

— Вы ко мне?

— Видите ли, товарищ Жилин, к нам привезли вшего снайпера. — У Кости сразу все обмерло: кого? Девушка, вспоминая, подумала и назвала: — Снайпера Колпакова. Просил вас зайти.

— Спасибо, — облизывая губы, просипел Костя. — Спасибо... Здорово его?

— Пробита плевра. Потревожена ключица. Но легкие целы. Зайдите сразу после обеда — в мертвый час. Хорошо?

— Хорошо, — механически кивнул Костя и, как был босиком, в нательной рубахе, пошел за круто повернувшейся девушкой.

В сенях она снисходительно попросила:

— Идите... Простудитесь...

Костя еще постоял в стылых сенях, голые подошвы жег натоптанный снег, и он вернулся в избу. Глазков протянул ему раскуренную сигарку.

— А я уж на тебя обиделся: думал, еще одну захоронивал.

Лицо у Глазкова снова было покойным и добрым, Костя присел на нары и, словно заново просыпаясь, пожалел:

— Черт! Не спросил, чем ранило.

— На передовой найдется чем... — Глазков вздохнул. — Вот ведь как получается: под Сталинградом дела на лад пошли, так он здесь активность проявляет.

Костя посмотрел на Глазкова с легким недоверием — неужто он всерьез связывает ранение Колпакова с событиями под Сталинградом? В эти дни Костя, как и все, следил, конечно, по газетам, что там и как под Сталинградом, радовался, что все идет как будто правильно, но в военно-стратегические рассуждения и споры не вступал — не тем был занят — и вот о такой связи не думал. Да и сейчас не очень-то в нее поверил, но не показал вида.

Глазков поговорил на эту тему еще немного, а потом сказал дельное:

— Ты, прежде чем к дружку идти, заскочи в воен-

торг. Водочки на этот случай принести не грех — спать человеку лучше будет. А то при ранении, особенно попервости, спится плохо.

— Так там меня и ждут,— рассмеялся Костя.— Бери фляжку с горлом пошире.

— Не скажи... Одно — что ты все-таки не просто отдыхающий, а — Жилин. А второе — там список на отдыхающих есть. Ты им пользовался?

— Нет.— И, опасаясь, как бы его не «купили», осведомился:— А ты? Пользовался?

— А как же — мы свое взяли.

Косте стало очень неудобно, оттого что он не расплатился с бойцами за выпитую в предбаннике водку. Глазков понял его и успокоил:

— Мы ж понимаем... Случай такой вышел...

Перед обедом Костя пошел в ларек военторга. Там командовал не так чтоб уж очень пожилой, но все-таки в возрасте, носатый мужчина в гражданском. Он хмуро всмотрелся в Жилина, нашел его фамилию в списке и молча, пощелкивая костяшками счетов, стал выкладывать товар: земляничное мыло, зубной порошок, цветочный одеколон, пачку галет, банку тушенки, подворотнички, бумагу, папиросы и еще всякие мелочи, о существовании которых Жилин на войне начисто забыл. А потом отвернулся, чтобы налить в бутылки темную от настоя в дубовых кадушках водку.

Пока продавец цедил водку, Костя из любопытства заглянул в список и увидел, что его фамилия жирно подчеркнута. Против всех фамилий не стояло никаких пометок, а против его — «1 л.». Он сразу сообразил, что замполит медсанбата выделил его из всех. Выделил по-особому — определив, в отличие от других, литр водки. Всем — пол-литра, а ему — литр. Видимо, по внешнему виду и по занимаемой должности такой, как Жилин, ни о чем другом мечтать не мог...

«Ладно, помечтаем о другом...» — с усмешкой решил Костя.

Он посмотрел на счета, прикинул, что денег у него остается еще много, изучил полупустые полки и обнаружил на них женские чулки в резинку, телесные и голубые рейтузы.

Продавец выпрямился и поставил на прилавок бутылки. Жилин деловито попросил:

— Еще две пары вот тех чулок и потом... вот эти... голубые... тоже две пары.

Продавец недоверчиво посмотрел на Костю, но промолчал и к полкам не потянулся. Жилин сжал губы и уставился на продавца. Тот отвел взгляд, и Костя спросил:

— Не слышал?

— Слышал...

— Ну и что?

Продавец потоптался и с тоской спросил:

— Зачем они тебе? А? Зачем?

— У нас в батальоне знаешь сколько девчат? Должен я привезти подарки? А? Должен! Вот и гони. Замполит же предупреждал.

Продавец вгляделся в Костино бесстрастное лицо и швырнул на прилавок чулки и рейтузы, щелкнул на счетах, и Костя уже заговорщицки спросил:

— Слышь, а духов нет?

— Нет!

— Жаль... А между прочим, тоже... обыкновенный спирт.

— Пробовал?— с презрением, почти с ненавистью посмотрел продавец, но, наткнувшись на насмешливо-непримиримый взгляд Жилина, опять потупился. Он, видно, был одним из тех, кто хамит застенчиво, не поднимая взгляда.

Костя неторопливо собрал свои покупки и рассортировал их: бутылку водки, порошок, папиросы, мыло и галеты — для Колпакова; тушенку и водку — для ребят в погашение долга; остальное — Марии. Себе оставил только бумагу, иголки и подворотнички.

— Завернуть у тебя, конечно, не во что... торговля, — не то спросил, не то с издевкой укорил Костя продавца, и тот промолчал.

Очень не понравилось Жилину уклончивое презрительное молчание продавца, и он спросил:

— Слушай, друг, пойдем со мной на передок. Поостреляем вместе. А то ж ты тут зачахнешь и войны не увидишь. А?— должно быть, продавец привык к этим издевательским приглашениям и в ответ только вздохнул.— Не хочется? А то б и тебя замполит выделял... в списках. Почет все-таки, уважение...— Продавец молчал, и Костя вымещал на нем полыхнувшую зависть: этот здесь останется, будет видеть Марию, а ему опять идти.— Не пойдешь, значит? Почет там, уважение тебе, выходит, ни к чему... Ты при своих товарах вполне довольный. Не получишь чего — на водку сменяешь. Так?

Пока шел такой вот разговор, Жилин рассовал покупки по карманам, а все, что предназначалось Марии,— за пазуху шинели. Военному человеку с набитой пазухой ходить не положено. Потому из лавки он прошел к простынному закутку Марии, сунул сверток под подушку, потом забежал в свою избу, выложил свои подворотнички в сержантскую кирзовую сумку, а водку с тушенкой — под подушку Глазкова. И уж после этого пошагал в медсанбат.

Только на пороге школы он вспомнил, что его предупредили: прийти после обеда. Но ждать он уже не мог — в душе опять возобновилась та сложная и еще непонятная ему работа, что началась в первые дни отдыха. И он не стал ждать, а сразу же прошел к командире медсанбата.

Ему повезло. Моложавый, красивый майор медицинской службы только что провел удачную операцию. Он был доволен собой, исходом операции, восхищенными взглядами сестер и санитарок и с удовольствием смотрел на бравую выправку сержанта.

— Колпаков — ваш подчиненный?

— Так точно!

— Вообще-то не положено... Но когда командир приходит к подчиненному... Одобряю.

— Спасибо,— сказал Костя, но его обидело это последнее снисходительное словцо «одобряю». Как будто все командиры не рады зайти в госпиталь к своим подчиненным, а вот он, Жилин, счастливое исключение.

Моложавый майор медицинской службы и сам почувствовал, что сказал не то и не так, покраснел, нахмурился и приказал сестре:

— Дайте сержанту халат и проводите.— Помолчал и добавил:— С передовой командиру трудно вырваться.

«Вот это верно...— подумал Костя,— было б время...» И он еще раз поблагодарил майора.

Впервые за всю войну Костя побывал в медсанбате: серьезных ранений он не получал, а царапины лечил в стрю.

Поскольку больших боев не было, всех, кого можно было вылечить быстро и надежно, врачи не отсылали в тыловые госпитали. За обстрелянными кадрами гонялись в каждом полку, тем более что пополнение приходило туго... Поэтому все, с чем встретился Костя, было, в сущности, госпитальное.

И это госпитальное ему не понравилось. И душная, пропахшая лекарствами и запахами больного человеческого тела, какая-то плотная жарынь, и громкий, на-верное чересчур громкий, и счастливый смех, переби-ваемый стонами и трудными вздохами, и теснота — кой-ки стояли даже в коридоре. В палату Колпакова он во-шел растерянным, потерявшим свой веселый, напори-стый настрой.

Колпаков помахал правой рукой и просипел:

— Константин...

Жилина уже давно не называли вот таким полным именем. Он оглянулся и не узнал сибиряка — таким он показался строгим, повзрослевшим и бледным. Неуве-ренно примостившись на край кровати-топчана, Костя вглядывался в товарища, соображая, с чего бы начать. Но тот начал сам:

— Снайперы, брат, появились. Дышать не дакт.

Костя искренне удивился. Противник с лета вел себя спокойно. На снайперские выстрелы отвечал либо пу-леметным, либо минометным огнем. В прицельный винтовочный огонь он явно не верил. И вдруг — снай-перы....

Но все то подспудное, что копилось в душе, свершая какие-то сложные, еще непонятные для самого Кости передвижки в его сознании, сразу подсказало: а как же иначе? Законно. Противник — не дурак. Он умеет огрызаться.

И все-таки Костя спросил:

— А может, случай?

— Нет, Костя, не случай. Нет...— Колпаков трудно вздохнул, и в нем что-то заклокотало.— Это точно — снайпер меня купил. Здорово купил.

— Ладно. Рассказывай по порядку.

Жилин зачем-то расстегнул халат и наклонился, но сейчас же понял, что поступает неправильно: нужно бы-ло посочувствовать, успокоить, сказать какие-нибудь бодрые, добрые слова. Но Колпаков воспринял все про-исходящее как наиболее правильное.

— Они, понимаешь, раньше появились, трех или че-тырех убили. Вот мы и решили их... перехитрить. Сле-дали чучела... все чин чинарем.— Колпаков перевел дух, а Костя насторожился: чучела — это хорошо. В га-зете он читал, как это делают другие.— И, понимаешь, сволочь какая хитрая... вроде бы купился на чучело, выстрелил... и я только наметился, только на пенек его

насадил и... еще подумал... чтой-то его, однако, слишком уж хорошо видно, а тут... он сбоку, под углом и всадил.

— Выходит, ты тоже чучело на пенек посадил?— по-командирски строго спросил Жилин.

— Выходит...

— А как же он тебя засек? Вы что ж там, без маскхалатов кантуетесь?

— В халатах. И каски крашенные. И винтовки бинтами обмотали. Все правильно, а вот...

— Черт-те что, обратно, получается...— возмутился Костя.— Ну, ладно, кого б другого, а тебя ж... Ты ж маскировку лучше меня знаешь.

— Вот... Лежу — думаю.

— Думаю... Откуда знаешь, что он под углом стрелял? Видел, что ли? Или слышал выстрел?

— Выстрела вроде бы не слышал. Но, однако, здесь уж, лежа, понял — под углом. Потому что пуля вот здесь вошла,— Колпаков показал правой рукой, куда вошла и где вышла пуля.— А здесь мясо вырвала. Подпиленными пулями, сволочь, стреляют.

— Потому и низко попал,— сразу поняв, в чем дело, сказал Костя и пояснил:— У пули с подпиленным кончиком сопротивление больше, она и отклоняется вниз.— Он опять подумал, представил себе передовую, себя на ней и вражеского снайпера и уточнил:— Выходит, по пробойне направление определил?

— Выходит... Ну, ты скажи, как же он меня на снегу заметил? Я ж весь в белом.

— Не знаю... Солнце откуда светило?

— Не было солнца. Хмарь.

— Верно... Солнца ни разу не было. Может, шевельнулся, а может, еще что...

Они опять и опять перебирали подробности злосчастной охоты, и Костя все дальше и дальше уходил от дома отдыха и все ближе к передовой. Он уже видел ошибку ребят — чучела поставили слишком близко к огневой. Следовало бы подальше. А так что ж... Так противник прав. Заметил чучело, а рядом — снайпер. От одного ориентира к другому перескочить взглядом раз плюнуть. А вот с пробойнами... определять направление выстрела по пробойнам — это Колпаков придумал здорово. Хорошо придумал...

И тут Костя осознал, по каким пробойнам определял Колпаков.

Жилин сразу словно вернулся в медсанбат и ощутил страшный палатный воздух. Теперь с соседней койки на него наносило мучительным запахом гниющего мяса. Под горло подкатился комок, и он посмотрел на койку. Там лежал смуглый, черноволосый узбек или таджик. Его маслянисто-черные глаза с удивлением смотрели на Костю, как будто раненый не верил, что есть еще на белом свете вот такие здоровые, brave сержанты, как Жилин.

— Я тут принес тебе кое-чего,— торопливо заговорил Костя, вытаскивая из карманов подарки. И, наклонившись, шепотом спросил:— Чегой-то он так... воняет?

— Нога у него под гипсом гниет,— спокойно объяснил Колпаков.

Это само собой разумеющееся поразило Костю, и Колпаков заметил это.

— Кость ему повредило. В гипсе срастается. А мясо без воздуха гниет.

— Мучается?

— А как же... можно сказать, сам ту ногу... спасает.— И уже словно гордясь и своей причастностью к чужим, неизвестным другим решениям и страданиям, пояснил:— Ногу б ту нужно, однако, отрезать — и все дела. А он выпросил оставить. Говорит, лучше помучаюсь, а с ногой буду.— Посуровел, подумал, добавил:— Один тут, понимаешь, хоть ногу, хоть руку отдаст, чтоб не возвращаться, а этот...

Костя отодвинулся и задумался. Да-а... Вот оно как... Бережет ногу, чтобы опять уйти на фронт, опять играть со смертью в кошки-мышки...

— Нальем ему?— тихонько спросил Костя, и Колпаков уже с высоты своего положения покровительственно усмехнулся.

— Однако, не ему одному. Всем нужно. Ребята!— крикнул он и поморщился от боли.— Давайте кружки. Дружок тут кой-чего притащил.

Желающих нашлось не так уж много: кто-то не хотел, кому-то ранение не позволяло, но зашевелились все, и только сосед — не то узбек, не то таджик — не шевельнулся. Костя налил в кружки, разнес их и, ответив на обязательные вопросы: как там, на передке? — наклонился над колпаковским соседом:

— Хлебни...

Тот посмотрел на Костю строго, отчужденно, но не-

ожиданно в уголках его черных, мутно-маслянистых глаз сразу набухло по крупной слезе, и он благодарно улыбнулся. Жилин помог ему приподняться, и сосед выпил — жадно, крупными глотками. Когда прощались, он проводил его взглядом и слабо улыбнулся, блеснув как бы очистившимися от сосредоточенного страдания глазами.

Наверное, вот в это мгновение и закончилась в Костиной душе давняя подспудная работа и произошло некое свершение. Теперь он точно знал, что будет делать, как делать и почему. Все в нем стало на места.

Он не шел, а бежал из палаты, от запахов, от всего не до конца понятного, но страшного, что почти наверняка поджидает и его самого. Но он не боялся этого страшного, а брезговал им и готов был на все на свете, чтобы не попасть в такую же палату.

Все, что в эти дни проходило как бы стороной, не касаясь, обернулось личной причастностью. Даже глазковские слова: «В Сталинграде наладилось, а тут...» — звучали в нем по-новому: за это «тут» он готов был отвечать.

На выходе, уже сняв халат, он столкнулся с замполитом медсанбата, и старший политрук сразу его узнал.

— А-а... Жилин. Повидались с подчиненным?

Значит, это он посылал ту перепоясанную девчушку и, может, потому и выделил в списке Жилина, что знал законы палаты и законы раненых. А может, побаловал еще и потому, что не мог отличить Костю каким-то иным способом. Сделал то, что мог.

— Спасибо, повидался, — передохнул Костя. — У меня, товарищ старший политрук, до вас дело.

Косте вдруг представилась работа этого человека — ходить по вонючим палатам, говорить страдающим людям бодрые слова и принимать последние слова умирающих... Как же такое выдержать? Как с таким справиться?

Не было в Костиной, уже чистой от свершившейся работы, прямолинейной душе ни обиды на старшего политрука, ни насмешки над его тыловой службой. Была признательность и, кажется, доверительность.

— Это ж какое дело? Если смогу...

— Можете... Прикажите немедленно выписать мне аттестат, я в полк уйду. Сегодня. — И, перехватив несколько удивленный взгляд старшего политрука, добавил: — Нельзя время терять. Снайперы там появились.

Замполит пристально, как бы заново оценивая Жилина, всмотрелся в него и сказал строго, но так, словно вот только что признал Костю за равного:

— Хорошо. Идите за вещами, я прикажу выписать документы.— И уже вслед сказал:— А беседы вы так и не провели. Жаль...

Костя помчался к свинарнику. Он понимал, что в чем-то предает Марию, но верил, что она поймет и простит. Впрочем, думал он и о другом, потому что все время как бы уговаривал себя в том, что иначе поступить невозможно: жалел, страшно и страстно жалел о еще одной, так и не свершившейся ночи. Его ночи. Такой ночи, которой уже может и не быть,— жаркой, запыленной, мучился от этого, но все-таки бежал к свинарнику.

Марию он увидел издали. Она собирала с вешал вымороженное, слабо поблескивающее белье. Оно напрочь сливалось с окружающим, и темная статная фигура Марии выделялась резко и чуть зловеще. Костя невольно отметил: «Белье серое, а полностью сливается со снегом». Это его заинтересовало, но Мария издали узнала его, бросила белье прямо в сугроб и пошла навстречу, и он забыл о том, чем его заинтересовала странная особенность стылого белья.

— Понимаешь...— начал он, но, увидев ее встревоженное лицо, задохнулся и жалобно проговорил:— Прости, пожалуйста...

Он опять осекся — получалось, что он в чем-то виноват. И уж когда встали друг против друга, он объяснил, в чем дело, увидел, как меркнут ее глаза, как вся ее ловкая, статная фигура словно расплывается и оседает.

— Я понимаю,— покивала Мария.— Я все понимаю...

Он чувствовал, что она понимает не все. Он и сам понимал не все. Но в нем жила властная, не поддающаяся объяснению сила высшей целесообразности происходящего, он верил, что по-иному поступать не может, и потому попросил:

— Так ты, понимаешь, сходи к Колпакову. Сходи... хоть пару раз.

Он вытащил все деньги, что оставались при нем, засунул их за пазуху ее ватника и, понимая, что не так прощаются добрые люди, но все-таки веря в то высшее, что есть в человеке, значит, и в нем и в Марии, почти наверняка знал, что навестит она Колпакова. От

этого темные, жесткие глаза его потеплели и чуть скуластое лицо с полными губами стало очень добрым.

Глаза у Марии блеснули никогда не виданным Костей огнем — влажным, нежным и чуть болезненным, некоторое время она всматривалась в него, потом слабо охнула, взяла Костю за рукава шинели, притянула к себе и покатила голову по его груди. Он попытался обнять ее, но она оттолкнула и сказала:

— Что ж... Вот и отлюбились... — Смахнула слезу и неловко, виновато улыбнулась. — Дай бог, Костик, чтоб до свидания. Иди.

Он еще ждал, еще надеялся, что будут сказаны и им и ею какие-то особенные, неповторимые слова, но сам таких не находил. Она еще раз сказала: «Иди», круто повернулась и пошла к слившемуся со снегом, слабо поблескивающему белью. Костя смотрел ей вслед и то злился неизвестно на что, то бешено жалел и ее и себя. Потом тоже круто повернулся и торопливо пошел назад, шепча:

— Ну, вот и все... Все...

Но он врал себе, он надеялся, что это расставание — не последнее, что еще будут встречи, потому что вот сейчас только он понял, как же ему трудно отрываться от нее.

Ребята из избы-палаты были еще на обеде, водка с закуской оказались нетронутыми, и он добавил к ним записку, потом забежал в штаб медсанбата, прихватил документы и пошел в полк, на передовую.

Шел он легко, быстро, стараясь вспомнить, что его заинтересовало при расставании с Марией, но он не мог сделать этого, потому что думал о ней. Тогда он заставил себя думать о деле, о передовой, и в конце концов это ему удалось.

Глава седьмая

Отделение было на огневых, землянка выстужена, и Костя, влетев в нее, как домой после разлуки, расстроено присел на нары, прикрытые лапником и плащ-палатками. После теплой, вымытой санитарками и натопленной дневальным избы, после кино, танцев и Марии остуженная землянка, отсутствие ребят ударили больно, наотмашь. А тут, как назло, где-то совсем рядом грохнула серия снарядов, с накатов запылила пересохшая глина. За накатами протопали сапоги.

«На кой черт я спешил?— горестно подумал Костя.— Даже не пообедал...»

Ему отчаянно захотелось есть, но идти на кухню — бесполезно: обед-ужин еще не готов. Костя вздохнул и заметил — дров у печи нет. А сырыми — пока растопишь...

«Ведь говорил чертям, чтобы загодя дрова готовили,— рассердился Костя, заглянул в котелки и выругался: они стояли немытыми, а в общем котелке не было не то что чая, а даже воды.— Разболтались, совсем разболтались...»

Тупая усталость и обида на ребят захватывали все сильнее, не хотелось уже не только двигаться, а даже думать. Он лег на нары, потом вскочил и вслух сказал:

— Ну, чего распустился? Пуховиков ждал? Оркестром тебя не встретили? Давай шуруй, действуй, доброволец-комсомолец.

Он скинул шинель, разыскал в головах свой ватник и начал шуровать: перетряс постели, подмел, сменил газету на столике и, прихватив общий котелок, помчался на кухню. Воды в водовозке не оказалось, он наколот лда и, оглядываясь, набрал у бурчащей кухни охапку уже колотых дневальными дров. Пока растапливал остывшую дымящую печь, ругался, потом опять побежал к кухне, натаскал пиленых чурок и стал колоть их перед землянкой. Рассчитав, сколько времени потребуется, чтобы растопился лед, а вода согрелась, выложил за печкой поленницу свежесколотых дров — пусть сушатся, вымыл котелки. И все быстро, стремительно, но зло, как будто погоняя себя, как будто мстя кому-то, а скорее всего самому себе.

В землянке потеплело, запахло лесом, и Костя постепенно отошел, стал ждать ребят.

Они пришли поздно — долго топтались у входа, отряхивая снег и складывая чучела. Ввалились мрачными, неразговорчивыми. Жилин встречал их как многодетная домашняя хозяйка — сидя в уголке, положив руки на колени, — прямой, строгий и тревожный. Было либо в нем, либо в ребятах нечто такое, что не позволило им здороваться с Костей ни за руку, как обычно, ни официально: «Здравия желаю, товарищ сержант». Что-то легло между ними, разлучило, и Жилин, присматриваясь к ним, молча гадал, что именно.

Они ставили оружие в пирамиду, снимали подсумки, маскхалаты и каски, растирали негнувшимися паль-

цами стянутые морозом, обветренные лица, потом молча расселись перед сержантом на скамеечке у стола и на нарах, ожидая разговора. Но Костя молчал.

Снайперы курили, дым тянулся полосами, огибал широкие плечи ефрейтора Жалсанова и стремительно падал вниз, к печной топке. За накатами простучали шаги, донесся звон пустых котелков.

— Кто дневальный?— спросил Жилин у Жалсанова.

Малков и Засядько со взаимным упреком посмотрели друг на друга и промолчали.

— Та-ак... Значит, врезали вам — и все побоку? Драпать еще не собрались?— Все трое смолчали, только Жалсанов сузил ястребиные, немигающие глаза, исподлобья глядя на Костю: неужели ж он и его, старого товарища, начнет ругать? Как-никак, а здесь собрались добровольцы...— Бардак развели?! Дров нет, нары не убрали, котелки немытые — мне за вас работать?! Дневального и того нет! Корреспондентам трепать — вы на месте.— Ребята разом вскинулись, и Жилин мгновенно понял, что с ними корреспондент не разговаривал и они наверняка грешили на него, Жилина.— А вот порядок поддерживать... Жалсанов! Я тебя старшим оставлял. Ты не эти... добровольцы-комсомольцы. Ты ж — кадровый! Молчишь? Ну вот и считай, что ты дневальный. Марш на кухню! И скажи там, что я прибыл! Так и скажи — знаменитый снайпер Жилин изволил прибыть! Пусть разворачиваются.— Ребята смотрели и не понимали — разыгрывает их командир или его изменила слава. У Кости не дрогнул ни один мускул — лицо казалось чеканным: в жестких темных глазах не промелькнуло ни одной искорки, в командирском, с металлом, голосе не слышалось и намека на смешливое дребезжание.— Засядько! Чтоб до ужина был запас дров на три дня! Я тебя, мерзляка чертова, научу, как тепло хранить! Малков! Немедленно! До ужина! Раздобыть и принести два ящика.

— Где я тебе ящики найду?— возмутился Малков и встал.

— Молчать! Я не спрашиваю, где вы будете проявлять находчивость и разворотливость. Я указываю время — до ужина! Все! Выполнять!

Степная сущность Жалсанова все-таки дала о себе знать. Он встал и почтительно — командир, даже так, как Костя, все равно командир и, значит, старший, а к старшим нужно относиться почтительно — спросил:

— Ты про Колпакова знаешь?

До сих пор Костя кричал, сидя в своем уголке. Теперь он вскочил и заорал:

— С этого надо было начинать! С этого! А сейчас — марш выполнять приказ. Разболтались! Я из вас демократию выбью!

Они двинулись к дверям — испуганный Засядько, оскорбленный Малков и растерянный Жалсанов. Костя повалился на нары и долго беззвучно смеялся, всхлипывая от напряжения в плащ-палатку, от которой пахло ружейным маслом, хвоей и потом.

Он слышал, как стучал топором Засядько, слышал, как возле кухни ругается Малков, и когда в землянку вбежал обмякший Жалсанов — он ведь понял, кто вымыл котелки, — Костя уже сидел в своем уголке хмурым, нахохлившийся.

— Прости, Костя... Понимаешь... — Однако Жилин не шевельнулся, и Жалсанов растерянно объяснил: — Фляжку надо взять. Фляжку старшина требует.

Костя не ответил и отвернулся: пусть дойдет Жалсанов до кондиции. Пусть.

Жалсанов недоумевающе взглянул на командира и тихонько вышел за дверь, а Костя горько подумал:

«Неужели ж они все всерьез принимают? Хотя... Жалсанов ведь взял с собой одну фляжку, а пришел за другой. Выходит... Выходит, в хозвзводе признали мою славу? Ну, не может же быть... Не-ет... Нельзя ж так шутки поворачивать...»

Но Жалсанов принес не только котелки и две фляжки, одну из которых он отложил в сторонку. Эту, отложенную, фляжку он заставил банкой аргентинских сосисок, салом и банкой лосося в собственном соку.

— Это... — Жалсанов запнулся, не зная, как теперь величать сержанта, — командир.

Мало того, Жалсанов выставил перед Костей отдельный котелок супа. Вот этого Жилин выдержать уже не смог.

Он встал с нар, вылил из своего котелка в жалсановский суп, решительно вскрыл консервы и, коротко приказав: «Кружки», разлил свою фляжку.

— Ну, за то, чтобы вы умными были и, обратно, имели товарищескую совесть, — и первым выпил.

Однако обедали молча. И уж когда, разомлевшие, пили густой чай, приправленный вишневою веточкой,

— Отошли? Давай рассказывай.

Они сидели долго, курили, отмякая душой, рассуждали и прикидывали, как жить и воевать дальше. Когда, по жилинским расчетам, роты вышли в первые траншеи, Костя поднялся: пора докладывать комбату о прибытии.

Старший лейтенант Басин немножко похудел, шрамик на его лбу стал выделяться резче, но глаза были по-прежнему веселые, с хитрецей.

— Значит, сбежал?

— Сбежал.

— Обстановку уже знаешь?

— Знаю.

— Придумал что-нибудь?

— Придумал... Все вместе придумали.

— Так и понял — обсуждаешь с отделением и воспитываешь. Хорошо... Но только вот что я тебе, Жилин, скажу. Может, перейдешь ко мне в связные?..

— Ваш, выходит, сбежал?

— Сбежал, собачий сын, — усмехнулся Басин. — Я, говорит, воевать прибыл, а не комбатов обслуживать. Прикрыть, говорит, в бою прикрою из уважения, а чашки-ложки я и в гражданке презирал: у меня для того жена была.

Басин смотрел пристально, испытующе. Красивый мужик! Темные, зачесанные назад волосы, карие острые глаза, хорошо вырисованные губы. И плечи подходящие. И даже шрамик на высоком лбу красил Басина, делал его мужественным. А Жилин чувствовал: что-то волнует комбата, что-то его гнетет, и он скрывается за шуткой. Костя вспомнил статью в газете, убитого комбата капитана Лысова и не принял шутки.

— Старое отошло, товарищ старший лейтенант. Надо начинать по новой.

Басин помолчал. Губы у него поджались, и на скулах вспухли и опали желваки. Он кивнул, соглашаясь с тем, о чем думал Жилин.

— Да-а... Приврал корреспондент. Приврал.

Жилин чувствовал, что Басин сказал это не от чистого сердца, а словно покрывая что-то свое. Но, может, это самое свое нужно не столько Басину, сколько всему батальону и, значит, Жилину и ребятам? Кто ж его знает... Время покажет.

Они сидели, обсуждая создавшееся положение. Басин согласился со всеми предложениями снайперов.

Ночью, ворочаясь, Костя вспоминал Марию, вздыхал, кряхтел и клялся, что заставит себя забыть о ней.

Глава восьмая

Как всегда, встали много затемно.

В землянке нахолодало: печка давно потухла, и еще сонный Жилин приказал:

— Засядько — дневальный. Потом — Малков. Разворачивайтесь тут, а я — на час.

Как был, неумытый, трусцой двинулся на передовую, в седьмую роту, к старшему лейтенанту Чудинову.

Чудинов, молодой, красивый, но словно тронутый увяданием, встретил Жилина насмешливо:

— Сбежал из санатория?

— А чего ж, обратно, чикаться? Дело, оно и есть дело. — Костя сразу понял: Басин встречался ночью с командиром роты и рассказал об их беседе.

— Это уж так точно. — Чудинов вздохнул. — У нас двух немецкие снайперы хлопнули... Одного особенно жаль, старательный мужик был, четверо детей... Оренбургский... Ну а двоих ранили. Ты хоть начертание обороны еще помнишь? — Костя кивнул. — Так вот двух у крайнего левого дзота, почти на стыке — там как раз поворот в ход сообщения. В старый. А двух на правом фланге, там подъемчик, — мы ж в ложине вот там... Конечно, углубили там траншеи, теперь как будто спокойней.

— Бил, видно, с одного места, зараза... — решил Костя и спросил: — Выстрелов не слышали?

Чудинов невесело усмехнулся:

— Как не слышали?! Слыхали... Только вот беда — мертвые не рассказывают.

Веселого разговора не получилось. Чудинов подобрался и посуровел.

— Значит, с моей роты начнете? А мне потом повреждения от артналетов исправлять?

— Исправите, товарищ старший лейтенант. На исправления землю копать лучше, чем на могилы.

Костя переступил или почти переступил ту незримую грань, за которой начиналось неуважение к командиру, но Чудинов не протестовал: может быть, потому, что и сам слыл не слишком строгим человеком, а может быть, и потому, что чувствовал внутреннюю Костину правоту, а то и изменение в его судьбе.

Они расстались не слишком довольные друг другом.

Жилин прошелся по передовой поговорил с озябшими за ночь ребятами, потолкался в дзотах и к тому часу, когда ракет на передовой стало поменьше, снег на ничейке чуть поголубел, устроился в траншее у снежной амбразуры, заново изучая позиции противника, наметанным взглядом разыскивая место, откуда стрелял вражеский снайпер.

Выходило, что самым удобным для снайпера местом был невеликий взлобок, покрытый прореженным разрывами темно-коричневым кустарником. На такой взлобок и выдвигаться легко, и уходить с него можно скрытно, и видно далеко.

Костя все надежней понимал противника и, понимая, побаивался: опытный, черт. Расчетливый. Стрелял по подъемчикам обороны, потому что каждому кажется, что сверху вниз врагу стрелять сподручней. Поэтому внизу каждый прячется, сжимается, а когда идет на подъем, успокаивается, выпрямляется и попадает на мушку. Или на марку. Или на пенек. Кто как говорит. И не знает этот каждый, что вражескому снайперу стрелять сверху вниз и неудобно и опасно. Чтобы опустить вниз винторез, нужно самому приподняться и, значит, высунуться над укрытием. И движение, и тень могут выдать, и кусты пошевелиться. Ведь снайпера выдает не столько выстрел, сколько шевеление, движение. Снайпер должен уметь застывать как монумент.

И Костя застыл в своей амбразуре как монумент, оглядывая и примечая новые снежные извивы вражеской обороны.

В этот сизый, смутный час они казались печально-покойными и размытыми. И этот почти кладбищенский покой — ведь совсем недавно здесь умирали люди — подействовал на Жилина, и он, внутренне примолкая и успокаиваясь, горестно вздохнул.

Долгие месяцы войны и снайперской охоты приучили его к осторожности, и он, даже не думая, как вести себя, не выпрямился, отходя от снежной амбразуры, как это сделал бы любой иной молодой боец и, значит, чуть бы приподнялся, а наоборот, присел, скрываясь от возможного наблюдателя. Но присел он медленно, как бы расслабленно — слишком подействовал на него после дома отдыха печальный покой раннего зимнего утра — мглистого и размытого.

И тут его оглушило. Резкая боль от удара по лбу, свербящий звон в голове, радужные пляшущие шарики

в глазах. Каска с ушанкой соскочили и, звякая, покатились по стылому дну траншеи.

Потряхивая головой, словно разбрасывая радужные шарики и звон, Костя поднял каску и ушанку и медленно побрел по ходу сообщения. Мороз пощипывал стриженую голову, и Костя шептал:

— Тут уж не шутейно. Не-ет, не шутейно...

Шептал так, словно до этого он воевал в свое удовольствие, словно и до этого его не клевали пули и осколки и не били — вскользь — снайперские пули. И все-таки он был прав. Раньше все это происходило как бы случайно, и он, опытный, мгновенно реагирующий, умел выскакивать из-под обстрела, выкручиваться из сложных переплетов. В этот раз его посадил на пенек снайперского прицела или на марку настоящий мастер своего дела.

Завтракали молча. Жилин мысленно перебирал подробности происшествия и не мог понять, как противник его обнаружил? Каска белая, крашеная хорошей краской, снег — белый, свежий, сам он в белом маскхалате. И день-то еще не разгулялся как следует, а противник его засек...

«Может, у него появились какие-нибудь новые средства обнаружения? — гадал Костя. — Техником он богат, голова у него варит».

Когда кончили пить густой, терпкий чай и звон в голове утих, в землянку вошел замполит батальона старший политрук Кривоножко — деятельный и доброжелательный. Снайперы вскочили.

— Сидите, сидите, товарищи! Вот — выбрал время.

Замполит не суетливо, но очень ловко, уверенно устроился за столом, потеснив Жилина на нарах, и сказал, что пришел рассказать о событиях на фронтах и сообщить о вытекающих из этих событий задачах бойцов и командиров батальона на сегодняшний день.

После того как снайперы вырыли, а саперы обустроили землянку для Кривоножко, новый комбат Басин остался в старой, обжитой. Вначале обидевшись на это откровенное отделение, замполит быстро ощутил все преимущества своего нового положения. В его просторной землянке теперь могли собираться не только политработники, но и агитаторы и даже проходить партийные и комсомольские собрания...

Он, конечно, постоянно встречался с комбатом, многое они решали вместе, но у каждого постепенно обособилась область деятельности. Все еще примеряя свое настоящее, военное положение к своей гражданской работе, Кривоножко находил, что все, в общем-то, развивается правильно: наверху знают, что делают. Он снова почувствовал себя как бы заведующим учебной частью школы. Он делает свое дело — организует учебный процесс, контролирует его, сам проводит уроки, а директор занят общими вопросами, хозяйством, подтягиванием провинившихся, ведет переговоры с вышестоящим начальством. В те дни было приятно сознавать, что, если даже и ошибся в чем-нибудь, директор поправит и даже возьмет ответственность на себя. Ну а если и потребует лишнего, так где бы ни работал или ни служил человек, над ним всегда есть начальство, которое что-то требует, и далеко не всегда эти требования совпадают с мнением подчиненного. Словом, Кривоножко как бы очутился в привычном положении и работал не просто хорошо, а с увлечением.

И здесь, в землянке снайперов, как в школьном классе, он знал, о чем будет говорить и почему будет говорить так, а не иначе, и здесь, как в школе на уроке, у него была четкая, ясная задача — повысить боевую активность бойцов и командиров батальона.

Устраиваясь поудобней на нарах, старший политрук поерзал и почувствовал, что сзади ему что-то мешает.

— Итак, товарищи, какое на сегодняшний день положение на фронтах?— Весело, но с нотками таинственности в голосе, как бы приглашая снайперов разделить принесенную им радость, начал Кривоножко, рукой нащупывая мешающую ему жилинскую каску. Замполит попытался отодвинуть ее, но она зацепилась за клапан плащ-палатки и не поддавалась.— Надо сказать прямо, товарищи, положение на Сталинградском фронте не может не радовать нас с вами и не повергать в уныние наших врагов.— В тот год в моду входили старинные, торжественные слова, и Кривоножко в душе радовался, что ему удалось вернуть это самое «повергает».— Наши доблестные войска взяли город Калач.

Он посмотрел на ребят торжествующе и выжидательно. Снайперы в прошлой своей жизни как-то не успели заинтересоваться, где же находится этот славный город. Даже донской казак Жилин на несколько

секунд задумался. О Калаче он слышал не раз, но зрительно представить себе его расположение не мог.

Однако все поняли по настроению замполита, что взятие Калача — это большая победа, и запоздало улыбнулись. Кривоножко вынул и разложил ученическую карту — сделать это следовало пораньше — и показал, как складываются дела под Сталинградом.

Складывались они хорошо, и всем очень захотелось рассмотреть карту, и бойцы, оттесняя Кривоножко, сгрудились над столом. Жилинская каска все сильнее мешала замполиту, и он, все так же весело и радостно рассказывая, достал ее из-за спины и, держа в руках, перешел к изложению задач батальона. Эти задачи волновали поменьше, внимание ребят рассеялось и, самый молодой — Засядько — стал смотреть на каску в руках замполита. По-мальчишески нежное, румяное лицо Засядько с первыми, еще тонкими морщинками вытянулось, и он перевел испуганный взгляд на Жилина. Помрачнел и Жалсанов, и только прямолинейный Малков не изменился в лице. Он почему-то сердито спросил: — Сегодня стукнуло?

Кривоножко тоже посмотрел на каску. Повыше того места, где на плакатных касках изображалась алая звезда (на боевых ее не было), на фоне белой краски свежо блистала выемка и росчерк от пули. И тут только Кривоножко, как, вероятно, и остальные, увидел на лбу Жилина розовый рубец, какой наминает тесная кепка, и как-то заново увидел нелюбимого им в прошлом Жилина — смуглого, чуть скуластого, с лукавыми темными глазами.

Костя не изменил ни позы, ни несколько хмурого выражения лица, даже пальцем не шевельнул. Он только слегка кивнул и сказал глазковские слова:

— Вот ведь как получается — под Сталинградом дела, обратно, на лад пошли, так он здесь активность проявляет. — Он вздохнул и с грустью закончил: — А мы помалкиваем. Головы вешаем.

— Да-да... — торопливо, чтобы рассеять внезапную неловкость, встрепенулся Кривоножко. — Вот именно — вешаем головы.

Он начисто забыл все слова, с которыми пришел к снайперам. Ему мешала каска.

За время войны Кривоножко навиделся и смертей, и ужасов, и пробитых касок. Этим его не удивишь. Но говорить человеку, который час назад принял на себя

смерть и считает это вполне нормальным — говорить такому человеку то, с чем он пришел, Кривоножку не смог. Тут требовались какие-то особые слова, особый, до трепета возвышенный настрой души. Ничего этого замполит не припас и сказал совсем не по-военному:

— Вы уж постарайтесь, ребята. Настроение... понимаете ли, падает.— Он заторопился.— Жилин точно сказал: головы вешать не нужно.

Он еще раз посмотрел на блестящую отметину, осторожно положил каску на место, свернул карту с городом Калачом и ушел, испытывая странное успокоение и облегчение, словно переступив некую внутреннюю черту.

Его не провожали. Ребята молча смотрели на Костю. Он закурил и, усмехаясь, сказал:

— Вот так вот, комсомольцы-добровольцы. Давай за работу.

Из притащенных Малковым ящиков они соорудили две двойных поясных мишени на палках, потом заново покрасили зубным порошком каски, перемотали на чистую сторону бинты, которыми укутывали винтовки, и вышли на занятия.

Жилин заставлял строить снежные амбразуры, ползать в снегу, маскироваться в кустарнике. Каждый раз, проверяя подчиненных, он недовольно кричал: даже в двухстах метрах он находил замаскировавшихся снайперов в чистых белых маскировочных халатах. Что-то их выдавало. Кажется, совсем сольются со снегом, а вот как-то повернешь оптический прицел, по-новому упадет на них рассеянный свет, и на белом снегу ясно очертится белая, но какая-то неживая фигура снайпера.

«Что ж за черт?— гадал Костя.— Ведь все по науке и согласно передового опыта, а вот...»

Глава девятая

Пока ребята спали, северный острый ветер выжал из облаков последнюю влагу, и она легла на леса и передовую легкой блестящей пудрой. К утру облака растеклись, мороз заматерел и в небе засветились пронзительно чистые звезды.

Пулеметные очереди над окопами пролетали уже не со свистом, а со стоном.

Снайперы тщательно накрыли капюшонами маскхалатов каски, проверили оружие и отстегнули третьи 121

сверху крючки на полушубках — за пазухой можно будет согреть правую, рабочую руку.

В траншеи шли молча. Малков нес двойную поясную мишень. Между передними и задними ее стенками — пространство сантиметров десять — двенадцать. Если пуля попадет в мишень, она пробьет обе стенки щита. И если совместить обе пробоины, то можно определить направление полета этой пули, а оно выведет на место, где засел стрелявший. Словом, все было продумано и сделано на высшем уровне, но особой веры в эту теоретическую науку не отмечалось.

Молчаливые, хмурые, зашли в дзот, дождались, когда пулеметчики ушли на отдых, и закурили. Из амбразуры тянуло холодом, по телу забегали мурашки. Рассвет креп, и Жилин сказал:

— Пора.— Он строго посмотрел на Малкова и Засядько.— Напоминаю еще раз: понизу идите торопко, но не слишком, а как начнется подъемчик к восьмой роте, шаг прибавьте и высовывайте свою бандуру почаще, но аккуратно. Тут главное — аккуратно, правдоподобно. Задача тут какая? Показать ему, что по траншее идет молоденький парнишка и не слишком верит в опасность. Опасается, конечно, но верит, обратно же, не слишком. Если он сразу не выстрелит, подождите полчаса, а потом обратно, но высовывайте бандуру посмелее. Дескать, мальчишечка тот...

— Какой мальчишечка?— сердито спросил Малков.

Жилин удивленно посмотрел на него и рассердился:

— Ты что? Слушаешь или гав ловишь? Я ж тебе толкую: твоя мишень должна играть молоденького бойца. Понял?

— Понял...

— Ну, раз понял... А, черт! Сбил... Словом, обратно, действуйте посмелее. В случае чего пробоины ориентируйте на месте и направление наносите на стрелковую карточку тоже сразу. По всем правилам. Как учили. И — немедленно ко мне. Все. Выполняйте.

Жалсанову Жилин отдал другой приказ:

— Ты, Джунус, карточки не жди: заметишь — стреляй сразу. Но только если заметишь. И на меня не оглядывайся. Понял?— Жалсанов хмуро кивнул, и Костя буркнул:— Иди...

Пока расходились по местам, небо на востоке из лимонно-желтого стало розовым. И снег стал розовым, и думы над немецкими невидимыми землянками тоже

зарозовели, и даже пролетевшая над передовой сорока показала черную розовую.

Костя пристроился к амбразуре дзота и положил винтовку так, чтобы ее дульный срез лежал как раз на внешней кромке амбразуры: в таком положении вспышка выстрела станет почти незаметной. И траншеи противника, и кустарник на взлобке, где, как считал Костя, таился вражеский снайпер, и все, что лежало перед ним, вчера было обезображено оспинами разрывов и росчерками очередей и потому воспринималось как нечто тревожное, желтовато-серое на грязно-белом. Сегодня же вся эта тревожность оказалась необыкновенно красивой, торжественной, розовато-белой, ровно ухоженной, все время вспыхивающей бесчисленными блестками — изумрудно-синими и ало-розовыми. И эти крохотные быстрые вспышки мельтешили в глазах, мешали сосредоточиться, как бы размывали предметы и приметы. Костя загрустил. «Черта лысого его здесь выследишь. Рай, а не маскировка».

И все-таки, шурясь и прикивая правым глазом к оптическому прицелу, через который, как через бинокль, все виделось увеличенно резким, Жилин постепенно начинал замечать детали, разбираться в них.

В посеченном, перепутанном кустарнике, ровно и красиво припорошенном молодым снегом, найти замаскировавшегося снайпера, конечно же, было невозможно. Вот почему Костя, даже заметив в кустарниковом массиве как бы просеку — прямую и темную, — поначалу не обратил на нее внимания. Но, неторопливо, обследуя бугор, он опять и опять наткнулся взглядом на эту темную полосу-просеку, пока не понял: по ней прополз на огневую снайпер. Он затронул ветви, и снег — сухой, острый — осыпался.

Еще не веря своему выводу, Жилин внимательно проследил просеку до того места, где она обрывалась, и сразу же увидел белое и в то же время чуть желтоватое пятно: голова снайпера. Он тоже был в маскхалате и тоже натянул капюшон на каску. И винтовка у него тоже была обмотана бинтами. Но выкатывающееся солнце всюду играло блестками на кустарнике, буграх и снежных наметах, а на капюшоне вражеского снайпера, на его винтовке не было ни единой блестки. Белые, отдающие в желтизну, они были чуждыми, неживыми в этой игре и переливах красок раннего, веселого и морозного утра.

Помимо своей воли Костя сразу же стал прицеливаться, чтобы снять снайпера, но тот опередил Костю и выстрелил. Внизу и вправо, там, где и договаривались, раздался истошный, рыдающий крик Засядько. Орал он на совесть, с переливами. Костя не стал ждать, когда кончится эта комедия, опять выцелил снайпера, но тот дернулся и сник: слева донесся звук выстрела. Стрелял, видимо, Джунус. Костя только добавил. Для верности.

Засядько и Малков ввалились в дзот, и Малков возмущенно зашипел:

— Кто стрелял? Ведь вспугнули!

— Не вспугнули. Джунус его снял. Карточка где?

— Теперь уже не в ней дело...

— Давай-ка ориентируй пробоины, черти карточку. Видишь на кустарнике как бы темную черту? Не видишь? Смотри через пробоины, а потом через пришел. Видишь? Вот там он и кончился. Верно сориентировались.

— Ты смотри...— удивился Малков.— Верно.

— Вот то-то.

— А теперь домой?

— Погодим... Посмотрим, что дальше будет.

А дальше на передовую обрушился огневой налет — били минометы. Ребята сидели на полу дзота, у стен и хоть в душе и мечтали, чтобы шальная мина не врезалась в жиденький накат, все-таки улыбались и даже пересмеивались.

— Все!— решил Малков.— Одного уделали, а фрицы своим налетом расписку выдали: мертвяка приняли.

И в самом деле, когда налет окончился, линия-просека в кустарнике стала гораздо шире. Видно, санитары вытащили убитого или раненого снайпера.

Когда они возвращались, из землянок выскакивали бойцы и спрашивали:

— Убрали?

Ребята не отвечали, но по спокойному, умиротворенному их виду все понимали — снайпера убрали.

Старшего лейтенанта Басина они встретили возле его землянки — он надраивал сапоги. Выпрямился, улыбнулся и, протягивая руку, поздравил:

— Как говорят, с полем. Быстро. Думал, дольше будете возиться.

— Повезло, товарищ старший лейтенант. Всей придумки так и не использовали.

— А кричал у вас кто? Засядько?

— Он...

— Хороший голос. Прямо хоть в театр.— Снайперы засмеялись, а Басин посерьезнел.— Слушайте, Жилин, я приказывал подобрать еще людей. Подобрали?

Все время разговора снайперы стояли вольно, а тут мгновенно подобрались и замерли: разговор пошел серьезный.

— Никак нет, товарищ старший лейтенант. Оружия нет. Если б еще хоть пару снайперских винтовок, можно было бы и четырех взять. И уж в крайнем случае нужно хоть пару биноклей. Фриц пошел такой, что простым глазом заметишь не сразу.

Басин задумался и кивнул.

— Командиру полка я о вашей охоте доложил. Сейчас иду в тыл. Поговорю еще, а вы подбирайте кандидатов.

— Есть подбирать кандидатов, товарищ старший лейтенант! Только если вы в тылы... Так простите, товарищ старший лейтенант... Может, я что не так... но только...— Костя вытянулся и выпалил:— Товарищ старший лейтенант! Зайдите к Колпакову. Я был у них... видел. А? Товарищ старший лейтенант?

Голос у Кости срывался, смуглое лицо потемнело — кровь прилила к щекам. Басин посмотрел на него с интересом и поначалу даже недовольно, потом пожал плечами.

— Не знаю... может быть, и зайду.

— Ой, как бы здорово было! Так я сейчас передачку организую. Можно, товарищ старший лейтенант?

Он был настолько простосердечен, что Басин не мог отказать — сам лежал в госпиталях и понимал Жилина.

— Ну что ж... Давай.

Костя ринулся к командиру хозвзвода, вымолил у него фляжку водки в счет будущих пайков отделения и кусок сала потолще, в середине которого еще теплилась живая розоватость. От себя старшина передал еще и горсть сахара-рафинада. Когда Костя забежал в землянку комбата, тот уже был готов к путешествию в тылы — в шинели, в начищенных сапогах, свежевыбритый, пахнувший одеколоном. Он покачал фляжку на руке и недовольно сказал:

— Разлагаешь своих подчиненных. Ведь не положено...

— Пусть уж лучше тут будет не положено... А там... Там пусть положат. Я видел... Знаю... Пусть хоть по маленькой.

Басин припомнил свое лежание в госпиталях, глаза у него сузились, лицо посуровело.

— Ладно. Попробую.— Он сердито посмотрел на Жилина.— Балую я тебя, газосварщик. Ох, балую.

Он развязал свой вещмешок и небрежно бросил туда сверток с гостинцем и фляжку.

Легли спать пораньше. Ребята быстро захрапели, а Костя опять думал о Марии, о том, что не так они простились, как следовало. Он ясно представил ее милое округлое лицо с чуть вздернутым носом, серьезные серые глаза и яркий полный рот, представил ее статную темную фигуру на фоне белых сугробов и стылого и потому сероватого белья и вдруг вспомнил то, что его подспудно волновало каждый раз, когда он вспоминал о Марии.

Белье! Белье, которое она бросила на слабо поблескивающий снег, когда пошла ему навстречу! Это стылое сероватое белье начисто сливалось с сугробами, потому что поблескивало точно так же, как и снег. Вот в чем дело: белье было в льдинках-блестках. А их маскировочные халаты, их каски — гладкие. Они не блестят, на них нет снежинок-блесток. Потому и фриц попался — он казался неживым, чуждым на искрящемся, розово-свежем снегу.

Костя разбудил Жалсанова и спросил:

— Ты как фрица заметил?

— Хорошо, понимаешь, виден был. Сам удивился — снег молодой, все белое, он тоже белый, а — видно.

— Все правильно. Все... Ладненько. Спи, с утра проведешь опыт.

Джунус заснул сразу, а Костя еще долго ворочался — думал.

Глава десятая

Проснулся Жилин все равно раньше всех и побежал к комбату. Басин только что вернулся с обязательной предутрешней проверки передовой.

— А-а, знаменитость, — сказал он весело и протянул руку.

Костя шагнул навстречу протянутой руке, настороженно поглядывая на Басина. Он был в новом светлом свитере, воротник которого выпустил на гимнастерку.

И тут Костя увидел алый прямоугольник — «шпалу». «Шпала» торчала непривычно, в окружении пятен от вынутых квадратов. Выходило, что старшему лейтенанту присвоили новое звание — он стал капитаном.

Глаза у Кости вспыхнули — он всегда умел радоваться чужим радостям, — и он подумал: вот и догнал Басин покойного Лысова. Наверное, какая-то тень проскользнула по его лицу, и капитан понял Жилина, потому что, принимая поздравления, сказал вроде бы небрежно, но расчетливо:

— Это еще с курсов... за мной идет. Вот и пришло. — Он засмеялся. — А приятно!

Костя тоже засмеялся, кивнул и подумал: капитан помнит неточности статьи и подчеркивает, что не она повлияла на его повышение. Да так оно и есть, должно быть, миролюбиво решил Жилин и опять улыбнулся, разделяя радость комбата.

— Так вот, Жилин, снайперку, пока одну, нам дадут. Бинобль тоже пока один я для тебя выклянчил. У Колпакова был, ему много легче. Передачу отдал. — Комбат усмехнулся. — Там, говорят, за ним ухаживает одна. Так что все в порядке. А вот насчет водки...

Если бы Басин сказал, что водку он выпил с другими, поздравлявшими его с новым званием, Жилин не только бы не обиделся, а скорее пожалел бы, что передал не совсем полную фляжку. За такое дело сам бог велел опрокинуть, и не по единой. Но Басин сказал иное:

— А насчет водки все получилось не так. Оказывается, в медсанбате задержали всех раненых из нашего батальона. Ну и сам понимаешь — не могу же я у одного побывать, а к другим не зайти. Вот так и разошлось. Извиняешь?

Жилин не то что извинял. Он радовался. Радовался, что ему повезло на настоящего командира, — ведь капитан Басин по всем самым жестким довоенным приметам настоящий кадровый командир: умный, строгий, подтянутый и дело и людей знающий и любящий. Но есть в нем еще и нечто от той удивительной гражданки, на которой многое не так, как в армии (Жилин по молодости не знал армии тридцатых годов, когда жилось именно так, как ему теперь нравилось).

В той гражданке начальник цеха, не говоря уж о мастере, мог и потребовать и поручиться, но — на работе. А как только вышли за ворота цеха — там извини-

те. Там иные обычаи и понятия. Там ты можешь десять раз быть начальником, а в товарищи тебя не возьмут. Но если ты человек, то и в цеху тебе и уважение и прощение твоих промашек — у кого их не бывает, и за цехом ты человек свой, хоть в трамвае, хоть в застолье. Вот таким казался Басин Косте Жилину. И он радовался этому.

И комбату нравился Жилин — насмешливый, независимый, ловкий и, кажется, бесстрашный. Расчетливо бесстрашный.

«Настоящий рабочий парень, мастеровщина. Не знает — выучится, не умеет — придумает. Даже на вид и то приятный».

— Ну вот, товарищ сержант, я тебе все и доложил. А ты мне что доложишь?

Костя рассказал о своих наблюдениях, и комбат посерьезнел.

— А что ты думаешь... вполне вероятно. — Прикинул что-то свое и решил: — На охоту не выходить, опробуем маскировку вместе.

Когда Жилин ушел, Басин прилег и стал вспоминать вчерашний приятный день: поздравления, беседы с командиром полка, в отделе кадров дивизии и медсанбат. Правда, случилась и некоторая непредвиденная неувязка. Прощаясь с командиром медсанбата и его замполитом, он встретился с молодой и, кажется, красивой женщиной, которая приходила к Колпакову. Поглядывая на него весело и, пожалуй, кокетливо, женщина эта попросила Басина взять ее на передовую.

Комбат не слишком удивился этой просьбе — и раньше, особенно минувшей тяжелой зимой, женщины во множестве просились в строй. Призывали по санитарным, связистским и иным не вполне строевым специальностям. Эта сразу попросилась в повара.

— Готовить умею, а ваш наряд на кухню будет поменьше.

И это ее объяснение, да еще, конечно, белозубая (милая, но не робкая) улыбка расположили Басина. Когда из рот посылали наряд на кухню, намерзшиеся на передовой бойцы норовили прежде всего отоспаться и потому работали не слишком уж напряженно: и мерзлую картошку половинили, и дрова рубили кое-как, только-только на подтопку, и вообще... Не чувствовали себя хозяевами. И она знала это, а значит, знала и ар-

мию. Иметь же на кухне лишнего человека, болеющего за дело, с которого можно спросить за это дело,— очень и очень важно. Находясь в приподнятом и несколько расслабленном состоянии, Басин сразу пошел с женщиной в четвертый отдел штаба. Там пообещали вернуть ее призыв: люди понимали, что кухня — дело великое. Они знали, что там, где рядом с армейскими поварами орудовали и женщины, кормежка бывала и наваристей и, главное, вкусней.

Когда они расстались, Басин, как истый мужчина, поглядел ей вслед. Он не мог не отметить, что этот его возможный боец, кроме всего прочего, обладает еще и отличной фигурой. Припомнив ее веселый взгляд, сдержанную, чуть загадочную, даже, пожалуй, хитроватую улыбку, усмехнулся: а чем черт не шутит, когда начальство спит... Ведь хороша!

Басин не предполагал, что этот день на многие месяцы вперед в чем-то определял его судьбу...

То, что он, получив звание, пришел в медсанбат к бойцам своего батальона, принес фляжку и даже чуть пригубил с ними, стало для него лучшей характеристикой. И медсанбатовцы и раненые много и долго рассказывали об этом дне, вырисовывая для себя образ настоящего командира-единоначальника.

— Ведь что у нас получается,— убежденно говорил замполит медсанбата,— забота, внимание к подчиненным стали как бы обязанностью политработников, а командиры остались в стороне.— Замполит, видимо, тоже искал оправданий реформе — отмене института комиссаров.— И если бы все поступали так, как этот комбат, дело пошло бы много лучше.

Раненые рассуждали по-иному: поджал Верховный, вот и зашевелились. Может, и другие вспомнят, как должны жить настоящие командиры, и вспоминали Чапаева.

— Тот ведь как говорил? «Я тебе в бою командир, а после боя приходи, я обедаю — и ты садись, я чай пью — и ты со мной чай пей». И правильно! Потому что одно дело делаем.

О басинском поступке спорили, гадали, не подрывает ли такое поведение авторитет командира-единоначальника, нет ли в поступках комбата опасного панибратства, заигрывания с подчиненными. Но так или иначе, а дивизионная молва признала Басина самобытным и перспективным командиром.

Сам Басин ничего не знал об этой молве, о своей славе. Он думал только о своих батальонных делах. Поспав до восхода солнца, он вместе со снайперами вышел на занятия и проверил жилинское предложение: маскировочные халаты и каски sprыснули водой так, как sprыскивают хозяйки белье перед глажением, и вывалили в снег. Снежинки быстро примерзли к мокрому и поблескивали весело и затаенно. Басин откровенно радовался.

— Ну молодцы, ну рабочий класс! И на войне рационализацию не забыли.— Он улыбался широко и торжествующе — умел радоваться чужим удачам, но вдруг посерьезнел и задумался.— А что ты думаешь, Жилин... Об этом стоит доложить — пусть и другие пользуются.

Жилин так и не узнал, докладывал ли Басин по команде или нет, на следующий день его неожиданно звали к замполиту.

В просторной, отрытой снайперами и обихоженной саперами землянке, пахло хвоей и красками — на длинном столе лежали полосы бумаги (в батальон часто наведывались журналисты из дивизионной и армейской редакций, и Кривоножко выклянчил у них типографской бумаги-срыва). Замполит смело, даже чуть небрежно работал кистью: «Каждому взводу — кочующую точку».

— Садись, Жилин. Нужен твой совет.— Он отложил лозунг и взялся за второй.— Вот затеем новое дело — кочующие огневые точки. Разумеешь?

— Смотря как понимать...— уклончиво ответил Костя, с легкой насмешливостью и недоумением поглядывая на Кривоножко,— таким он его не видел.

Ни былой обиды, ни тем более прежней суровой озабоченности, сочетавшейся с некоторой величественностью. Были деловитость и некоторая приподнятость духа: человек делал интересное дело.

— Система, Жилин, получилась такая: загнал нас противник в норки, мы и сидим, радуемся — не дуем. А нужно сделать так, чтобы противник все время жил накаленным, чтобы он лишился своей спеси. Для этого нужно думать и думать. Мыслить! Где взять силы, чтобы прижать фрица? А разве у нас ее мало? Одних пулеметов сколько, но все сидят и молчат. Так вот эту политическую и психологическую задачу можно решить тактически: на каждый пулемет подготовить две, три, а то и четыре временных огневых позиции. Вышел, пострелял или ответил на вражеский огонь и — в укрытие.

В злот! Понимаешь? Каждый пулемет должен кочевать с одной огневой на другую, чтобы противник не мог его засечь... как, например, во время разведки боем. Придавил он нас тогда. А почему? Да потому, что по норкам сидели. А снайперы кочевали! Верно ведь? Вы ведь каждый раз стреляете с новой позиции?

— Н-ну... почти всегда. Но дело — стоящее.

— Вот! На собраниях и так... в личных беседах все то же говорят — стоящее дело, однако сами вылезать из-под накатов не спешат. Побаиваются. Просят, чтобы днем их прикрывали снайперы. Можно организовать взаимодействие? Как ты мыслишь?— Жилин не спешил с ответом, и Кривоножко выпрямился и многозначительно сказал:— Подчеркиваю — дело политическое. А ты кандидат партии и должен уметь думать.

— Это я понимаю... Прикрыть — прикроем... Только в таком кочевье нужно бы порядок навести. А то если каждый начнет в свою дуду дудеть...

— Молодец! — перебил его Кривоножко. — Сразу понял главное. У меня в этом вопросе некоторые разногласия... с комбатом. Он говорит, что никакого порядка в кочевье заводить не нужно. Фриц может быстро засечь этот порядок и заранее подготовить контрмеры. А мне кажется, что для организации взаимодействия такой порядок нужен. Ты как считаешь?

— А что считать? Если днем, так лучше действовать по порядку, по графику, что ли... А ночью, когда мы прикрыть все равно не сможем, то, как считает капитан, кому как сподручней.

— Тогда так и решим — займись взаимодействием. Это тебе мое партийное поручение. Дело новое, упустить нельзя. Под Сталинград отсюда никто из фрицев уйти не должен. Понял?

Капитан посмотрел вслед Жилину и усмехнулся. Странно, но факт: нелюбимый им Жилин сейчас ему явно понравился. Вероятно, таким — независимым, когда дело касается его профессии, мастерства, немногословным — и должен быть настоящий солдат, специалист. Что ж разговаривать, когда «само дело кажет».

Теперь капитан вздохнул — дело-то и ему кажет. С тех пор как он занялся этими самыми кочующими огневыми точками, он как бы заново увидел и оборону и людей, ее занимающих. Сколько, оказывается, возможностей она таит в себе и сколько неприятностей. Как неравномерно растрачиваются силы бойцов. Седьмая рота Чу-

линова, самая активная и веселая, занимает самый плохой участок — в лошине. Как оттепель — вода заливают траншеи, разрывы мин или снарядов в ней опасней всего, особенно когда разрыв приходится посреди лоштинки. Осколки не уходят вверх, а секут склоны. В них же — землянки. А восьмая рота сидит в удобных, построенных ее предшественниками укреплениях и, в сущности, отдыхает.

Надо бы хоть изредка менять роты... Но — не он здесь командир. Он может только предлагать.

Все чаще и чаще Кривоножко ловил себя на том, что задумывается не только о политработе, хотя и ее хватало, потому что люди показывали себя порой совсем не с той стороны, с которой привык их видеть замполит. Он все чаще и чаще оценивал их не по словам, не по поступкам на людях, а по тому, как они вели себя один на один с противником. Оказалось, что иные из тех, к кому он благоволил за их рассудительную речь, готовность выполнить любое задание, не говоря уж о приказе, удивительно покойно относились к поведению противника:

— А чего его задевать? Молчит — нам легче.

А вот те, кто кипел, спорил — тот на передовой, не упускал случая нанести урон врагу, и если это получалось, откровенно радовался и хвастал, а если не получалось, что-то выдумывал и опять кипел и спорил.

Политработа все чаще и все глубже переплеталась с тактикой и огневой, и хотел того капитан или не хотел, а он был вынужден заниматься этой тактикой ежедневно и, можно сказать, ежечасно. Должно быть, поэтому ему и по-новому понравился Жилин: оба занимались одним общим делом и ценили людей по тому, как они выполняют это дело...

Глава одиннадцатая

Противник же в эти дни будто осатанел. Как в начале войны, он обстреливал каждую подводу, каждого бойца; его огневые точки — ручные и станковые пулеметы — патронов не жалели. В иное время такая резко возросшая боевая активность врага наверняка вызвала бы тревогу, ожидание наступления или еще какой-нибудь вражеской каверзы. Но в эти дни все озарялось Сталинградом, все понимали, что если там в окружении сидят сотни тысяч фрицев, здесь он не пойдет. И никто не знал, что как раз в эти дни ударная танковая группа фельдмаршала

Манштейна упрямо пробивалась к окруженным, а сидевшие здесь немцы получили приказ усилить нажим.

На всей передовой вдоль Варшавского шоссе, а может, и дальше, вспыхивали непрерывные перестрелки, артиллерийские дуэли, налеты, поиски разведчиков и короткие, стремительные бои за какой-нибудь сожженный, оставшийся только на карте населенный пункт или безымянную высоту.

Костя Жилин почувствовал слом привычного настроения очень быстро: не он, а его стали упрекать в медлительности, он оказался виновным в том, что взаимодействие с пулеметчиками налаживалось туго. И он рассердился. А тут, как это обычно бывает в жизни, навалились непредвиденные дела. Вдруг пришло две новых снайперки, и Малков, как всегда независимо, с долей мнимой обиды на кого-то близкого, но им не указанного, и в то же время с легкой полуулыбкой, почти гримаской собственного, до поры затаенного превосходства, вечером спросил:

— Слышь, сержант. Ты приказ комбата будешь выполнять?

— Какой там еще приказ?

— Насчет новых людей...

— А ты что? Подобрал?

— Так просят... А ты молчишь... Ну а теперь и винтовки есть...

Замотанный беготней и той организаторской неблагодарной деятельностью, которая отнимает массу времени у любого командира — незаметная, с нервотрепками и далеко не всегда удачная, словом, такая, что подчиненные уверены: их командир и не делает ничего путного, а так только... коловращается,— обиженный чужими упреками, Костя действительно начисто забыл об этом указании Басина. И сразу простил Малкову его тон.

— И как ребята?

— Ничего... Всякие...

— Ты конкретно.

Малков по обыкновению примолк и, выждав, когда ребята прикурили, стал свертывать сигарку.

— Ну, во-первых, Кислов... Тот самый, которого в плен... не дотащили.

Костя сразу вспомнил того бедолагу, которого он спас от плена, его синюшное лицо, его строгую непримиренность и подумал: этот подойдет.

— Во-вторых, с девятой роты пацаны. Чудинов тоже предлагает... Так что люди есть.

Все эти дни Жилин жил стремительно и потому решил тоже быстро:

— Одну винтовку оставить для Колпакова, пока она будет у Засядько. Вторую — Малкову. Значит, подбирать нужно двоих.

— Колпаков не вернется,— сказал Джунус.

— Это ж почему?— удивился Костя.— Он же вроде выздоравливает.

— Письмо прислал,— застеснялся Засядько.— Пишет, что его забрали в учебную — на сержанта учиться.

Малков и Костя переглянулись. Засядько решил, что этот перегляд неодобрителен, и сейчас же оправдался:

— Да он к нам просился... А его не вернули. И не его одного...— Ребята молчали, и Засядько подумал, что они не одобряют его за то, что Колпаков написал о таком не командиру, а Джунусу, и сейчас же вступился за товарища:— А письмо только сегодня пришло...

Но Малков и Жилин переглядывались потому, что в этом известии было нечто меняющее их представления.

Дивизия давно стояла в обороне, потери были небольшие, и в случае выбытия кого-либо из сержантов всегда находился такой же сержант, который мог заменить выбывшего. В обороне награждали редко, а вот присвоить звание отличившемуся бойцу было действительно почетно. А теперь вот что, оказывается,— сержантов будут учить... От этого проклюнувшееся и крепнущее ощущение неминуемой победы над врагом, превосходства над ним тоже окрепло и расширилось.

Жилин лишний раз уважительно подивился молчаливости Джунуса и, с долей ревности подумав: «Не забыл Колпаков своего старшего... Не забыл...»— решил:

— Тогда так: завтра после обеда собери всех, и пока я буду бегать — проверьте, как стреляют и как... мыслят.— Он поймал себя на словечке Кривоножко и чуть смутился.— В нашем деле надо уметь думать. Вот и проверьте. Сейчас — спите, а я на передовую: надо окончательно уточнить цели.

Он быстро оглядел ребят и понял, что они недовольны им. Он словно отдалялся от них этой быстротой решений, вот этой своей исключительностью — пусть все спят, а он будет делать дело — словно красовался перед ними, ставил себя выше. Его смущение усилилось, но показать его он не мог — не тот характер.

— Ну что уставились, как будто я на свиданку собрался? Что ж я вам, нянька? Если я командир, так должен разрываться? Вместе затевали это отделение, никто нас не просил, так нужно вместе и тянуть. А то вы, видать, уже попривыкли, что я с начальством вась-вась, так я все и должен делать? И днем и ночью? И на передовой, и в тылу? Не выйдет, мальчишки. Раз уж вы добровольцы-москвичи, так умеете думать за всех. За все отделение, а не за себя только. Особенно ты, Малков. А еще б лучше не за отделение — оно ж у нас одно на весь батальон и даже полк, а хоть бы за роту. Вот в таком плане, обратно же... Все понятно или разъяснить подходчивей?

Разъяснять не пришлось. Ребята промолчали.

Вечером вместе со старшим лейтенантом Чудиновым уточнили первую цель, согласовали взаимодействие с пулеметчиками, и Костя, сам поспав немного, разбудил ребят до завтрака и поставил задачу: дожидаться, пока намеченный дзот откроет прочесывающий огонь, — перед уходом на отдых он всегда открывал огонь, — и когда по дзоту отстреляются наши пулеметы, снайперам бить уже на верное поражение, а главное, мешать другим немецким пулеметам стрелять по нашим, вышедшим из-под накатов.

Стрелять в сумерках приходилось и раньше, но вроде как навскидку, по звуку, по вспышке. А это не то что вести точный, прицельный, словом, снайперский огонь, и Костя нервничал не меньше ребят, но виду не подавал.

Малков и Жалсанов устроились во врезных ячейках траншей, а Костя с Засядько — в том дзоте, из которого пулемет выкатили на открытую огневую позицию. У Кости был свой план. В дзоте было совсем темно, а отраженный от снегов свет все-таки создавал фон, на котором можно увидеть прицел. Они пристроились к амбразуре, плечо к плечу, зрение постепенно привыкало к рассеянному свету, и только горящие от возбуждения лица пощипывал рассветный мороз.

Как и ожидалось, намеченный дзот открыл огонь в тот момент, когда стала заниматься заря — лимонная, жидкая. Пулеметная лента подбрасывала патроны с трассирующими пулями, и трассы чертились неторопливыми блеклыми линиями. Как и планировалось, наши пулеметы — один станковый и два ручных — ответили сразу. Их первые очереди были почти сплошь трасси-

рующими, и когда они сошлись у амбразуры, казалось, что дзот немедленно захлебнется,— так много было этих трасс. А он строчил и строчил. Потом наши пулеметы уточнили прицел — и трассы, как и планировали, исчезли,— били бронебойными и обычными пулями. Заработали автоматчики и другие пулеметы врага.

Жилин и Засядько выбрали немецкий ручник, который работал особенно зло — короткими, но частыми очередями. Судя по его трассам, очереди эти ложились по самым верхушкам брустверов. Жилин, выстрелив первым, уловил сбой в ритме очередей противника и понял: пуля прошла рядом, и пулеметчик дернулся.

— Стреляй как можно чаще,— приказал он Засядько,— а я — с выдержкой.

Засядько заработал как автомат или как отличник на стрелковом тренаже: мгновенно перезаряжал винтовку, хоть и плавно, но быстро нажимая на спусковой крючок. В паузах стрелял Жилин. Иногда выстрелы их как бы совпадали, и казалось, что это бьет короткими очередями пулемет и автомат.

Немецкий пулемет уgomонился, и ребята перенесли огонь на другую огневую точку — может, станковый, а может, ручной пулемет — в трескотне трудно было определить, какой он. Они грамотно и все так же быстро, с частыми совпадениями выстрелов, обрабатывали амбразуру вражеского дзота, заставляя противника срывать очереди. В это время из хода сообщения, соединявшего дзот с траншеей, слышались торопливые шаги — возвращались хозяева дзота — станковые пулеметчики. Четверым в тесном дзоте поместиться было трудно, и Жилин крикнул:

— Подождите, ребята! Сейчас кончим.

Вражеские пулеметчики, как по команде, оборвали свои очереди — может, были ранены или убиты, а может, просто поняли, что нет смысла вести огонь по пустым траншеям, и снайперы, постояв еще минуту, стали неторопливо собираться. В дверях они столкнулись с пулеметчиками, нагруженными станком и телом пулемета, коробками с пулеметными лентами и даже винтовками. В узком ходе было тесно, и Жилин рассердился:

— На кой черт вы с винторезами таскаетесь?! — Подняв повыше свою винтовку, чтобы случайно не сбить прицела, Жилин добавил: — Нам, что ли, не верите?

Что ответили пулеметчики — никто не расслышал. Раздался как бы сдвоенный выстрел, дуплет — в земля-

ной насыпи-подушке дзота разорвался снаряд, и донесся звук выстрела: прямой наводкой ударила немецкая пушка.

И пулеметчики и снайперы повалились на кочковатый пол хода сообщения и поползли к траншее. Дуплеты продолжались. Запахло взрывчаткой и почти рабочей, привычной газосварщику Жилину, горечью сгоревшего металла.

Над нашей передовой взметнулась волна пулеметного огня — били по появившейся на прямой наводке немецкой пушке, и она, выпустив семь снарядов, смолкла.

Поднимаясь со дна хода сообщения, наводчик станка запылал ругаясь:

— Какого черта... какого черта... А вот вы какого черта в наш дзот влезли? Просили вас, да? Теперь, раз они засекли, покоя не будет. Возись теперь, строй говый, да.

Жилин припомнил, как переплетались его выстрелы с выстрелами Засядько, и подумал, что немецкий наблюдатель вполне мог принять эти выстрелы за короткие очереди. Тем более что на темном фоне амбразуры вспышки выстрелов просматривались, должно быть, хорошо. Выходило, что они и в самом деле навредили пулеметчикам, и потому ответил миролюбиво.

— Зачем новый строить? И этим обойдетесь. Он же целый. Почти...

— Хрен он целым будет! Семь штук, они и есть семь штук, да.

— Считал, выходит?

— А ты не считал?

Обычно молчаливый Засядько не выдержал и предложил:

— Пойдем, посмотрим. Может, все и не так страшно...

Все знали, что теперь пушка больше не ударит по дзоту, но двигались с опаской — здесь только что полыхала смерть, и ее запах словно висел в воздухе. Но тут сзади, в траншеях, стали рваться немецкие мины, и красноармейцы пошли быстрее — одна смерть оставила, а вторая может и прихватить.

Амбразура дзота была разворочена прямыми попаданиями — торчала щепка, еще сочилась земля. Но в дзот не залетел ни один снаряд, били сверху, под углом. Жилин сразу оценил обстановку и весело, чтобы скрыть свою виноватость, сказал:

— Ну-у... тут еще, обратно, жить можно. Хреново стреляют фрицы.

Глава двенадцатая

Из пяти человек отделение отобра-
ло двух — Кислова, за его суровую,
тщательно продуманную и рассчитанную ненависть к
противнику, и Алексея Кропта, белоруса из-под города
со странным названием Пропойск. И оттого что город
этот находился в Могилевской области, всем станови-
лось весело. Но судьба паренька вызывала несколько
недоуменное уважение.

Кропта еще не призывали в армию, когда отступаю-
щие войска появились в его деревеньке. Собственно, да-
же не войска, а недавно сформированный полевой гос-
питаль, и он, как многие, помогал медикам, чем мог.
А в ходе помощи влюбился во врача, которая была
старше его лет на семь.

— А я не за то, что она красивая, хоть и это было, а
за то, что умная и все умела. Ну — все, все...

За ней он пошел в отступление, похоронил ее после
бомбежки, воевал в окружении, прибавался к разным
частям, дрался, потом попал к партизанам. Раненным
его вывезли в наш тыл, поправился, стал минометчиком
и потом опять в пехоте пулеметчиком, бронебойщиком,
а недели три и связистом, теперь решил стать снайпе-
ром. Все военные профессии, с которыми он познако-
мился, он знал. И знал хорошо.

— Когда ж ты все успеваешь? — с уважением спросил
Жилин, которому сразу приглянулся этот высокий, ху-
дощавый, светло-русый парень с бледным, тонким ли-
цом и необыкновенно светлыми, ясными глазами. Взгляд
их был прям, открыт и доброжелателен. Жилин давно
заметил, что ни у кого он не встречал такого ясного и
чистого взгляда, как у белорусов.

— Так раз уж дело... значит, делай. — Во взгляде
Алексея мелькнуло что-то очень твердое, холодно-льди-
стое, упрямое.

И еще Алексей любил читать, может быть, поэтому
и говорил он лишь с легким белорусским акцентом —
твердым и тоже холодно-льдыстым — хорошим, почти
литературным русским языком.

— Я Пушкина любил и Есенина... — объяснил Алек-
сей, но наизусть читал Лермонтова. — Михаил Юрьевич
поближе... траншейней,

Поскольку обоих ребят как бы нашел Малков, а работать с ними приходилось только днем, когда Жилин бывал то на охоте, то действовал с пулеметчиками, заниматься с ними тоже стал Малков, которому и самому приходилось осваивать снайперскую винтовку. Но вечерами они собирались вместе. Кислов сразу же взял на себя хозяйственные заботы и не только таскал обеды-ужины, но и кашеварил сам — у него оказался явный дар доставалы. В землянке стало как-то уютно, домашне-пахуче и весело.

В жесткие декабрьские холода в теплую, домашнюю жизнь снайперов ввалились два заиндевевших бойца в полушубках и не с винтовками или автоматами, а с карабинами.

— Сержант Жилин здесь обитается? — спросил тот, что был повыше, и Костя сразу узнал обоих и, неожиданно радуясь до обмирания сердца, воскликнул:

— Рябов! Глазков! Как это вас... занесло?

— Дак читаем — все Жилина хвалят... — Рябов говорил правду — и в дивизионной и в армейской газете несколько раз писали о батальоне Басина, о творческой боевой активности его бойцов и командиров, упоминали и снайперов Жилина. Писали, в общем-то, правдиво, но такими умными и красивыми словами, что о замечках старались не вспоминать: мешала скромность. — Вот и решили найти и опыта поднабраться.

— Да ладно вам свистеть... Садитесь, грейтесь...

Костя суетился, понимая, что он снова оказался не на высоте: даже угостить гостей нечем. Нет в нем хозяйственной жилки... Нет — и все...

Гости рассаживались степенно, неторопливо отстегивая крючки полушубков и оглядываясь.

— Не богато живешь, станишник, — вроде бы в шутку укорил Рябов. — Не по-современному.

— А как... по-современному?

— Удобств нету. Саперы вон в хатах ошиваются, а мы, артиллеристы, делаем просто: вкопали клуни, а то и хаты, которые поменьше, прямо в землю — и порядок. Тепло, и мухи не кусают.

— Ну так то вы... Вы ж на войне вроде курортников. Пехота воюет, а вы со стороны, как в кино зырите. Все снаряды копите.

— Оно так... Так... Но вот — накопили. — Рябов сразу посуровел. — А просто так разбрасывать жаль. В дело хочется.

Разговор стал неулыбчивым.

Артиллеристы решили выкатывать пушки на прямую наводку, но так, чтобы не раскрывать и не нарушать систему противотанковой обороны: отстреляться с временной огневой позиции и откочевать на основную.

— А комбат наш считает, что нас перебьют. Вот мы и пришли... посоветоваться.

— А комбат?

— Так расчет же решил. Мы, сами... А комбат сказал: убедите, что вас не перебьют,— разрешу.

Снайперы расселись вокруг стола, только Кислов вошел в уголке, где у него постепенно образовалась каптерка отделения. Никого не удивило, что расчет сам решил не разбрасывать снаряды и рискнуть жизнью, а комбат требует доказательств, что они при этом успевают. И никто не отметил, что все это походило на распри в дружной семье, где дети уже подросли и стремятся сами начать самостоятельную жизнь, а родители их еще придерживают, все еще боятся, что они — маленькие...

— Ну и... чем же мы вам поможем?

— Ну, прежде всего, кого надо бить и, значит, откуда бить. Цель и район огневых. Второе: как сделать, чтобы самим не попасться.

— А полегче у вас вопросов нету?— спросил Костя.

— Ты не шутуй,— сердито рубанул воздух тяжелой рукой Рябов, и глаза у него стали острыми, злыми, а темное, дубленое лицо как бы треугольным: выперли желваки на скулах.— Мы ведь по делу.

Кислов бочком придвинулся к столу, положил фляжку, тарелку с салом и хлебом, поставил кружки.

— Угощайтесь,— деловито, будто на собрании предложил он и присел на край нар, как хорошая хозяйка, приветившая хоть и не слишком дорогих, но нужных мужу гостей.

Костя с благодарностью посмотрел на Кислова и, невольно попадая в заданный Кисловым тон, кивнул Малкову:

— Разлей.

Сказал так, что и Глазков и Рябов поняли: их разбитной, отчаянный в доме отдыха товарищ здесь, у себя дома, настоящий сержант, командир-единоначальник. И что в свой час он явился без доппайка, шло не от того, что этого самого доппайка не было, а потому, что Жилин не подумал, что он может понадобится. А вот

теперь понял, навел порядок — и все как часы. И то, что он не сам стал наливать, а поручил другому, тоже говорило о многом: водка Жилину ни к чему.

Он без нее обходится, но уважение оказывает как положено и, как положено командиру, доверяет своему заместителю. А то, что Малков его заместитель, Глазков и Рябов решили сразу — как-то уж очень независимо, с чувством собственного достоинства держался Малков.

Они выпили и разомлели не столько от водки — ее-то и было разве что грамм по пятьдесят, — сколько от усталости, сердечности, доверительности, какая бывает, когда сходятся настоящие хозяева — рабочие люди — потолковать об общих, рабочих же, делах.

Говорили порознь, не перебивая друг друга, слова обдумывали, и когда Кислов поставил битый и помятый, но до блеска отчищенный алюминиевый чайник и снайперы незаметно переглянулись: силен Кислов, где ж это он расстарался? — когда он выставил сахар да еще и поджаристые сухари к чаю, а сало так и не убрал, гости поняли, что в этой землянке живут настоящие бойцы. Не богатые, но разворотливые, хозяйственные, и верить им можно — не одному только Жилину, который, по всему было видно, и не касался всего этого, а всем, каждому бойцу. Тут по всему чувствовалось: каждый был самим собой и каждый старался для всех, для отделения, для дела — словом, они были такие, какими хотели быть ребята из рябовского расчета или из глазковского саперного отделения.

Может быть, впервые за все время войны, да и вообще службы в армии, Жилин со сладкой, до боли, остротой почувствовал дружный коллектив, его красоту и его внутреннюю силу. Так, должно быть, строгий, много работающий отец в светлые минуты своей жизни оглядывает свою подросшую и сдружившуюся большую семью и, поняв, что хоть каждый и чуть наособицу, все они — вместе, ощущает великую гордость за эту свою семью и щемящую радость от того, что все, что он делал, не пошло прахом. Наверное, это и есть величайшая радость, дарованная мужчине, и Жилин испытывал ее в тот час.

Маленький, молчаливо-улыбчивый Засядько, как младший сын в этой семье, дождался паузы и сказал вздрагивающим от волнения голосом:

— Я так понимаю, товарищ сержант, что пушку близко к передовой вытаскивать не следует...

— Это ж почему?— вежливо, но все-таки с нотками недовольства спросил Рябов: самый младший, почти сосунок, вдруг решает такие вопросы.

— А потому, что прямой наводкой можно стрелять и с шестисот и с трехсот метров. Верно?

Рябов подумал и кивнул: верно.

— И еще вот почему — немецкие дзоты стоят выше, чем наша оборона...

— Правильно!— сразу уловил его мысль Костя.— Снизу бить... или сверху — только амбразуру колупать. А нужно в дзот попасть и все там перекалечить. Я так тебя понял? Засядько?

— Так точно, товарищ сержант. И еще — немецкая пушка, когда по нас била, семь снарядов выпустила, и все... не очень точно. И вот я все думал — почему? А потому, что ее пришлось выкатывать и фрицы торопились. Им снарядов не жалко. А нам нужно такое место найти, чтобы пушку заранее, в темноте, вытащить и бить наверняка. И я такое место знаю.

— Это ж где?— опять не слишком довольнo спросил Рябов. Получалось, что снайперы не только думают за пушкарей, но даже пушку к себе приспособили. Ведь так и сказал: «а нам нужно».

— Вот там, товарищ сержант, откуда мы немецкую машину на шоссе подстрелили. Там — кустарник. Заранее сделаем бруствер, из лошины расчистим дорогу и затемно вытащим. А на зорьке ударим — и сразу вниз, в лошину.

— Кусты — ориентир...— покачал головой Рябов.— У них ориентиры пристреляны.

— У них тут все пристреляно,— уловив паузу, сердито вставил Малков.— Так что ж — не воевать?

Рябов посмотрел на Малкова с уважением: умеет человек утвердить себя, умеет найти момент...

— Разрешите мне, товарищ сержант,— вмешался Алексей.— В партизанах пушки на лыжи ставили. Вот если и они так же, то тащить будет значительно легче. А брустверы делали снежные и заливали водой. За ночь будут лучше бетона.

Кислов разлил чай, выжидательно поглядывая на Рябова и Жилина. Но они молчали, задумавшись каждый о своем. Жилин сказал:

— А прикрыть мы вас прикроем. От пулеметов. Но вот насчет минных или артналетов — тут не ручаемся.

142 Нужно подумать об укрытиях...

— Их тоже можно сделать из снега и залить водой. Ночью,— впервые заговорил Глазков так, словно все остальные вопросы были решены.

В разгар этой беседы, когда обсуждались и возможные цели и системы прикрытий, зашуршала плащ-палатка, которой была прикрыта дверь землянки, и в сумрак вошла Мария. Здесь, в землянке, она показалась такой высокой, что Костя ее не узнал. Она улыбнулась и со словно бы сдерживаемым смешком сказала:

— Гостей принимаете?

И этот смешок, и слишком высоко, певуче звучащий голос, и ее одежда — перепоясанная шинель и чуть небекрень надетая ушанка вместо стеганки и платка — тоже помешали Жилину узнать ее, но сердце у него обмерло — это был ее и не ее голос, и все, что он гнал ночами, все, чему не верил и не мог верить, вдруг оказалось возможным наяву, но таким, чему все-таки нельзя было верить.

Остальные ребята тоже примолкли — женского голоса они не слышали давно и представить, что в их батальоне появилась еще одна женщина и вот зашла к ним, да еще в гости, не смогли и потому выжидающе примолкли.

Смущенно улыбаясь, Мария отчаянно смело шагнула к столу и, положив руку на одно Костино плечо, а на другое навалившись грудью, положила узелок и все тем же певуче-звонким голосом, все с тем же, словно сдерживаемым, смешком сказала:

— Здравствуй, Костя. Вот и свиделись...

Она уверенно, по-домашнему привычно присела.

Вот только теперь, ощутив ее руку, ее бедро, близко увидев ее большие темно-серые смеющиеся и тревожные глаза, Костя понял, что это — Мария. Горло у него перехватило, во рту пересохло, и он, оцепенелый от радости и от неизвестно почему и откуда пришедшего страха, просипел:

— Здравствуй, Мария. Надолго ли?

— Да вроде насовсем. — Перехватив не удивленные — удивились ребята чуть раньше, — а уже ошеломленные взгляды бойцов, уточнила: — Вот — прислали служить. Говорят, вы тут без баб ничего толком и сотворить не можете...

Ребята натужно посмеялись.

Потом вспоминали дом отдыха, осторожно шутили, но второй раз чай уже не пили — гости стали собираться.

У порога Рябов сказал громко:

— Спасибо, ребята. Доложим своему начальству.—
А пожимая руку Жилину, шепнул:— Выходит, серьезно...
Ай-ай, казачок... Гляди да поглядывай.

Снайперы переглядывались, еще не зная, как себя вести, но Мария опять решила по-своему: она поднялась, надела ушанку и подтянула ремень на шинели, а потом, сказав: «Проводи меня, Костя», стала за руку прощаться со снайперами. У двери осведомилась:

— Если в гости зайду — не прогоните?

Ребята пошумели, посмеялись, обещая не прогонять.

Небо было ясным, звездным, и потому ракеты над передовой казались особенно ненужными. Пулеметный перестук, уханье орудий и разрывы мин приблизились, стали четкими, злыми. Снега лежали хрупкие, свет на них дробился и переливался. Мороз щипал вкрадчиво и как-то вкруговую — и снизу и сверху.

— Ты где ж устроилась? — спросил Костя, так и не пришедший в себя не то от радости, не то от свалившейся на него сладкой заботы и страха перед этой заботой.

— У фельдшерицы.

Батальонная медицина стояла позади, в уютной лощинке — по ней незаметно для противника можно было выехать далеко в тыл. Там же располагались и ездвые из хозвзвода, там хранили свои запасы связисты и саперы. От кухни и от землянки снайперов это было метров пятьсот — шестьсот.

Костя сразу прикинул — место хорошее: снаряды туда не падают, а мины залетают редко. Да и народ там собрался пожилой, спокойный. И он, думая, как же теперь жить, повернул на нужную тропку. Мария шла сзади. Скрипел снег, откуда-то слышался смех. Неподалеку грохнула мина, и снег на мгновение высветился миллионами звериных, жестких зрачков. Костя оглянулся. Мария стояла, закрыв лицо руками.

— Ты чего? — бросился он к ней. — Испугалась? Это ж далеко...

— Я не сейчас, Костя, не сейчас... Я в землянке... в твоей боялась... Господи, как же я боялась... Вот, аж теперь трясусь.

Он обнял ее и почувствовал, как ее бьет озноб. Это не вязалось со всем, что он видел, — она же вошла смелой, может, даже чересчур смелой хозяйкой и вела себя как хозяйка, а — боялась. Не понимая ее, Костя перестал гладить по плечам и посмотрел в глаза. В них и

в струйках на щеках вспыхивали огоньки далеких ракет, и Костя, все еще не веря ее словам, испугался: она плачет. По-настоящему плачет. Он растерянно потоптался, и Мария, потупив вдруг просиявший взгляд, с упреком сказала:

— Хотя бы поцеловал, что ли... Ай не рад?— вдруг быстро осведомилась она, и взгляд у нее сразу стал острым, злым.

Он весело и благодарно усмехнулся и обнял ее. И чем дольше целовал, языком ощущая ее сладкие твердые зубы, тем глубже и шумнее дышал. Впрочем, она тоже, изогнувшись и прижавшись бедром к его коленке, дышала часто и шумно.

Глава тринадцатая До поры все складывалось как в сказке. Скромная по фронтовым понятиям фельдшерица давно любила с командиром противотанковой батареи старшим лейтенантом Зобовым, и Мария быстро нашла с ней общий язык.

Косте оказалось труднее. Он стыдился выпавшего ему счастья, боялся за Марию и немножко за себя. Там, на отдыхе, вне привычной жизни, он мог смириться с простынными стенами, но здесь, на передовой, как бы в своем доме, стена из плащ-палатки между топчанами Марии и фельдшерицы его обижала — их жизнь и любовь становилась стыдной, недоброй.

Днем Костя пропадал на передовой, вечером проводил разборы, занимался теорией и читал газеты: как-то вдруг хорошо стала работать полевая почта, и газет приходило много, и все — вовремя. Читались они с приятностью — наши войска все продвигались и продвигались, а под Сталинградом противник сидел в плотном колечке. Вечером, когда ребята начинали похрапывать, он сбегал к Марии.

Как бы он ни маскировался, все отделение знало о его походах, и все молчали. Даже друг перед другом. Мужчины, почти мальчишки, они признавали Костино право любить — слишком она была необычна, эта любовь, слишком уж она рвала привычные основы.

Наверное, потому и Марии было легко. Конечно, на кухне к ней липли, конечно, с ней шутили, иногда чересчур смело, но она умела отшучиваться, умела весело отбиваться, и потому, что никого конкретного возле нее вроде бы не замечалось, приставания и намеки сникали — она становилась своим человеком.

Старший повар быстро понял, что Мария явно не нравится Басину, прикинул, что она появилась здесь неслучайно, и, попробовав подкатиться к ней, но получив отпор, решил услужить начальству: стал посылать Марию к Басину с обедом и ужином — постоянного связного комбат так и не подобрал. А чтобы услуга не выглядела явным подхалимажем, повар посылал Марию и к Кривоножке. И она носила им еду в котелке на официальную пробу и сковородки с картошкой или оладьями — все, что умел выкроить повар из стандартного пайка для поддержания сил начальства, шутила с обоими, но когда ее приглашали присесть — отказывалась. Инстинктивно, без расчета, она стала красноармейцем и встала под надежную защиту устава: в присутствии старших по званию не садилась, сама на разговор не набивалась, но на вопросы отвечала быстро, бойко и весело.

Комбат и замполит не могли переступить черты субординации, но оба слегка ревновали друг друга к Марии. Однако Кривоножка быстро понял, что, во-первых, он как политработник просто не имеет права ставить под сомнение свой партийный авторитет: тут пахло аморалкой, а во-вторых, в сравнении с Басиным он явно проигрывал как мужчина. И он отступил, хотя, засыпая, частенько думал о Марии и ворочался со спины на живот. Но в такие сладко-мучительные минуты он оказывался на высоте: заставлял себя вспоминать о своих былых победах. А потому что их было немного, в основном в институте, то думал о жене. И очень уважал себя за это.

Басину было труднее... Он жалел жену. Любил, может быть, сильнее сына, которого чаще всего видел спящим, и дочь, которую он почти и не видел: она родилась незадолго до его ухода на фронт, но жену жалел и даже уважал и гордился ею.

Она отлично ужилась с его матерью, и сейчас обе женщины работали в том же самом цехе, над которым он когда-то начальствовал. И работали хорошо — об этом писали сослуживцы. И с детьми управлялись — устроились в разные смены, и огород развели... А ведь он помнил их, как ему казалось, слабых и неприспособленных к суровой предвоенной жизни — мать, учительницу, и счетовода — жену. А вот пришло лихое время, и оказались они, может быть, даже более приспособленными к этому времени и, возможно, стали более уверен-

ными в справедливости всего свершаемого, чем сам Басин. Во всяком случае, когда он пару раз вырывался с курсов домой, на Малую Тульскую, они ему казались именно такими. Они свято верили и газетам и радио и, видимо, были правы...

Все это он помнил, все это укрепляло его, но вопреки этому, главному, наперекор его натуре, прямой и сильной, жило, крепло и, что самое страшное, становилось непобедимым еще и другое, темно-прекрасное, но в чем-то стыдное влечение к Марии. Он старался побороть его, но чем больше и дольше старался, тем сильнее, жестче оно становилось. И он злился на себя, сам того не замечая, как переносил и эту злость, и напряженную нервозность на окружающих.

Когда к нему зашел командир противотанковой батареи старший лейтенант Зобов и рассказал о предложении Рябова, сославшись на басинских снайперов, Басин рассердился и вызвал Жилина. Артиллерист осторожно пожаловался:

— Хуже нет, когда подчиненные начинают умничать...

— В каком смысле? — нахмурился Басин.

— Ну вот хотя бы в данном. Есть приказ командования держать противотанковую оборону по принципу — ни шагу назад. А тут такое предложение. Зачем? Ну, разобьют они пулемет... в лучшем случае. А если сами попадут? Батарея ослабится, главный приказ будет поставлен под удар. Но с другой стороны...

В эти дни Басин осмысливал происходящее с некоторым опозданием — мешало то темное, что сидело в нем и крепло, — так и сейчас он сразу не понял заботы артиллериста. А когда понял, то рассердился, но опять-таки с некоторым опозданием, и, что самое неприятное, показал эту свою злость: он словно разучился сдерживаться.

— Все правильно, — сказал он с издевкой. — Вы будете портянки сушить, а нас тот самый пулемет выбивать. Разумно...

— Какой пулемет?

Басин взглянул на него с недоумением. Командир батареи сидел чуть согбенно, его широкое доброе лицо казалось расплывчато-приятным, густые темно-русые волосы лежали спутанной копной, и все в нем было густо, крепко и в то же время мягко-расплывчато...

«За что его любит эта... фельдшерница?» — подумал Басин и вдруг представил себе, как он будет делить с

этим человеком тесную землянку и, значит, волей-неволей будет дружить с ним. Нет, это невозможно... Слишком они разные.

Но оттого, что он опять поймал себя на таких мыслях о Марии, капитан рассердился еще сильнее и сказал почти зло:

— Какой-какой... Тот, что твои ребята собираются разбить.

Замечая, что старший лейтенант все еще не понимает, о каком пулемете идет речь, подумал: «И как таких тунаков посылают в противотанкисты? Там же секунды все решают». Но вспомнились бои, и он уже примиряюще решил: «А может, и верно: такие как раз и дожидаются своей секунды и уж стоят насмерть. Противник в то время тоже все на секунды мерит: танки...» Басин грустно вздохнул: «Наверное, таких и любят женщины — тугодумов, но верных, таких, за которыми и поухаживать приятно,— ничто даром не пропадет. Все запомнит».

И опять эти мысли больно ударили по нервам, но раздражение улеглось — Басин решил, что любить нужно именно таких, спокойных, домашних. А он — вечно кипящий и вечно сдерживающийся. Понимая, что пауза затянулась, он миролюбиво закончил:

— Время другое пришло, товарищ старший лейтенант. Нужно фрица всеми средствами щекотать. А то мы слишком уж в глухую оборону ушли.

Старший лейтенант Зобов привычно согласился — он, видимо, привык и любил слушаться: спокойней жить. Басин знал таких людей и взглянул в его широкое приятное лицо. Может быть, соглашается, а в душе все решает по-своему.

— Меня смущают артналеты... Вернее, минометы,— сказал Зобов.

— От этого никто не застрахован. Риск есть риск. Но если вы мне разобьете хоть один пулемет — поклонюсь до земли. Батальон, как сам знаешь, растянут. Бегаю, как соленный заяц.

— Это верно. Верно... Растянули нас, очень растянули... — Артиллерист огляделся, словно прикидывая — не подслушивает ли кто, и заговорщицки сообщил: — Но я тебе скажу — под Мещовском стоят наши танки. Говорят, к ним монголы в гости приезжали. А дальше, к Моссальску, — целая дивизия... И так вообще... Может... А?..

О резервной дивизии Басин кое-что знал, но танки в резерве? Это было настоящей новостью. То подспудное, заповедное, что жило в эти дни, вероятно, в каждом командире, отступило еще на шаг: возможно, и растяжка батальона не так уж неразумна. Командование тоже умеет думать и рассчитывать и в случае нужды без поддержки не оставит. Словно проверяя себя, Басин чуть насмешливо спросил:

— Снарядов много накопил? А то, может, и есть-то всего ящик...

Артиллерист тихонько усмехнулся:

— Снаряды есть... Ну, словом, летом еще, когда соседи на Зайцеву гору лезли, я своим приказал подобрать все, что они побросали... Ну, кое-что поменял, кое-что заначил... Так что не жалуемся.

«Вот-вот,— подумал Басин.— Такие — хозяйственные. У них всегда и запас есть и заначка. И хозяйство, должно быть, в порядке, и связной...— И мысль, главная в эти дни темная мысль опять вывернулась и заслонила все остальное:— Вот таких — хозяйственных, мягких — и любят бабы».

Он погрустнел, так и не вспомнив примера своей жены, не подумав, что, может быть, старший лейтенант потому и ходит к фельдшерице, что у нее, кроме всего прочего, всегда есть спирт и добавочные продукты: медицинский контроль над кухней и всем хозяйством тоже кое-чего стоит...

Почему-то всегда бывает так — даже умные и сильные мужчины судят о женщинах по тем рассказам, на которые горазды отвергнутые и обманутые мужики... И, уж конечно, не подумал о том, что артиллерист и фельдшерица просто любят друг друга. Наверное, потому не подумал, что сознавал: это не любовь, это что-то иное. Рядом, близко — но иное...

— Это хорошо... Хорошо...— задумался Басин, понимая, что в нем зреет какое-то несвойственное ему решение.— Значит, постреляем вволю.

Как бы Костя ни уважал комбата, любой его вызов — всегда неожиданность и, значит, преддверие возможной опасности. Потому Костя никогда не снисходил до радостных улыбок или каких-либо иных выражений своей приязни. Наоборот, он становился суровым и собранным, рапортовал о прибытии суховато, сдержанно, но руку к ушанке вскидывал лихо, стремительно и так же опускал ее.

Басину нравилась эта Костина манера — настоящий сержант, военный человек, но в этот раз что-то в Косте его смутило — настороженность во взгляде, что ли, не та лихость в приветствии. И это определило тон комбата. Он показался Косте недовольным, чуть сварливым, хотя Басин хотел придать ему задушевность.

— Что это вы, сержант, за заговоры с артиллерией устраиваете? А они вот опять на вас жалуются.

Жилин не ожидал такого поворота — разговор с Глазковым и Рябовым уже успел подзабыться: дел на передовой всегда много. Да и тон Басина настораживал.

— Насчет заговоров, товарищ капитан, ничего не знаю, а советовать артиллеристам советовали.

— Ну и что ж вы советовали?

Пока Костя пересказывал, артиллерист смотрел на него недоверчиво, словно сверяя с ним что-то свое, очень важное, а Басин думал, что не так он начал разговор. Надо было похвалить снайперов за то, что умеют думать не только за себя, и потому, когда Костя кончил пересказ, капитан вздохнул и сказал:

— Ладно, сержант, садись. В ногах правды нет. Значит, прикроете наших доблестных противотанкистов и цели укажете?

— Мы-то прикроем и цели укажем, — ответил Костя, устраиваясь на лавке. — Но если все это всерьез, так и с минометчиками бы договориться. Уж слишком большую волю они фрицам дают.

Басин испытующе всмотрелся в Костю и подумал: «Взрослеет парень. Матереет. И думает, как готовый командир». А вслух сказал:

— Это можно. Это — правильно. — И опять испытующе взглянул на Костю, решая: добиваться, чтоб его послали на курсы младших лейтенантов, или придержать — дельный запасной командир и самому пригодится.

Но Костя, перехватив эти взгляды, подумал о своем, — наверное, комбату уже кто-то капнул насчет Марии. И комбат готовится принять нужные меры. И, как назло, Басин спросил:

— В остальном — порядок?

— Порядок, товарищ капитан. Против девятой вроде опять снайпер появился. Завтра с утречка, обратно, его пощупаем,

— Хорошо... Раз вопросов нет — можешь быть свободным.

Жилин ушел с нехорошим чувством надвигающейся опасности. Не для себя. Для Марии. Он ждал этой опасности, потому что не может же все идти как в сказке, и то, что она, ожидаемая, кажется, пришла, только подстегнуло Костю, заставило быть предельно осторожным.

Артиллерист проводил Костю настороженным взглядом и, хитренько усмехнувшись, спросил:

— Слушай, капитан, если по-честному... Извини меня, конечно. Мы вот все читаем о твоей боевой активности. То, понимаешь, снайперы, то — пулеметчики... Это ж как? И на самом деле или... может, корреспонденты прибавляют?

Басин на мгновение задохнулся, захотелось заорать, выгнать Зобова, но потом, как разрядка, пришло смешливое настроение. Он позволил себе улыбнуться.

— А ты перестань по моим тылам ночами шастать, а сам попробуй, тогда и поверишь. Понял?

Старший лейтенант Зобов понял намек и, не подчиненный комбату, а только располагающийся в полосе его батальона, поддерживающий этот батальон, готов был постоять за себя и за свою недозволенную и осуждаемую всеми любовь.

— Свято место, капитан, пусто не бывает. Понял? Ну... я пошел. Попробую.

Он хитренько, всезнающе улыбнулся и вышел, а Басин долго разбирался в себе.

Черт знает что такое — распустился. Перестал владеть собой. Зачем обидел человека? И он уж совсем было отрезал себя от Марии — силы воли у него бы на это хватило, — но вспомнил хитренькую ухмылку Зобова и понял ее по-своему: у Марии тоже кто-то бывает. И это его ожгло. То темное, что народилось в нем, потеряло все хорошее, с чем оно сопрягалось, и потемнело еще сильнее. Только исподволь бродившее в нем решение созрело. Он сердито сплюнул и, словно оправдываясь, сказал:

— А-а... Все они такие.

Глава четырнадцатая Старший лейтенант Зобов не спешил соглашаться со своими подчиненными. Легко, словно перекатываясь, в новеньких, еще негнувшихся валенках и кремовом полушубке с осле-

пительно белым воротником, то и дело сбивая ушанку то на затылок, то на глаза, он обходил всю оборону батальона, выискивая нужные огневые. В ходе этой рекогносцировки он и наткнулся на Жилина и Засядько, которые терпеливо лежали в кустарнике, выслеживая вражеского снайпера.

— А-а... Снайперята, бойкие ребята,— рассмеялся Зобов.— Либо дождик, либо снег, либо стрелим, либо нет. И давно выслеживаете?

Он стоял в рост, а сзади, присев на колено, чернел его связной из артрзведчиков — в шинели, надетой поверх стеганки, в ватных брюках и валенках. Он казался толстым и неповоротливым. Костя чуть не взвыл от обиды; только устроились, замаскировались, а тут эти... со своими байками.

— Вы бы присели, товарищ старший лейтенант... Снайперы шалить не любят.

— Где тот снайпер, где передовая?— засмеялся Зобов.— Будет он сюда стрелять.— Он вздохнул, передвинул шапку на затылок и спросил:— Твоя фамилия, помнится, Жилин?

— Жилин,— проклиная все на свете и опасаясь за жизнь Зобова, ответил Костя.— А что?

— Да вот думаю — одной стежкой бегаем, а никак не познакомимся.

Костя аж побелел от злости и от страха за Марию.

— Шли бы вы, товарищ старший лейтенант, от греха подальше,— процедил он.— А то я, обратно, за вас не ручаюсь.

— А ты что, раньше ручался?— уже недобро усмехнулся Зобов и не спеша пошел к следующей куртинке полузанесенных снегом кустарников.

Когда он отошел, Костя перевел дух и выругался. Что за привычка у людей не держать язык за зубами! Засядько сказал:

— Средний командир ведь... Должен понимать, что позицию размаскировал... Может, сменим?

— Нет. Они прошли,— значит, и снайпер и наблюдатели могут подумать, что тут ничего нет,— отрезал Костя.

Он лежал и думал о Марии. Скрывать свои отношения долго они не смогут. На передовой хуже, чем в деревне — все все знают, не спрячешься. Как тогда? Что о ней скажут? Что скажут мужики о нем, Костя представлял: похвалят. Не растерялся парень. А ей какво?

И вдруг пришла странная мысль: а может, Мария нарочно напросилась в их батальон? Сладкая волна обожгла его, и на глазах навернулись слезы благодарности. Он не спрашивал, как она очутилась в батальоне, а она не говорила. Надо все выяснить. Все! Потому что дело завязалось всерьез. Тут уж не просто так, шуточки... Выходит — любит, собой рискует...

Костя задумался и вздрогнул, когда правее, там, куда шел Зобов, раздался вскрик раненого. Костя сразу понял, что ранен связной Зобова — он хорошо виден на снегу, — а уж потом понял, что не слышал выстрела: задумался. Что стрелял снайпер, которого они стерегли, Костя не сомневался. Он понимал, что следить сейчас за позициями противника бесполезно, — снайпер наверняка скрылся в укрытии. И он с надеждой посмотрел на Засядько. Но тот приник к оптическому прицелу и молчал — значит, тоже не заметил.

Ну, ладно. Засядько только привыкает к настоящей снайперке, а он... Опытный человек, командир — и позволил, чтобы почти рядом с ним ранили бойца. Пахло позором еще похлеще, чем тот позор, который случится, если откроются их отношения с Марией. И тут он выругался, потому что понял — он все время думает о ней и все сводит к ней.

— Откуда стрелял? — отрывисто спросил он у Засядько.

— Вы ж слышали... Вроде из дзота — звук слабый.

Хоть маленькое, но оправдание — слабый звук. Мог и не заметить.

— А вспышки выстрела не видел?

— Нет, не заметил.

Левее, там, где лежали в засаде Джунус и Кислов, раздался выстрел, и к бугорку протянулась трасса. Она погасла в снегу, а может, в амбразуре. Сейчас же раздалось два выстрела: теперь стреляли оба. Потом еще левее тоже прогремели два выстрела — били Малков и Алексей Кропт.

Жилин все понял: Жалсанов ждал, что первым выстрелит Костя, — снайпер бил в его секторе. Но командир промолчал, и Жалсанов решил правильно: командир не заметил врага, и выстрелил сам хотя бы для того, чтобы нагнать страха, дать знать фрицу, что он под наблюдением, пусть стережется. Малков тоже поступил правильно: ударила одна пара, ее следовало поддержать огнем, чтобы рассредоточить внимание противника. Все

действовали правильно, грамотно. как договаривались. Один только командир оплошал, потому что думал. Думал о Марии. Впервые так нежно и так благодарно, и впервые из-за нее пролилась чужая кровь.

Нет, это было не так — кровь пролилась не из-за нее. Из-за нее не удалось отомстить за эту кровь. Да и не обязательно сразу — фриц тоже человек умный, обученный. Можно было найти и многие другие объяснения, но Жилин ощущал свою вину: мог — и не сделал. Состояние было почти такое же, как в тот день, когда был убит комбат Лысов: никто не знал, как сложится бой, но Костя чувствовал — если бы он был рядом с комбатом, тот, может быть, остался жить. Он тяжело вздохнул и ответил на молчаливый вопрос Засядько:

— Не стреляй. Зачем открывать огневую? Сейчас мы уже его не достанем.

В сумерках они последними вернулись в тыл. Рабочий по кухне лениво колот сырые дрова, повар ругался с ездовым, который привез не полную бочку воды. Из кухонной землянки слышался смех Марии. Сердце екнуло, и Костя заглянул в землянку. Мария что-то крошила на доске, а на плите, в сковородке, жарилась заправка для вечернего супа. У плиты сидел Кислов и говорил что-то смешное. Лицо у него, освещенное огнем из подтопка, было лукавым. Он увидел Жилина, поднялся, чтобы встретить командира, но Костя опустил плащ-палатку и прикрыл дверь.

Теперь сердце не екало. Оно колотилось гулко, ощутимо. Во рту появилась горечь.

А что, собственно, знал Костя о Марии? Она была в оккупации. Она видела и знала немцев. Как она вела себя с ними, если может вот так спокойно и весело хохотать с Кисловым, которого и знает-то... Впрочем, и его она знала...

И тут Костя, к своей чести, рассмеялся — горько, но рассмеялся: надо же, до такой чуши можно додуматься. Кислов в отделении стал вроде старшины. Значит, он и должен отираться возле Марии — все-таки «блат» на кухне. И ей удобней подбрасывать снайперам дополнительные блага. И все-таки... Все-таки на душе было неспокойно, и Костя решил выяснить все. Что «все», он еще представлял слабо.

В уже протопленной землянке сидел один Джунус. Он курил у печи, и волны дыма, вылаиваясь, легко и красиво вplывали в скупо освещенное поддувало. Его

темное, не столько скуластое, сколько круглое, с прямым тонким носом, лицо с острыми, косого разреза темными глазами было бесстрастно. Он не взглянул на Костю, затаился и, не изменив ни позы, ни выражения лица, жестко, отрывисто сказал:

— На войне одно думать надо.

Он наверняка хотел сказать несколько иное и, наверное, долго примерял к русскому языку то, что хотел сказать, и вот получилась эта фраза. Костя понял его: иначе Джунус сказать не мог — он предупреждал командира, предупреждал товарища. Казах Джунус знал суровые законы войны, знал, что нарушать их не имеет права никто и никогда. Костя вышел из казачьего рода и тоже знал эти законы, и он чувствовал, что уже нарушил их. Не по своему почину, но нарушил. И сегодня пролилась первая кровь. Она осталась неотмщенной. Джунус, умный, бесстрашный, молчаливый Джунус понял, что произошло на огневой и почему.

— Ты прав,— устало сказал Костя,— обратно, прав...

Он сел рядом, бросил в топку полено и стал сворачивать сигарку. В поддувало падали угольки, на мгновение освещая их покойные, темные лица — совсем непохожие и очень одинаковые лица степняков из рода воинов.

Пожалуй, на всем белом свете не было сейчас более близких и нужных друг другу людей, чем эти двое, чужих этой глинистой, промерзшей земле, этим занесенным снегом перелескам, скованным морозом болотам, но опять-таки не только разумом, но и опытом предков понимающих, что именно здесь они на месте, необходимы и что, самое важное, все это, не так давно чужое, теперь тоже свое, родное и таким останется во веки веков. И как они впитали в себя память степных предков, так впитанное ими здесь, на этой подмосковной, калужской или смоленской земле, они передадут своим потомкам...

— Плохо дело, комсомольцы-москвичи,— усмехнулся Костя.— Что ж будем делать?

Джунус не ответил. Он считал, что сказанные Костей слова — пустые слова. Мужчина, воин должен уметь решать все сам. Только сам. А товарищ, друг должен помочь. И Джунус ждал решения. Оно пришло. Костя уже мог принимать такие решения — горячка любви остывала, и помощь Джунуса не требовалась. Просто Костя не пошел к Марии.

Во время разбора неудачного дня словно раздвоившийся в душе Жилин нашел в себе силы разобраться в характере противника. Скорее всего, он был молодой и неопытный. Наблюдал плохо: когда Зобов со связным стоял у кустарников, снайпер мог и должен был их видеть, но не стрелял — чего-то опасался. Чего? Вполне вероятно, принял их за чучела. А когда старший лейтенант прошел дальше — выстрелил по связному. Почему? Да потому что он был в темном, хорошо выделялся на снежном фоне. Опытный же снайпер прежде всего стрелял бы по Зобову в белом, несколько сливающимся с фоном полушубке. Снайпер должен был знать, что впереди всегда идет командир, а за ним — связной или охрана. Даже только ранив командира, стрелку легче было бы разделаться со вторым — связным: этот хорошо виден и деваться ему было бы некуда.

Вот так, разбирая событие дня, в отделении решили, что со старого места снайпер стрелять не будет. Его вспугнули. Куда он перейдет? Скорее всего, в полосу девятой роты — там на фланге батальона наши снайперы охотились не часто, и, следовательно, там много «непуганых» фрицев. К ним под крылышко и перейдет немецкий стрелок.

Так оно и случилось. Немец действительно перешел поближе к флангу, но выстрелил по чучелу не из дзота, а из кустарника, возле которого проходила траншея. Костя немедленно всадил туда две пули, Засядько добавил. Но все три пули явно срикошетировали, обив иней на кустарнике. Мало того, немец успел сделать выстрел, и пуля прошла как раз между Костей и Засядько. Оба, смущенные, не стали испытывать судьбу и немедленно сменили позицию. Костя оставил на новом месте Засядько, а сам помчался к командиру роты, который еще только собирался ложиться спать.

— Товарищ старший лейтенант, — взмолился Костя, — свяжитесь с минометчиками, пусть ударят по снайперу!

— Сам уже не справляешься? — спросил сердитый Мкрытчан.

— Поймите, он явно прикрывается бронешитком — пули рикошетируют.

— Какой может быть щиток? Да еще броне? Снайпер как танк?

— Вроде танка, товарищ старший лейтенант. А если минометчики...

— Хватит,— выпучил глаза Мкрытчян.— Мины на лимите. Зачем швыряться?

«Черт упрямый!»— про себя выругался Костя и почтительно попросил:

— Разрешите позвонить минометчикам?

— Звони,— недоверчиво разрешил командир девятой роты.

Прислушивавшийся к их разговору телефонист в душе сразу встал на сторону Кости и отчаянно закрутил ручку телефона.

— Товарищи!— без предисловий взмолился Костя.— Снайпер за бронешитком прячется. Помогите выкурить. Это Жилин говорит! Сержант Жилин.

Там, на наблюдательном пункте минометчиков, его поняли сразу и сразу же приняли решение:

— Укажи цель! Поможем.

Они договорились о целеуказаниях, и Костя помчался к снайперам. Возле Засядько уже торчал Малков, курил и вяло, назидательно ругался.

Костя быстро объяснил, в чем дело, и приказал:

— Стреляйте и под снег. Пулю поверху, пулю под снег.

Он давно заметил, что когда бежишь по траншее, то заснеженные брустверы кажутся выше, и невольно сгибаешься, чтобы каска не показывалась над снегом. А пуля пробьет такой снег запросто...

— Как это — под снег?— недовольно спросил Малков.

Пришлось объяснять, а это сбивало боевой настрой. Малков ушел, а Костя с Засядько разошлись по траншее и через амбразуры в снегу трассирующими пулями показали цель минометчикам, а заодно и предупредили немца: держись. Охота не окончена.

Далеко позади раздался слабый хлопок выстрела, и в небе заныла первая мина. Она разорвалась метрах в двадцати от позиции снайпера, и Костя опять выстрелил трассирующей пулей. Теперь минометчики дали залп батареей. Четыре мины вспухли в кустарнике одним дымным облаком, и кустарник сразу потемнел, приобрел предвесеннюю лиловатость.

Костя рассчитал правильно. Аккуратный, хозяйственный немец не мог позволить себе оставить бронешиток. Он снял его, но пригнуться как следует не успел —

подвела привычка пригибаться в траншею до линии снега...

Однако минометчики еще не знали, что снайпер был уже обезврежен, и выдали второй залп, который лег чуть правее. И тут случилось почти чудо. Из пустынных кустарников выбежали три немца и помчались прямо поверху к ходу сообщения. Снайперы поняли их маневр и стали стрелять не сразу, а чуть подождали, пока выдохнется их порыв в сугробах. От шести снайперов трем, бегущим по снежной целине, уйти невозможно...

Минометчики теперь уже работали на себя — в кустарнике оказался НП противника, который никто и никогда не засекал.

Вечером Жилин доложил об общей удаче снайперов и минометчиков. Басин довольно кивал головой, а вызванный командир минометчиков, молоденький лейтенант, сиял от удовольствия и сразу предложил:

— Товарищ капитан, вы прикажите снайперам взаимодействовать с нами. Ведь иной раз столько фрицев из-под наших мин выскакивает! А снайперы бы их добивали.

Басин смотрел в возбужденное юношеское лицо, представлял, как хочется лейтенанту рассказывать об удаче всем и каждому, и потому отрицательно покачал головой:

— Приказывать не буду. Работа у снайперов творческая, они сведены в отдельное подразделение, так что вам, лейтенант, придется договариваться лично с Жилиным. А я — не возражаю. Все ясно?

Лейтенанту все было ясно, и он собрался решать какие-то свои вопросы, но Басин резко повернулся к Жилину:

— Что у тебя с артиллеристами?

Лейтенант понял, что поговорить ему не придется, и отковырял. Жилин проводил его взглядом и доложил, как ранили связного Зобова. Басин вспомнил слова Зобова о святом месте и недобро усмехнулся: бог войны называется... на пехоту свысока поглядываешь, подначиваешь, а сам о простейших вещах не думаешь.

— Напугали вы его, — сказал он Жилину и вдруг резко спросил: — Кто, в случае чего, тебя заменит? Ты об этом думал?

Жилин насупил, исподлобья взглянув на комбата. Тот засмеялся:

— Учиться тебе нужно, Жилин, вот в чем дело. Я ж тебе обещал — сделаю из тебя человека.

— Учиться я погожу, — усмехнулся Костя, поерзав. — Нужно войну сломать.

— Нет, мой дорогой, война эта — надолго. И командиров для нее, особенно обстрелянных, потребуется много. Так что думай... кого на свое место готовить. — Басин неожиданно вздохнул. — Пока я живой и на батальоне.

Вечером, после обеда, Жилин долго лежал на нарах, слушая беззлобную перебранку Кислова и Малкова: очередь идти за дровами была Малкова, а он, до отращения не любящий заниматься хозяйственными делами, возражал:

— Взятся за хозяйство — вот и вежи. А то видал, как оборачиваешь: хочу делаю, а хочу — нет. Порядок должен быть.

— Вот ты по порядку и действуй — твоя очередь, ты и чеши. А я что взял, то и отдать могу.

— Как же — отдашь... Ты от кухни не отлепишься. Прикипел.

Отделение дружно засмеялось — у него, отделения, появились тайны от командира. Костя сразу понял это по их хитрым, словно бы ненароком обращенным на него взглядам. Ну и что? Почему не посмеяться над товарищем, если даже этот товарищ стал командиром? Но тут взорвался Кислов:

— Ты чего болтаешь? За это знаешь что бывает?

Это был уже не беззлобный треп-перебранка. Это прорезался гнев. И Костя сразу вспомнил грудной смех Марии в кухонной землянке, тревожный и, как теперь показалось Косте, виноватый взгляд Кислова.

Он не пошевелился, не двинул рукой. Он просто понял, что — смешон. Измена не так страшна, как сопутствующий ей смех окружающих. А Костя никогда еще не был смешон.

Он долго не мог совладать с собой, переходя от душасей ярости до безвольного убеждения, что смеялись не над ним и не из-за Марии. Но все это не помогало. Костя уже ревновал и ничего с собой поделать не мог. Он встал и молча ушел.

Все вокруг было привычно и домашне — и гул голов, и всплески смеха у кухни, которая кончала раздачу обеда-ужина, и чьи-то слаженные тенор и баритон, задушевно поющие про печурку в землянке, и обычно

венный перестук пулеметов, и словно простуженные лающие винтовочные выстрелы. Костя подумал: к оттепели, винтовки вдалеке осипли.

Мороз как будто ослабел, но стал влажным, въедливым, в нем не было крепости, бодрости. Вздрагивая от этого противного, словно мокрого, холода, Костя походил по безопасным, скрытым за скатами тропкам и уже почти спокойно подумал:

«А почему я ее ревную? Мы ведь оба свободные. Как каждый решит, так и получится.— Но эта мысль не успокоила его. Нет, они уже не были свободные, они уже связаны общей тайной, общей радостью и общим страхом. Причем Мария, вероятно, даже большим, чем он.— А чего ж делать? Как поступить?— Тут припомнилось недавнее решение как следует поговорить с Марией и выяснить все до ниточки.— Но что выяснять? Что? Зачем пришла в батальон? Как жила прежде? Почему смеется с Кисловым? Что случилось?»

Выходило, что ничего не случилось, психовать не из-за чего, а вот разобраться в себе и в ней, а уж потом и решить чин чинарем — это надо.

«Что ж ты решишь? Что? Женишься? Война же идет! Война! А может, тебе семейную землянку выделят? Или отправят в тыл, чтоб ты там семью строил, а тут другой пускай воюет? А может, отправишь молодую жену домой, к матери? Так нет еще у тебя дома, и матери, может, нет. Дурак ты, дурак... Живи, пока живется, а там... Там видно будет. Останешься живым — разберешься, а нет... так война все спишет. Мертвые сраму не имут».

Он окончательно, но как-то тяжело, мрачно успокоился, побродил еще немного и вернулся в землянку. Ребята готовились пить чай, обсуждали наступление на среднем Дону. Молчаливый Костя сидел с края стола, прислушивался, изредка исподлобья присматриваясь к товарищам.

«А в самом деле, кого оставить за себя? А то так: кто вместо меня заступит? Малков? Потянет, но... свое нравный и слишком уж уважает себя. Хотя... Хотя вот и ребят подобрал и возится с ними, обучает. Но как-то свысока, что ли... А может, так и нужно? Держать дистанцию. Все ж таки командир... Засядько? Просто молот. Тихий, скромный, исполнительный... И рядом и словно нет его... Пожалуй, и потребовать не сумеет... А может, я его не сумел разглядеть? Может, есть в нем...

ведь в каждом есть что-то свое, но обязательно нужное людям. А я не знаю... Итак — Джунус... Он — воин и... командир. Скажет — впечатает и назад ни шагу. Но, обратно же, есть в нем... вернее, не в нем... Хотя нет. Все в нем есть. Нет одного — умения говорить. И не потому, что он слабо знает русский — он, наверное, и свой казахский теперь подзабыл. У него нет этого... умения говорить с людьми. Молчун. — Он задумался перебирая в памяти все, что знал о Джунусе, и внезапно для себя задал себе же вопрос: — А может, и не нужно ему говорить? Может, достаточно одного примера? Научить он научит. На это у него и опыта и, обратно же, умения вполне хватит. И проконтролирует как никто, — он же все видит, все замечает».

И оттого что Джунус вроде бы по всем статьям подходил ему в заместители и, значит, в преемники, Костя повеселел и великодушно подумал: «Жаль, конечно, что Колпаков задерживается... Этот бы тоже пошел», — но сейчас же вспомнив, что Колпаков по-прежнему пишет только Джунусу, хотя и обращается ко всему отделению, решил: «Да, вот это — командир».

От всех этих успокоительных, а под конец даже и веселых мыслей Костя опять стал самим собой: «А-а... Живы будем — не помрем. А помрем — воскреснем».

После чаепития ребята устраивались на ночь, а Костя пошел к Марии.

Шла артиллерийская дуэль — две упрямых батареи, спрятанные в лесах, а может, и в оврагах, садили друг в друга снаряды, и они плыли над головой с гусачьим шепелявым свистом — дело, по всему, подвигалось к оттепели.

Костя шел по знакомой тропке весело, спокойно и, когда встретился с Кривоножкой, почтительно уступил ему дорогу и отдал честь. Старший политрук недавно стал капитаном — пришел приказ о присвоении звания — и последнее время часто бывал в батальонных тылах, «подкручивая ослабевшие гайки». Басин молчаливо согласился с таким разделением забот: политработа в новых условиях — ведь это, кроме всего прочего, забота о подчиненных. И забота эта исходит и от тыла.

Капитан Кривоножка молча, но приветливо улыбнулся Жилину, но когда они разминулись, оглянулся и долго смотрел вслед, гадая, почему командир отделения снайперов все еще пользуется откровенным благорасположением и нового комбата. Жилин явно и нахально

шел в самоволку. В тылах ему делать нечего. Но Кривоножко уже научился не спешить: войны еще хватит, следует действовать рассудительно, но решительно. Только в этом случае добьешься успеха.

Это были уже новые, капитанские мысли и чувства Кривоножко. Но Костя, естественно, о них не знал. Он по простоте думал, что все идет как шло раньше, и, пожалуй, даже радовался, что Кривоножко нашел себя и стал явно неплохим человеком. Таким, которого можно и нужно уважать.

Глава шестнадцатая Мария сумерничала. В теплой землянке смутно белели постели, неживым бельмом иногда вспыхивало крохотное оконце — позади батальонных тылов рвались снаряды — шла арт-дуэль. Пахло лекарствами, травками и сухой землей. На жиденьких накатах возились мыши... Мария сидела одна — фельдшерицу вызвали на совещание. Последнее время почему-то развелось много мышей, и они переносили странную, никому не известную болезнь туляремию. Медицина совещалась перед объявлением войны мышам.

Когда пришел приказ о присвоении нового звания Кривоножко, его, естественно, решили «обмыть» своим командирско-политработническим коллективом. Командир хоззвезда лишний раз съездил в тылы полка и даже на ДОП — дивизионный обменный пункт, где были главные склады дивизии, всякими правдами и неправдами достал половину мороженого барана — из тех, что привезли монголы в подарок фронту, и, главное, уксусу и перцу: решили «сварганить» шашлыки. Водка была, картошка, консервы и всякие мелочи — тем более. Повар, а вместе с ним и Мария, заразились общей приподнятой суматохой, варили, жарили и парили, сетуя, что нет посуды: им хотелось утвердить хорошую славу батальона перед приезжими гостями — агитатором и секретарем партбюро полка и, главное, двумя инструкторами из политотделов дивизии и армии.

Вечер удался. Шашлыки промариновались и жарились так, как и положено было жарить эту пищу богов и воинов, — не на пошлых шампурах, а самых настоящих шомполах и не в каких-нибудь шашлычниках или мангалах, на которых мясо скорее парится, чем жарится, а на открытых углях от костра — пышущих, перемигивающихся, отдающих свой неповторимый, с при-

горелой горчинкой дух маринованному мясу. Ветер дул с запада, и потому до немцев не доходил запах такой вкусотищи. Не волновал он и ребят с передовой...

Командиры рот, их заместители по политической части, командиры отдельных взводов и приданных и поддерживающих их средств сидели весь вечер, а командиры строевых взводов заходили по очереди — им преподносили шашлык, водку и, что пользовалось не меньшим успехом, селедку с луком. Люди крикали, поздравляли замполита и отмечали: «Живут же люди...» Вся эта общая веселая и немножко почтительная по отношению к Кривоножке кутерьма сильно укрепила и его авторитет и авторитет всего батальона, а прежде всего Басина — он сумел сплотить командиров и политработников, и, значит, слава об этом батальоне идет не зря.

Мария часто появлялась в землянке — она работала и за хозяйку — повар жарил шашлыки — и за офицантку. После третьего тоста в землянке комбата стало дымно и шумно, официальность исчезла, и один из инструкторов политотдела, внимательно взглядевшись в Марию, позволил себе пошутить:

— Ты где ж, капитан, такую кралю отхватил? Ведь ваш батя женщин не жалует.

Трижды разведенный до войны командир полка и в самом деле не любил женщин, и в полку они не держались — разве что самые необходимые: машинистка, врач и несколько санинструкторов и санитарок на полковом медпункте да батальонная фельдшерица. Басин усмехнулся и ответил:

— Батальон такой — сами прибиваются.

Посмеялись, заговорили о боях на юге, и Мария, ловко убирая со стола, вдруг впервые за долгое время застыдилась своих больших красных рук, а теперь еще, от возни с картошкой, и черных на концах пальцев, своей неуклюжей, в ватных брюках, фигуры, заалелась и опустила взгляд. Сердце будто провалилось. Но когда она, убирая посуду, нечаянно взглянула на Басина, то уловила его встревоженный взгляд, который сейчас же сменился на ободряющий и в то же время чем-то болезненный.

Потом уж пришла фельдшерица со старшим лейтенантом Зобовым, и Мария отпросилась у повара домой. Она бежала по тропке, у землянки остановилась и долго разбиралась в себе, но ничего толком не поняла

и молила только об одном: чтобы не пришел Костя. И он не пришел. Ни в тот вечер, ни на следующий. На передовой секреты долго не держатся, и Мария знала, что у него были неприятности и что артиллеристы, а потом и другие стали поговаривать, что снайперы только болтать умеют, а как настоящее дело — так у них и не получается...

Мария ждала Костю. Ждала и впервые не знала, как себя вести с ним. Что-то легло между ними, а сама она как бы раздвоилась...

Когда Костя вошел в землянку, у нее замерло сердце так, словно она ждала чего-то плохого, страшного. Но это быстро прошло, однако подняться ему навстречу, сказать ласково-грубоватые слова она не могла.

Костя сразу почувствовал нечто тревожное, непонятное, хотя еще не видел Марии. Он только ощущал, что она сидит на своем топчане, что она ждет, но ждет не так, как всегда. Он медленно подошел, коленом нащупал ее колени и сел рядом. Молчали долго, и Костя спросил:

— Ты чего такая? Устала?— И легко, ласково положил руку на плечо.

И столько нежности и тревоги почудилось ей и в тоне и в этом прикосновении, что она со стоном обернулась, упала ему в колени и заплакала — горько-приятно, освобождающе.

Костя молча гладил ее вздрагивающие плечи, изредка вытирал ее глаза, и она постепенно успокаивалась. Любил он ее в тот вечер успокаивающе заботливо, но в душе у него тоже копилась горчинка — что-то пошло у них не так. Что-то стали они скрывать друг от друга, и он, как истинный мужчина, думал в тихие, чуть отчужденные минуты отдыха не о себе, а о том, что ей здесь трудно, одной, среди мужиков, что он не может ни защитить ее, ни помочь — ни положения, ни тех условий. А он хотел помочь ей и защитить... И горчинка растекалась в нем, отравляла, и он вспомнил, что хотел докопаться до ее прошлого.

Он дождался, когда она — радостно-усталая, обмякшая и добрая, благодарно думавшая о том, что все-таки нет лучше на свете человека, чем ее Костя, и грустная от понимания, что никто не знает, как обернется их жизнь через час, и все-таки благодарная Косте и судьбе за то, что припасла она радость для нее, — в эту минуту Костя осторожно попросил:

— Рассказала б, как у вас немцы... жили.

Вот, кажется, и пришло то, чего она боялась, когда входил Костя... Она ждала этого разговора много раз, мысленно репетировала его, но сама не рассказывала ему о месяцах оккупации не потому, что боялась в чем-то признаться — она давно ничего не боялась, — а потому, что была уверена: Костя ее не поймет. Врать она не умела, а правда была трудной прежде всего для нее самой. Но сейчас она поняла, что между ними идут какие-то очень важные, а может быть, решающие свершения, но ответила не сразу — собралась с давно притертыми друг к другу мыслями и внутренне укрепилась. И уж не умом, а сердцем, женским инстинктом, незаметно для себя заставила перевернуться на бок, прижаться к нему и заговорить мягко, почти ласково:

— Если честно, Костя, так я почти и не помню... Понимаешь, как получилось-то... Нас угнали на окопы, к Москве. Поначалу рыли спокойно, даже, можно сказать, весело. Выйдешь утром на работу, посмотришь вправо-влево — ой, сколько народу! Где уж там фрицам! И кормили нас хорошо — мяса невпроворот. А потом как пошли беженцы... Нет, они все время шли, но какие-то организованные. Скот угоняли, технику, а вот уж когда народ хлынул, тут веселье пропало. Бабы с детьми... Старики... Господи... Как начнут рассказывать, — Мария все заметней волновалась, голос ее звучал звонче и страстней. — Те того-то зарыли, та кого-то потеряла... А тут еще «мессера». Летят, свистят, как звонари, и ну — строчить. Крови... Бросим окопы, давай закапывать побитых. Особенно детей жалко... Глаза открытые, глазенки ясные. Веришь, может, я в первый раз поняла обычай — глаза мертвецам закрывать. Нельзя в те глаза было смотреть... нельзя. — Она передохнула и, видно, облизала пошершавевшиеся губы — Косте показалось, что он услышал шершавый звук. — И я свою Зинку на дню десять раз хоронила, а ночью молилась. Никогда не молилась. А тут скажи: на коленях к господнему престолу поползти — поползла бы. Покатом бы докатилась. И вот вечером, вернее, к вечеру, глядим — танки прут. Подумали — наши. А они, паразиты, остановились и давай из пулеметов садить. Хорошо поверху...

— Будут они тебе поверху стрелять, — неожиданно обозлился Костя. Она поняла его и миролюбиво уточнила:

— Может, и не только поверху. Там, где я была,

пули поверху свистели. Ну, правда, крику было, визгу — бабы же! — и кто куда. А я, веришь, даже на постой за вещичками не забежала. Прямо домой. Ночь бегу, под утро уж вкруговую, лесом пошла. Еще одна бабенка со мной из нашей деревни, тоже детная... Бежим, на наших натыкаемся — тоже, видать, бродят, или обошли их, а может, окружили. И такое зло на них, мужиков, брало, что глаза б не смотрели. А они, паразиты, нас же и ругают — чего, дескать, к немцам спешите. Ну да мы не отвечали, как полоумные бежали. Не добежали...

Она примолкла, и Костя осторожно шевельнулся, устраиваясь так, чтобы половчее, по-отцовски — в ту минуту она не жена ему была, не любовница, а дочка — обнять ее и уберечь. Запоздало уберечь. А заодно выгородить тех, кто упрекал Марию в ту страшную пору. Он и себя тем же выгораживал, потому что в окружении тоже возмущался беженцами, которые возвращались «под немца». И Мария поняла его...

— Это уж я потом поняла — верно упрекали. Работали мы на них... Работали, чтобы самим уцелеть, но — работали. — Она опять вздохнула поглубже, набирая воздуха для самого главного, убрала прядку волос и устроилась поудобней. — Прибежали и узнали. И мою дочку, и ее дочку, и еще троих пацанят — и, скажи, всех девчонок — расстреляли фрицы. — После короткой паузы она каким-то странно отчужденным, словно удивленным тоном повторила: — Ага, расстреляли.

Жилин видел и слышал многое, но такое — расстрелять пятерых девчонок — он не слышал и вскинулся:

— За что? Как так — расстреляли?

— Видишь, оно как получилось. Дело осеннее. Подружки пошли в лесок по грибы, а может, по ягоды. А тут стрельба началась — не рядом, дальше. Они испугались и побежали домой. Тут — «мессера». Один снизился и стал строчить из пулеметов. Что ему сблазнилось — не знаю, может, решил, что бойцы из лесу выбежали... но они ж в платицах, кацавейках, маленькис... может, оно сверху не видно... не знаю. Ничего не знаю... Так их и похоронили в одной могилке. В сестринской могилке.

Она замолкла, не двигаясь, кажется, не дыша, только по напрягшемуся сильному телу иногда проходила крупная судорога — дрожь. Костя прижимал ее, но ни гладить, ни успокаивать не мог. Он думал... даже не ду-

мал, а повторял про себя — «сестринская могилка». Все верно. Когда в одну могилу кладут бойцов, мужчин, так то — братская могила, а вот когда одних женщин или вот так — девчоночек, с ясными, может, так и не закрытыми глазами — тогда сестринская.

Сестринская могилка.

Оно толклось, это понятие, в его мозгу, и он не знал, сколько времени молчала Мария. Он только понимал, что она переживает все заново, и клял себя за то, что завел этот в общем-то подлый разговор — узнать ему, видишь ли, захотелось, как она жила. А нужно ли тебе ее прошлое? Ведь какое б оно ни было, а сегодняшнее — оно твое, и чистое.

Молчали они долго. Успокоились батареи — может, перебили друг друга, а скорее так и не нащупали противников. За дверью иногда слышались шаги часового: тыл, он тыл, да ведь от него до передовой метров семьсот, а до противника меньше километра.

Мария опять заговорила, но уже ровнее, спокойней, чем прежде:

— Я, знаешь, не плакала. Я ее раньше там, на окопах, столько раз хоронила, что когда узнала, так уж самое страшное прошло. Я как окаменела. Бой возле нас был — наши из окружения выходили, — все по погребам прячутся, а я в избе так и просидела. Немцы пришли, ходят, чего-то требуют, другие даже вроде шутят. Если пойму, чего хотят, — подам, а нет — сижу, смотрю. Потом одни немцы ушли — другие пришли, потом вроде те, первые, вернулись — наши как будто их потеснили. И все это, знаешь, как сквозь сон, как будто не со мной. Я им не больно и нужна была — померзшие они, усталые и злые. И на наших злые, что не сдаются, и на своих злые — не так воюют, и на себя злые. Потом их подвалило побольше — сытых и веселых, и все пошли дальше, а к нам стали связисты. Линии тянули. Больше пожилые. Эти всё гадали — заберут на передовую или нет. Я, Костя, уж потом догадалась, какие они были, боялись очень. Когда ходом шли — радовались, верили в себя, а вот уж под Москвой стали бояться. От страха, что пошлют под огонь, от страха, что опять у них ничего не удалось, они стали злыми — и на себя, и на вас, и на нас: вот ведь — не сбежали от них, живут, своих ждут, а эти свои — их колотят. Вот от этой злости они и к нам стали нахальней, только тоже со страхом, черт-те что от нас можно ждать... Ну а то, что тебя

интересует... Так было. Мужики — все мужики: лезли. Но я же тебе сказала — я как каменная была. Подсыпаются, лопочут, улыбаются — смолчу, не улыбнусь, глаз не отведу. Отстают и, должно быть, думают — блажная.

Был у связистов тех повар — пожилой уже человек, лет за сорок, а может, даже более. Он маленько порусски говорил. Вот и узнал про Зинку. Пришел и забрал меня и соседку на кухню. И как-то так все решили, что я уж у него в любовницах хожу. Но и этого не было. Он чудной был... Повар, а худой, но румяный, чистенький — каждый день брился, а духами по три раза на день прыскался... Может, даже интересный... как мужчина. Но неприступный, словно он один какую-то особую правду знал, а другие к ней близко не подходили — так он свысока на всех поглядывал. Вот под его командованием я и узнала все секреты солдатской кухни.

А зима пришла. Они уж в Москву готовились. Веселые ходили, а повар — Гельмут его звали — еще заносчивей стал: на всех покрикивает, вроде даже злится. Уж в декабре они как раз по радио услышали, что на Москву в бинокль смотрят, он и сказал... Может быть, в тот день я впервые кое-что вокруг увидела, кое-что поняла... Но поздно уж было — наши погнались немца.

Гельмут нас с кухни не выпускал — там и спали. А когда ихняя очередь пришла драпать, этот самый Гельмут мне и шепнул: «Придут ваши — скажи, мы не большой дорогой идем. Мы лесом идем». Они ушли, а через полчаса — наши, я еще и до дому не дошла. Я сразу и передала. Не знаю, уж как там было, но только по лесу и наши пушки били, и самолеты наши летали, а потом, говорят, и пленных везли. Я сама не видела. Когда наши бомбили ту лесную дорогу, я хотела пойти, может, думаю, помогу Гельмуту, может, заступлюсь — он человеком был. Но как дошла до сестринской могилки, так меня опять свело. Не могу идти дальше. Не могу — и все! Может, в тот час были какие-нибудь особые мысли — не знаю. Не помню. Наверное, не было. Я еще каменная была...

Ну, когда фронт отошел, шепнул кто-то в сельсовете, что я у немцев работала... И что ты думаешь? Может, и посадили бы, но только в тот час и пришла похоронка на мужа. Она, конечно, раньше пришла, но пока мы в оккупации были, почти все сохраняла... И письма его пришли, и похоронка... Вот и не знали, что со

мной делать. А мне все равно было — что б сделали, то б и сделали. Перенесла б. И даже похоронка ни довела, ни убавила — даже не заплакала. Это уж потом, как стала отходить, отмякать — тогда ревела. Крепко ревела — жалела. Он хоть и выпивал, но не вредный мужик был. Не обижалась: руки не поднимал, из дому не таскал... — Мария словно спохватилась, приостановила разгон — об этом говорить даже с Костей не следовало. То — ее. Только ее... И дела до того нет никому. — Ну а тут как раз пришла благодарность от наших за то, что я просьбу Гельмута передала. И уж потом, когда я в себя пришла и когда стали набирать в армию, так я и записалась... первая... Вот так-то... Возле армии я и отошла. И теперь иной раз поплачу, но ведь я ж тоже не слепая, вижу, что кругом делается, понимаю... Мое горе... Что же... Оно и есть горе, да мое. А одним горем не проживешь — еще и работать нужно...

Костя медленно шел к своей землянке, потом долго стоял у входа и курил, а когда вошел в землянку, зажег гильзу-свотильник, то увидел, что место его на нарах занято — там спал артиллерист Рябов. Костя подбросил в гаснущую печь несколько поленьев и взглянул на Кислова: «И этот к ней подсыпается. А может, она к нему — хозяйственный парень».

И, по-новому приглядываясь к Кислову, вдруг увидел, что мужик он — красивый.

Но это не очень взволновало Костю. Он почему-то вспомнил поразившие его слова «сестринская могила» и понял: все кругом мелко, все отступает перед той не известной ему Зинкой и ее подружками, перед их ясными, может, так и не закрытыми глазами в той сестринской могиле.

Он понял, зачем пришел Рябов, и, пристроившись на краю нарах, уже думал об огневой позиции их пушчонки, о путях ее отхода и о позициях своих снайперов. Артиллеристов надо прикрыть как следует — они первый раз.

Глава семнадцатая

Проснулся он все-таки раньше всех, поворошил печь, подбросил дровишек, сбегал на кухню и притащил теплой воды в котелке — побриться, а потом заорал:

— Ну, вы, добровольцы-москвичи! Кончай ночеваты! И пока длилась утренняя, несколько бестолковая, но стремительная суэта, он все время покрикивал, шутил и подначивал, успел побриться, осмотреть оружие и

укорить Кропта за то, что он не протер затыльник винтовки и тот тронулся легкой ржавчиной.

— Приложишься, а на халате — пятно. Негодится — у него тоже оптика, и, между прочим, получше нашей.

Ни упрекать, ни подшучивать над ним за его отлучку никто не решался — не потому, что командир, а потому, что такой уж он есть; на все находит время и ни в чем не меняется.

Но Костя не знал, что уже многое переменялось. На вечере Кривоножке Басин допек Зобова, и тот решил отыграться и сказал:

— Ты, капитан, тут своих снайперов защищаешь, а они тебя же и обштопывают.

— Лихой народ, — согласно покивал Басин. Он уже понял, что Зобов устыдился и выведет свои пушки на прямую наводку, сделает их кочующими. А это было главным. Все остальное можно и перетерпеть. — Что они еще натворили?

— Ничего особенного. — Зобов кивнул на фельдшерицу. — У ее соседки отираются. Пока ты моргаешь.

— Дурак, — спокойно сказала фельдшерица и придвинулась поближе к черноголовому Мкрытчану.

Басин усмехнулся, глаза у него сузились, а Кривоножке отметил, что в зрачках метнулись недоверие и боль.

— Настоящий боец нигде не теряется, — сказал капитан. — А снайперы — бойцы.

Зобов решил, что проиграл, — Басин не рассердился.

Утром Зобов вызвал Рябова и приказал ему готовиться к действиям на переднем крае. Артиллеристы за две ночи подготовили огневую, обнесли ее снежным валом и облили его водой.

Зобов думал, что Басин сам поинтересуется, что делается в полосе его батальона, но капитан не поинтересовался. Хотел он того или не хотел, а он все время думал о Марии. Теперь, после зобовского вторичного намека, он уже не сомневался, что Мария имеет дружку, и его поначалу волновало только одно — кто этот счастливец. Но потом постепенно он стал злиться на нее, упрощая свое отношение к ней, и оттого распалялся все сильнее. Он старался не проходить мимо кухни и все-таки проходил по несколько раз в день. Он пытался не смотреть на Марию, но когда она приносила ему еду, украдкой следил за каждым ее движением, отыскивая в ней все больше привлекательных черт. И, по

странному закону, эта привлекательность оборачивалась ей же в укор — ведь если этой милой, неяркой красотой пользовался кто-то другой, его же подчиненный значит, не такая уж это и красота... Закопченная эта красота, нечистая. И он, жалея ее, стал почти ненавидеть и ее внимательные глаза, и ее статную фигуру с крепкой выпирающей грудью. Только большие красно-серые рабочие руки неизменно вызывали в нем уважение и как-то примиряли его с Марией.

В тот день, возвращаясь с передовой, он не выдержал и опять зашел на кухню, услышал Мариин смех и заглянул в землянку. Там сидел снайпер Кислов и, ловко орудуя ножом, резал примороженный, скользкий лук. Кислов вскочил, когда увидел комбата, а Басин, сам того не ожидая, заорал:

— Какого черта здесь околачиваетесь? Почему не на огневых?

— Мы, товарищ капитан... — начал было Кислов, но Басин оборвал его:

— Марш в отделение!

Во рту пересохло, сердце стучало, и он все яснее ощущал всю глупость, всю унижительность своего поведения. В своей землянке он бросился на топчан и долго лежал ничком, стараясь загнать свои горячечные думы и желания поглубже и там удушить, но понимал, что ничего из этого не выйдет.

Кислов примчался в землянку как ошпаренный и сообщил:

— Сержант! Капитан ругается, почему мы не на огневых.

Костя удивился — такого еще не бывало, но ответил спокойно:

— Когда надо — выйдем.

И они вышли как раз тогда, когда было надо, — артиллеристы уже начали выдвижение. Рябов сам проверил, как видно окружающее через прицел, и, вздохнув, коротко приказал:

— Пошли! Лямки!

Пушки впряглись в лямки, уперлись в сошники и щит и покатали пушку из кустарников на огневую. Ствол пушки лег как раз на кромку оледенелого вала. Мягко, влажно лязгнул затвор.

Небо висело низко, пахло весной — шла оттепель. Снайперы спустились пониже, к траншеям, а артиллеристы, подрагивая не то от пронизывающего сырого

холода, не то от страха перед неизведанным, таились в кустарнике. Когда снайперы замаскировались, небо как будто поднялось — наступал декабрьский рассвет.

Жилин прикинул, сколько времени потребуется расчету, чтобы привести орудие к бою, и выстрелил трассирующей пулей по дзоту противника, который очень уж надоедал роте Мкрытчана и его соседу. Зеленый рсчерк трассы сник в снегу под темной, почти незаметной амбразурой.

Рябов спросил у наводчика:

— Понял?

— Так точно!

— Наводить под срез. — Рябов привычно набрал воздуха для длинной команды, но все, что вмещалось в нее при обычной стрельбе, было уже сделано, и потому, ставливая лишний воздух, просипел: — Огонь!

Пушка подпрыгнула, плюнула желто-голубым языком пламени, и о мерзлую утопанную землю звякнула гильза. Рябов вскинул бинокль.

Снаряд попал на редкость удачно — прямо в амбразуру и разорвался внутри дзота — амбразура выдохнула клубочек бурого, жесткого дыма. Рябов крикнул:

— Осколочным, прицел прежний!

Костя сразу оценил удачу Рябова, отметил умение наводчика и стал стрелять по еле заметному бугорку в редком кустарнике — там, по расчетам и снайперов и пехотинцев, находился наблюдательный пункт немецких артиллеристов. Рябов понял Жилина: «Не трать, Рябов, лишних снарядов. Раз первый разорвался внутри дзота — живого там ничего не осталось». И артиллеристы перенесли огонь по целеуказанию снайперов. Стрелял расчет метко, работал быстро и четко, но с предполагаемым НП повозились — первыми двумя-тремя снарядами разворотили земляную подушку и только одним, четвертым, попали в амбразуру. Пятый снаряд почему-то дал перелет. Рябов не стал испытывать судьбу, скомандовал «отбой», и пушка покатилаь назад, в лощинку.

Противник ответил огнем не сразу — видно, отвык стрелять по внезапно появляющимся целям. Мины ложились вразброс: должно быть, стреляющий был с крепкого похмелья и не сразу вывел их на предполагаемую цель, а настоящая цель — пушка — уже катилась по ложине. И артиллеристы — как мальчишки, возвращаю-

щиеся с ночного набега на соседский сад, возбужденные, с пылающими щеками и с сумасшедшими, не то все еще испуганными, не то радостными глазами — ка-тили орудие быстро и дружно.

Басин слышал орудийные выстрелы, потом трескотню автоматов и завывание мин, запоздалый перестук пулеметов, сразу уловил разнотон в действиях противника и подумал: «А ведь он надломился... Порядка не чувствуется.— И уже накопленным опытом, о котором и сам не подозревал, решил:— Пора наступать. Сейчас его можно сломить».

Вечером Басина пригласил к себе старший лейтенант Зобов — он не хотел ударить лицом в грязь перед пехотным командиром и потому стол подготовил отменный: повар подал настоящего, фаршированного чесноком и салом зайца. Батарейные разведчики специально ходили в ближний тыл на охоту — в тот год рядом с передовой развелось не только много мышей, но и зайцев.

Сначала сидели мужской компанией, а потом приехала фельдшерица. Все зашумели, обрадовались, потому что можно было поухаживать за ней, блеснуть остроумием и даже, может быть, потанцевать. Но ничего этого не случилось, потому что фельдшерица привезла невероятную новость.

— Нам сказал надежный человек — из Москвы! — что скоро у нас будет новая форма, с погонами.

Ей не поверили и даже как будто обиделись на нее — надо же, какие глупости рассказывает! Может, еще золотые погоны придумает?

Старший лейтенант сразу уловил вспышку недоброго отношения лично к ней и попытался вступить, но фельдшерица небрежно оборвала его:

— Перестань! Все равно ничего путного не скажешь, потому что ничего не знаешь! — И обратилась к командирам с очень милой, красящей ее улыбкой: — А если я добавлю, что, говорят, мы будем называться теперь не командирами или политработниками, а офицерами, так вы, наверное, полезете в драку? Впрочем, точно так же, как и наши эскулапы полезли на этого самого москвича. Но он только улыбался и говорил: «Не спешите, сами увидите».

Но командиры, похоже, не хотели становиться офицерами. Споря и доказывая каждый свое, они бросали взгляды на фельдшерицу, которая загадочно улыбалась

и поглядывала на них прищуренным, ласково-насмешливым взглядом — худенькая, с конопатинками на вытянутом и тоже худощавом лице, со светло-каштановыми редкими, да еще коротко подстриженными волосами, она по всем приметам не могла считаться даже хорошенькой. Но лицо освещали темно-серые, большие и очень внимательные глаза. Когда мужчины всматривались в эти глаза, то понимали — она все-таки хорошенькая и в ней что-то есть.

— Ну, чего вы шумите? — широко раскрыла она свои глазищи. — Что хорошего в нынешней форме? Посмотрите на свои воротнички — смятые, грязные... Подворотничка толком не пришьешь... А вспомните, как в кино выглядели офицеры с погонами! Приятно посмотреть! Нет, как хотите, а я за то, чтобы форма была красивее. Она облагораживает. Она заставляет следить за собой. А это подтягивает, делает мужчин — мужчинами. Вы посмотрите на себя — сидит одна женщина, и никто даже не попытался поухаживать за ней. Я не говорю о Зобове — от него ничего хорошего не дождешься: не мужчина, а моя роковая ошибка, но ведь остальные... вы же молоды... Неужели настоящий офицер мог позволить себе так относиться к женщине? — Она говорила и делала бутерброды с тушенкой, угощая ими соседей, они смотрели на нее, краснея и понимая, что смешны, и протест против возможного нововведения опадал. — Нет, что бы вы там ни говорили, а я — за красоту. За мужественную красоту. И потом... этот самый москвич возразил нашим эскулапам еще и так: армия, которая сумела совершить такой подвиг под Сталинградом, которая заставила немцев драться в окружении, какое только бывало во всех войнах и во все времена, просто достойна новой формы. Ведь сама армия поднялась на новую ступень...

— Насчет Сталинграда все верно, а посмотрите, что у нас здесь? Сидим... — недовольно пробурчал замполит батареи — моложавый русский лейтенант: он был обижен тем, что ему, политруку, при переаттестации присвоили звание лейтенанта.

— Смотрите не смотрите, а триста тысяч в колечке, — засмеялся один из командиров взводов.

— Кстати, — сказала фельдшерица, — у нас там говорили, что радоваться должны прежде всего политработники. Сейчас они как бы и не строевые, а то... офицеры! — она сделала неуволимо изящный жест рукой, и

глаза у нее блеснули весело и лукаво.— Ну, хоть выпьем, что ли, товарищи... офицеры.

Замполит батареи хоть и потянулся чокаться, но на всякий случай пробурчал:

— Вы бы не так уж... определенно. Офицеры, знаете ли...

Но выпив, новость обсуждали уже поспокойней. Вон моряки, так и не сменили форму с дореволюционных времен. И в Финляндии, как только выяснилось, что каски не лезут на буденовки с острым шишаком на макушке, так и ввели ушанки. Забыли, какие ушанки привезли на финскую? Прямо из магазинов, разноцветные, не войска, а партизанский отряд.

Пока спорили, Басин думал о том, что слух об изменении формы и даже, возможно, введении офицерских званий правдив. Скорее всего так и случится. Главное — это влияние партии. Но с другой стороны, говоря о влиянии партии, ведь и сам Басин — большевик. На какую должность его ни поставь, все равно он останется большевиком, потому что не во внешних приметах суть, хоть они и важны, а в том, что есть в самом Басине, в самом человеке, в его убеждениях, в его совести, в том, что можно назвать идеологией, а можно определить и как главную его веру в справедливость и неотвратимость будущего. Мелькнули слышанные еще в ранней юности в Политехническом музее и читанные потом много раз сильные слова: «Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни. Но и без Гегеля мы знали...— нет, тут что-то не так, какое-то иное слово, но не оно важно, важна мысль,— знали мы о том, в каком идти, в каком сражаться стане». Вот в этом главная сила и нерушимая крепость партии. Она в человеке, в его сути.

А внешние ее проявления? Что ж... И они важны и нужны, но ведь если разобраться как следует, то что изменилось? Кто-то потерял свою личную, персональную, власть — и все. А влияние партии все равно нерушимо. Кривоножко, конечно, теперь подчиненный, не вровень с комбатом, но ведь сам-то комбат подчиняется замполиту полка точно так же, как командиры рот подчиняются Кривоножко. Люди специализируются, расставляются по своим местам, чтобы каждый делал свое дело как можно лучше. Ответственность повышается, вот в чем дело. Ответственность! Потому что армия дей-

ствительно становится кадровой. И каждый ее представитель — специалист.

Он еще подумал о том, что ведь поставь его, прошедшего школу парторгства, замполитом, он бы тоже справился, а подучи Кривоножко, заставь его думать о всех строевых премудростях ежедневно, ежечасно, и станет Кривоножко комбатом. Главное в том, на каком месте человек больше всего даст. Даст, а не возьмет. У кого к чему способности, к чему какая душа лежит.

А форма, офицерство, а может, и еще что-нибудь придумают — это все только способствует делу, только помогает ему. Главное же вот в этом — учиться. Армия и в самом деле стала не та, что год назад. Год назад, и даже в кадровой армии, такие, как Жилин, скорее всего мешали бы — выбиваются из общего строя, нарушают порядок. А война сама по себе самый страшный беспорядок, какой можно только придумать, и в ней, в этой напасти, нужен не просто боец, а вот такой, как Жилин, — думающий, чувствующий по-партийному.

Можно и не открывать каждый том Маркса, но нужно точно знать, в каком сражаться стане. Но и этого мало — нужно хотеть сражаться, нужно уметь сражаться... Как же это там дальше?.. Ах, вот в чем дело — перепутал, перепутал. Подзабыл. В первом случае про Гегеля ничего не сказано. Там так: «Но и без чтения мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане». А дальше так просто великолепно: «Мы диалектику учили не по Гегелю... (Вот где Гегель!) С бряцанием боев она врывалась в стих, когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них». Сталинград показал — теперь мы можем сказать: «как мы когда-то бегали от них». Теперь они бегают. И еще побегут! Погоним.

Только вот учиться надо. А разве мы учимся? Сидим как кроты в земле, хорошо, что Кривоножко правильно понял задачу — поднял людей: и снайперы и кочующие огневые точки, а теперь вот и орудия. Но этого мало. Мало... Больше нужно, глубже, всесторонней. Словом, как ни крути, а начинается новое время новой армии, которую подготовила война, и она, эта армия, теперь, конечно же, не укладывается в старые рамки. Так что офицеры будут... Будут, как символ ответственности за порученное дело, а все остальное — так, рядом, потому

что партийную сущность отменить нельзя — она в душах.

Теперь он уже рассеянно слушал задиристые рассуждения, не чувствуя вкуса, жевал тушенку с сухарями — заяц и хлеб кончились, а посылать за хлебом некого. Фельдшерица поднялась, поколдовала у печи, поставила чайник и, проходя мимо Зобова, мимоходом провела по его волосам, скользнула рукой по шее и плечам. У Басина заныло сердце — давно, очень давно он не знал такой ласки. С тех пор как родился первый ребенок, жене стало не до ласки, а потом война.

Комбат огляделся. Вкопанная в землю амбарушка отдавала благородной патиной, висели какие-то картинки, полочки с занавесками, и пахло не землей, а выстоянным деревом. И стол был не сколоченный из ящиков, а настоящий, на хороших ножках, сделанных умелым столяром. Да и сидел Басин не на нарах или скамье, а на табуретке. На всем лежала та особая, вроде бы и чуть небрежная, но милая, веселая женская забота — там марлечка, здесь — расписная плошка... Басин остро позавидовал Зобову и сейчас же вспомнил Марию.

Ну, почему, почему одним везет, а другим — ни капельки? Почему Зобова любит в общем-то неплохая женщина, почему именно его, а не кого-нибудь другого — и помоложе, и покрасивее, и поумнее, наконец, просто посмелее — Зобов, он все-таки... осторожный. Слишком осторожный.

Фельдшерица разлила остатки спирта и, затаенно посмеиваясь, словно подзадоривая, сказала:

— Ну, раз вы будете офицерами, так нужен и офицерский тост. Может быть, припомнит хоть кто-нибудь?

Она улыбалась, поглядывая вокруг своими веселыми и хитрыми глазищами, и, пожалуй, чаще всего на Басина. Она словно намекала на нечто ему известное, такое, отчего он может выглядеть смешным. И он вспомнил нужный тост:

— Что ж... Принимаю вызов и провозглашаю — за милых женщин!

— Отлично, товарищ капитан. Я всегда говорила моему недотепе Зобову, что в вас есть нечто... такое... — она повертела пальцами у оживленного лица. — Впрочем, это же говорили и другие женщины. Но ведь вы ничего не замечаете.

Серьезные разговоры угасли, стало весело и бездумно. Болтали, рассказывали старые анекдоты. Басин отрывочно думал: к чему эти ее намеки? Она, кажется, словно упрекала — ничего, дескать, ты не видишь. Фельдшерица живет с Марией, и не может быть, чтобы они не говорили о нас, мужиках. Не может быть... Женщины — все это говорят — о чем бы ни разговаривали, а на мужчин свернут...

Все темно-прекрасное и в то же время теперь прескверное, что долго копилось в нем, поднималось, легко завладевало им, и он, еще не понимая зачем, встал со словами: «Я на минутку...», пошел к избе Марии. Он шел все быстрее и дышал все загнанней, вошел решительно, но остановился на пороге.

Мария не спала. Она гадала — придет Костя или нет. К ней на кухню забежал Кислов и, сообщив, что к ним пришли артиллеристы, попросил чего-нибудь к ужину. Мария выдала несколько хороших луковиц, кусок сала и хлеба — все остальные припасы хранились у командира взвода. Она понимала Жилина: когда пришли гости, да еще после такого дела — при раздаче обеда об этой вылазке противотанкистов говорил весь батальон — он не может прийти к ней сразу. И тем не менее ей было необычайно грустно. После того горячего вечера, ее исповеди и Костиного сочувствия, он стал ей еще дороже и ближе, хотелось постоянно быть возле него, возможно, даже помочь в чем-то, а она не может даже прийти к нему, потому что они должны скрываться. Хотя зачем скрываться, если и снайперы и артиллеристы знают о ней, да и прозорливые ребята из батальона тоже ведь видят? Даже Кривоножко, когда она приносила ему обед, осведомился с улыбочкой:

— Как полагаю, вы у нас уже не скучаете? Привыкли?

Когда в избе стукнула дверь, она решила, что пришел Костя, подалась было ему навстречу, но сразу уловила, что это не Костя, и, подняв глаза, увидела Басина.

Комбат закрыл дверь, прошел и сел рядом. Она не шевельнулась, потому что с ней произошло то, что было уже однажды, — она словно окаменела.

— Послушай, ведь нельзя же так... Ты не подумай... Я, знаешь...

Она наизусть знала такие горячечные слова — ведь все время среди мужиков — и не слушала их. Но слова неожиданно иссякли. В мирной жизни Басин не отли-

чался умением ухаживать. А загрузев на войне, он потерял и нужные слова и оправдание поступкам. Он при-
молк, не зная, куда девать набухшие руки, потом Басин
ощутил ее каменность и отодвинулся и, как ему каза-
лось, долго сидел так, ощущая всю нелепость и стыд-
ность своего поведения. Стыд жег все сильнее, он ощу-
щал ее отторженность и безразличие. Он не выдержал
и, сказав: «Извините», ушел.

Как всегда, он обошел передовую, потом долго си-
дел в землянке, отвечал на звонки дежурного по полку,
а когда под утро позвонил командир полка и осведо-
мился о положении на передовой, Басин сказал то, о
чем он думал последнее время, но не решался сказать,—
в эти тяжелые для него предутренние часы даже отказ,
даже ругань командира были ему нужны, он мстил
самому себе.

— Товарищ подполковник, у меня все в порядке за
исключением одного: надоело сидеть и ждать, когда
фрицы начнут оттаивать.

— Постой, постой... На дворе оттепель — им мерз-
нуть вроде не сезон.

— Нет, серьезно! Сколько можно корпеть в земле?
Пора и готовиться.

— Вот что, капитан, когда и к чему готовиться —
нам укажут. А пока делай свое дело.

— Вот я и собираюсь делать свое дело — начну го-
товить людей к наступлению.

Командир полка помолчал и резко ответил:

— Разговор не телефонный. Завтра в полдень явись,
и я с тобой поговорю. У меня все.

Басин усмехнулся — вот и нарвался на неприятность.
Добился. Но, как ни странно, ему стало легко — болью
вышибал боль. Хотелось пить, а в котелке не осталось
холодного чая. Постоянного связного он так и не подо-
брал, а посылать на кухню телефониста не хотелось:
Басин не любил отрывать людей от их прямого дела.
И он поднялся и пошел на кухню, зная, что если встре-
тит Марию, то извинится перед ней...

Из кухонной землянки слышался звон металла.
Толкнув дверь, Басин увидел Кислова, а уж потом по-
вара. Мгновенно вспомнились зобовские слова о нете-
ряющихся снайперах, вспомнилось, что однажды он уже
гонял Кислова из этой землянки, и сразу решил, что в
его ночном позоре виноват и этот странный парень, на
защиту которого он встал в первый день своего пребы-

вания в батальоне. Ведь вот как иногда мстит жизнь — Басин спасал Кислова, а Кислов перешел ему дорогу.

Боль, внезапная ревность перехватили дыхание, и он готов был натворить что-нибудь очень плохое, но великий дипломат повар увидел раздувающиеся ноздри комбата и залепетал:

— Вот, товарищ капитан, противень делаем. Для пассировки. А то сковородка одна — Мария не управляется.

Тут только комбат увидел, что на краю стола лежал лист железа, а Кислов держит в руках деревянный молоток — киянку. Басин кивнул и спросил у повара:

— Холодный чай разыщешь?

— А может, подогреть?

Басин кивнул, присел и уставился на Кислова. Тот крутил киянку, не зная, можно ли продолжить работу. Он показался Басину достойным соперником — с правильными чертами лица, темно-русый, с мягкими серыми глазами. Впрочем, в свете чадающей лампы-гильзы цвета не разглядишь — может, глаза и голубые.

«Что ж, — вздохнул про себя Басин, — свято место и в самом деле пусто не бывает. Пока я собирался, он и... протиснулся».

От этой мысли стало поспокойней, но неприязнь к Кислову не ушла, и он недобро спросил:

— Значит, помогаете... поварихе? — назвать Марию по имени он не смог. И мысли о ней и имя ее стали для него тайными.

— Надо, товарищ капитан... — вздохнул Кислов, и лицо его стало строгим, озабоченным. — Трудно ей здесь. Ведь с утра до ночи на ногах, от плиты жаром, от двери холодом. — Он доверительно, как на сообщника, посмотрел на капитана. — Вообще, женщине на передовой... делать нечего.

— Это ж почему?

— Одно, что ей трудно, — ни постираться, ни себя обиходить: мужик, он и есть мужик: в случае чего и перебьется. Второе, организм у них не тот, он мягче, податливей. Застудится, надорвется, особенно если нервы сорвет — на всю жизнь калека. А не калека, так потом дети расплатятся. И третье — себя соблюдать ей тяжело. Ведь нет прохода, кругом же наш брат, и все — голодный.

— И вы тоже? — говорить Кислову «ты» капитан не мог — он всегда уважал противников и соперников.

— Я — другое дело... — потупился Кислов.

— Это ж почему? — насторожился Басин. Особой откровенности от Кислова он, конечно, не ждал, но как и чем будет оправдываться этот пройдоха, ему было интересно.

Никому другому Кислов не сказал бы то, что сказал, но перед Басиным он не мог ни скрытничать, ни тем более лгать. Басин для Кислова был первым и главным человеком среди всех остальных — он помнил поведение комбата, помнил, как он поддерживал и тем спас Кислова, он видел, как живет комбат...

— Я жену... очень люблю, — сказал Кислов застенчиво. — И по ней всех женщин меряю. — Басин не понял его, и Кислов разъяснил: — Я ж видел, как она мучилась, когда носила, когда рожала — а ведь у нас трое. (Басин сейчас же вспомнил: да-да... точно, у Кислова трое детей, и сразу же в нем что-то сменилось; представить себе, что отец троих детей может стать любовником, он не мог. И не только потому, что такой человек и сам сдержится, а потому, что соперники не дадут — затюкают). Надо мной и в селе посмеивались — бабе волю даешь. Ну, я, правда, старался ей помочь... Чем мог. Стирать, конечно, не стирал, у печи не мытарился, но корову доил, на огороде возякался и, главное, за домом следил, чтоб ей удобно было. Чтоб она силы экономила. Женщине, детной конечно, много сил нужно. Вот я и других... по своей примеряю. Я тут помогу, а другой, может, моей поможет — ведь не все мужики только об одном думают. Ведь и для нас тоже... дети главное.

И опять тревожное, стыдное, но уже совсем иное, чем прежде, стало нарастать в Басине, и он спросил:

— А у нее что ж... дети есть? — спросил, хотя и понимал, что не могла же она от детей уйти на фронт.

— Я у нее не спрашивал... Но у нас тут сапер один, Глазков, жилинский дружок, они в доме отдыха познакомились, рассказывал: дочурку у нее убили. И муж сгинул. Вот она и пришла... сюда... И я это понимаю.

Кажется, начинал понимать это и комбат. Потому он и вовсе возненавидел себя — куда полез, женатый и детный? С собой не можешь справиться, а других судишь и даже ревнуешь? Черт! Сорокот несчастный!

Он ругал себя мысленно, но легче ему от того не становилось, и Кислов смотрел в его темное, иногда передергиваемое мелкими гримасками-судорогами мрач-

но-красивое лицо и, конечно, не понимал человека, которого он любил и уважал.

Вошел повар, поставил кружку чая: «Это я из термоса, тепленький», — положил сахар и оранжево-коричневый свежий сухарь.

«Что ж это получается, — думал Басин, — отец трех детей живет и здесь своей семьей, своими детьми, а я ведь тоже отец двух детей... Я, выходит, хуже?»

Как-то мало думал Басин о детях... Думал, конечно, думал, иногда с умилением, иногда с тревогой, но вот так, практически, с переносом своих мыслей и чувств на других, неизвестных ему, он не думал. Он искал сейчас оправданий себе и находил их. С утра до ночи на заводе, придет усталым — дети ухожены, ведь там и жена и мать, ну, поиграет с ними, в редкий выходной иной раз погуляет, но вот так облегчать жизнь жены и детей, надо честно сказать, этого он не пробовал. Он работал. И жена работала, и его мать работала. А дети росли. Все было правильно. И вот оказывается, не все было правильно тогда и неправильно теперь.

— Послушайте, Кислов, вы ведь, кажется, собирались на шофера учиться?

— Так точно, товарищ капитан, — радостно откликнулся Кислов: помнит его капитан. Все помнит. — Я ведь как думаю: ну а вдруг не убьют? Вернемся мы с войны, все ж разрушено. Кто восстанавливать будет? Опять же мы — других не предвидится. Одними руками в тот час не обойдешься. Механика потребуется. Значит, надо загодя готовиться. Или так — вернусь покалеченным, горбом многого взять не смогу, а детей поднимать все равно потребуется. Вот тогда опять же техника пригодится — не за руль, так в гараж... лишь бы руки были целые. Без ног еще кое-как обойдешься. Ну а если руки не станут? Голова останется. Значит, ее загодя нужно тренировать. Я ведь и в снайперы зачем пошел? У них думать нужно, все время головой работать.

Повар видел, с каким внутренним напряжением слушает Басин, и сейчас же поддакнул Кислому:

— Это верно — думать нужно. И ремесло надо иметь. Ведь как надо мной смеялись — бабским делом занялся, поваром стал. Ан, видишь, пригодилось. Ремесло всегда себя оправдает...

Басин прихлебывал теплый, терпкий чай. Голова светлела, покаянные думы слабели, и он милостиво предложил:

— А вы работайте, Кислов, стучите.

Кислов опять застенчиво усмехнулся:

— Я, товарищ капитан, не умею так — языком и руками. Что-нибудь одно.

Повар недовольно покосился на капитана: нашел время за жизнь беседовать. Басин перехватил взгляд и сейчас же отомстил:

— Принесите-ка нам чайку.

Повар ушел, и комбат, поерзав, задал самый важный для себя вопрос:

— Как думаете, Кислов, она... завела кого-нибудь?

Кислов взглянул на него укоризненно — разве ж в этом дело? Потом густо покраснел — Жилина он выдавать не мог, потому что, после капитана, Жилин был вторым для него человеком здесь, на фронте, и еще потому, что не мужское это дело — выдавать чужие тайны. И он твердо, излишне твердо ответил:

— Не знаю, товарищ капитан. О таком, да еще в этих местах — не докладывают.

Кажется, это был последний удар, который принял капитан Басин. Он даже ругать себя не стал — все равно кругом не прав. Он только покорно согласился:

— Это верно.

Пришел повар с кружками, но к чаю никто не пригнулся. Басин, понурившись, сидел как бы в стороне, и повар, неодобрительно покосившись на него, кивнул Кислову — начинать. И Кислов принялся за работу. Повар ему помогал.

Звенел металл, ухала киянка, но Басин, кажется, ничего не слышал. Мысли шли слоями — одни о Марии и своей бессовестности по отношению к жене, детям, и мысли о главном в его жизни — войне, положении дел и в полосе батальона и полка, и выше, выше... И потому, что главным в его жизни все-таки была не семья, ценность которой он только что ощутил с такой силой, а дело, которому он служил и через которое служил и семье, мысли о Марии и собственной казни постепенно ушли, и он думал только о войне. Но, видно, где-то в глубине, подспудно зрела и еще одна мысль, которую он высказал перед самым уходом, когда уже окрепли главные решения:

— Слушайте, Кислов, идите ко мне связным. И думать научитесь и... просто подучитесь.

Кислов отложил киянку и опять жгуче покраснел — он не мог представить, что его, все ж таки штрафного,

так приближает к себе комбат, но уже в следующую секунду ощутил, что не может покинуть ребят,— это ему и им, наверное, покажется предательством, трусостью. Да и не мог он представить, как это он будет управляться с такой должностью, в которой обязанности личного охранника, посыльного, адъютанта и просто обслуги переплетаются и дополняют друг друга. Басин словно понял его состояние и добавил:

— А охотиться вы сможете в свободное время. Как это делал Жилин.

Что ж... Жилин действительно делал именно так. И все понимали тогда Жилина: с комбатом они вместе отступали, и Жилин не раз спасал ему жизнь. А тут — наоборот. Комбат спасал Кислова, и не согласиться Кислов не мог... Слишком он уважал Басина и Жилина.

— Слушаюсь, товарищ капитан. Как прикажете.

— Вот и собирайтесь,— кивнул Басин.— Сегодня же доложите Жилину.

Кислов остался доделывать противень — бросить незавершенную работу он не мог,— а Басин вышел.

Светало. Под ногами хрустел кружавчатый после утренника снег. Еще морозило, и воздух стал крепким, бодрящим. Неподалеку от землянки снайперов комбат увидел Марию и Жилина. Они стояли посреди тропки и разговаривали. Мария вдруг провела рукой по лбу Жилина и по его плечу. От этого жеста Басину стало не по себе, но он уже нашел в себе силы просто усмехнуться.

Ну, конечно же! Его соперником мог быть только Жилин. Сумел захоронить женщину в доме отдыха, и она прибежала за ним. И даже зависть не пришла, даже обиды.

Прежде чем идти к командиру полка, Басин решил поговорить с Кривоножкой. Тот стоял у своей землянки. Его круглое полное лицо казалось напряженным. Комбат с интересом наблюдал за ним. После присвоения звания замполит сильно изменился — стал поспокойней, собранней, отвечал не сразу. Он словно ощутил свою силу, освоил свое место в этой жизни, и оно ему понравилось.

Кривоножка увидел Басина, но навстречу ему не спешил. Он уже понял — все равно придет комбат к нему, придет. И звания сравнялись, и само его место, партийное место, требует уважения. Не нужно только

спешить, не следует выставляться. А ждать Кривоножко научился.

— Слушаем?— наконец спросил Басин.

— Ага. Но еще и нюхаю,— кивнул Кривоножко.

Комбат тоже прислушался и втянул поглубже острый дух. Стекающий с занятых противником высоток холодок нес с собой тонкий, удивительно знакомый аромат. Память подсказывала, что с ним, с этим ароматом, должен соседствовать и другой, с детства знакомый запах. Но какой именно?..

Кривоножко искоса наблюдал за комбатом и в нужный момент напряженных раздумий-угадываний сдержанно сообщил:

— Полагаю, фрицам подарки привезли.

— Какие подарки? Почему?— Он всегда был уверен, что фрицы—грабители, а разве ж грабителям что-нибудь дарят?

— Сочельник... Завтра у них рождество.

— Верно...— кивнул Басин.— Завтра. А пахнет мандаринами.

— Надо нам людей нацелить... Немцы с пьяных глаз могут на всякое пойти.

Они помолчали, вдыхая тонкий аромат. Басин вздохнул и спросил:

— Слушай, капитан, тебе не кажется, что пришло время не только о бдительности подумать, но и о наступлении?

— Кажется,— кивнул Кривоножко и заговорщицки, но с малой долей превосходства, спросил:— И вы думаете, с чего начать? Сразу роту выводить в тыл на занятия или начинать со взводов?

Басин с интересом посмотрел на Кривоножко.

Замполит мыслит как строевой командир. Как и он, комбат. Правильно Верховный одним махом сравнивает всех командиров новым званием? Ведь Кривоножко год воевал. Год! И—комиссаром. Он не мог не научиться мыслить по-командирски, хотя, вероятно, и не сознавал этого: заедали свои дела. И вот—жизнь, отношения оборачиваются новыми гранями.

— Примерно так...—словно испытывая замполита, сказал Басин.

— Так вот. Мне думается, нужно начинать с Мкрыт-чана. Брать взвод от него.

— Стык с соседним полком...

— Вот! Там у соседа резерв. А рядом — Зобов. И снайперов туда.

Кривоножко мыслил грамотно, говорил смело, как истинный офицер, думающий и потому отвечающий не только за свое дело, но и за весь батальон.

— Ну что ж... Так я и доложу подполковнику. Скажу... Что у нас — одно мнение.

— Разумеется, — весело ответил Кривоножко. — И — нужно подготовиться...

Первый раз Басин с чувством признательности взглянул в глаза Кривоножко и первый раз протянул ему руку, словно скрепляя пришедшее к ним новое чувство.

Конец начала

Глава первая

Под новый 1943 год командир полка вызвал командира третьего батальона капитана Басина и замполита того же батальона Кривоножку и, недовольно посапывая, сказал:

— Комдив разрешил вам в порядке опыта вести боевую подготовку стрелковыми взводами. Представьте план занятий и план боевого обеспечения передовой.— Подполковник поерзал, посопел и обратился к своему заместителю по политической части:— У тебя вопросы есть?

— Вопросов нет, а план политзанятий необходим,— ответил майор и улыбнулся так, словно хотел сказать батальонному начальству: не трусь, ребята, вы своего добились.

Оба капитана сказали «есть» и оба протянули листы бумаги с планами, предусмотрительно проложенные копирками,— каждый своему начальнику. Командир полка и его заместитель внимательно прочли эти планы и расписались в верхних правых углах: утвердили. Подписывали по-разному: майор сразу, а подполковник несколько раз посмотрел в мутное окошко, потом на капитанов, вздохнув и поерзав, наконец, решился.

— А с пулеметчиками что будешь делать?

— Они, товарищ подполковник, проходят подготовку как кочующие огневые точки. В сущности, одно и то же...

— Снайперов своих передашь в роты?

— Зачем? Они, во-первых, часть моего резерва, а во-вторых, им всегда нужна свобода маневра. Зачем же их сковывать?

— Свобода... свобода,— проворчал командир полка.— В демократию играешь, а они у тебя... по бабам шастают.— Почувствовав возможную неприятность, Басин нахмурился, а командир добавил:— Есть такие сведения.— Наклонился вперед, испытующе вглядываясь в

комбата.— Скажи мне, Басин, по совести — зачем ты эту учебу затеял?

— Ну... во-первых, батальон за счет пополнения почти наполовину состоит из бойцов и сержантов... да и средних командиров, которые в настоящем боевом наступлении не участвовали. А то, чему учились в запасных полках и в училищах — забывается. Во-вторых, людям нужно хоть немного отвлечься, сменить обстановку. Все время сидеть в траншеях, в земле... скучновато. А во время боевой подготовки они и отдохнут... морально и отоспятся. А в-третьих, сами знаете — за нами Москва, а противник к ней непозволительно близко. Все равно будем наступать. Вот такие основные причины... нашего предложения.

Подполковник встал — небольшого роста, полнеющий, с сумрачным и нездорово-серым круглым лицом, чем-то напоминающий Кривоножко, — походил и опять сел.

— А ты, капитан, не думал, что то же самое знает и высшее начальство и что в армии есть такой обычай — время от времени менять боевые части. Одни отводятся в тыл для пополнения и соответствующей подготовки, а другие выдвигаются на передний край. И вот если твой опыт удастся, то полк будет торчать на передовой до... морковкиных заговен. Начальство скажет: а зачем ему отдыхать? Он, понимаешь, и так себе курорт устроил, боевой подготовкой занимается...

Басин и Кривоножко переглянулись — такого оборота они не ожидали. Их смущение, кажется, даже понравилось командиру полка, потому что в его узких, глубоко сидящих глазах мелькнула усмешка.

— Вот так, товарищи, и об этом следует думать. А то как вы там, у себя в вотчине, считаете: мы здесь воюем, а начальство задницы греет и ни о чем путном не думает.

Басину не понравилась командирская шутка. Он подтянулся и сказал:

— Можно, товарищ подполковник, и по-иному рассуждать...

— Это ж как еще?

— Начальство может и так сказать: зачем этот полк отводить? Народу в нем много, участок знает как свои пять пальцев — почти год в обороне сидит, — отдохнули, пускай разомнутся. Прорвут оборону противника, а мы для развития успеха пустим уже тренированные для

наступления части. Не знаю, как в этой дивизии и в этой армии было, а там, где я раньше воевал, случилось именно так.

Ради справедливости подполковник кивнул:

— Бывает и так. А бывает и так, как я сказал. Кто ж угадает?

— Мы угадывать не хотим. На юге наши разворачиваются, значит, и здесь пойдем.

— Ладно. Планы утверждены — действуйте. Но только знайте, если что... так не обижайтесь. И на будущее помните, что думать не только о себе нужно...

Капитаны ушли и уже на воле переглянулись и усмехнулись. Кривоножко сказал:

— Удивительная закономерность — всякий начальник убежден, что его подчиненные живут припеваючи, а одному ему трудно.

— По себе знаете? — засмеялся Басин.

Кривоножко вначале не понял комбата, а потом тоже засмеялся.

— Верно. Всегда кажется, что в ротах можно сделать гораздо больше того, что сделано.

Из ближней землянки вышел связной комбата Кислов и выжидающе остановился. Басин приказал ему остаться греться, а сам пошел по отделам штаба — где-то что-то выклянчить, где-то уточнить, где и оправдаться. Кривоножко подался в политчасть за материалами для политинформаций и занятий.

В батальон они вернулись за полдень и сразу же приступили к делу — вызвали саперов и приказали отрыть окопчики на опушке роши за кладбищем, сделать поясные мишени, соорудить и установить чучела для рукопашного боя, вытребовали ружейного мастера... Штаб батальона закрутился, забегали посыльные, и только старшина, командир хозвзвода, кругами, нерешительно бродил вокруг начальства, выбирая нужную ему паузу. Когда она выпала, он почтительно спросил у Басина:

— Новый год отмечать будем? Или как?

— Или как, — ответил Басин. — Отметим завтра... или послезавтра. А сегодня — повышение бдительности.

— Считаете, фриц может полезть?

— Возможно... А вы не считаете?

Старшина помотал головой.

— Мы ему сочельник не портили, он, я считаю, это понимает и нам. Новый год не испортит.

— Откуда у вас такие сведения? — нахмурился Басин:

— Не сведения. Пример. На ДОПе¹ ребята рассказывают: у наших соседей — сзади болото. И у фрицев за Варшавкой тоже болото. Где воду для кухонь брать? А на ничейке хуторок сожженный и — колодец. Так у них там вроде расписания. В шесть утра наша водовозка берет воду в колодце, в семь — ихняя. У них распорядок дня другой, они поспать любят. И никто в эти два часа по хутору и водовозкам не стреляет — ни они, ни мы. После восьми — пожалуйста. Так же и вечером.

— Черт знает что! — возмутился Басин. — Перемирие какое-то устроили! Выдумываете, наверное?

— Зачем выдумывать? Так рассказывали. Суп да кашу всем варить надо. И фрицы понимают — время ихнее прошло, ни сил, ни умения отсунуть нас от колодца у них уже нету, вот они и признали равноправие. Перемирия никакого нет, а равноправие установилось, и они это чувствуют. Вот и считаю — раз мы им рождество не испортили, тихонько просидели, они тоже нам Новый год не испортят. Мы им сознательность уже вбили. — Старшина сдержанно, дипломатично улыбнулся. — Теперь остается мозги вправить.

Басин остыл, но приказа своего не отменил.

Забегал Кривоножко — веселый и азартно возбужденный:

— Ну, можем ждать сабантуя.

— Это ж по каким данным? ОБС — одна баба сказала?

— Представьте себе, эта самая баба — персонально я. Снайперы натворили дел. — Басин тревожно посмотрел на Кривоножко, но тот был весел, и, значит, неприятностей не предвиделось. — Они, понимаете, взаимодействовали с зобовскими пушкарями, а те всадили несколько снарядов в наблюдательный пункт. А там, видимо, сидело начальство. Противник заметался, забегал, снайперы стали расстреливать и увидели, что в укрытии стоят легковые автомашины. У них же и с минометчиками налажено взаимодействие, и минометчики открыли огонь. Мин у них мало, так они только

¹ ДОП — дивизионный обменный пункт. Сюда части привозили тару и отсюда снабжались.

и выпустили две серии. А машины и загорелись. Я представляю, как озвереют фрицы,—побили явно солидное начальство.

Он не успел закончить рассказ, потому что неподалеку от штаба батальона рывкнули тяжелые снаряды, потом разрывы прокатились в стороне. Артиллерийско-минометный обстрел все усиливался, но он не сливался в единый, слитный рев артиллерийской подготовки наступления. В паузах слышались короткие пулеметные очереди.

В эти секунды в Басине все как бы сошлось в одну точку — следовало принимать решение. А чтобы его принять, нужно понять замысел противника.

Можно великолепно кончать сержантские школы, военные училища или академии, но пока не ощутишь конкретного противника в конкретных условиях, не узнаешь его повадок и хотя бы примерного расположения его боевых порядков, правильного решения не примешь.

Басин рассуждал примерно так: артналет явно случайный, словно по тревоге. Вражеские артиллеристы определенно рыскают — тяжелая батарея ударила по расположению штаба. (Вспомогательная мысль: все-таки нужно завершить лысовскую задумку и сменить и КП и НП — противник, кажется, кое-что нащупал.) Ясно, что КП для нее цель номер один, но — плановая. Прошло уже больше минуты, а повторных разрывов снарядов нет, значит, огонь перенесен: ведь для перезарядки орудий требуется меньше минуты. Разрывов в тылу, на артиллерийских и минометных позициях, нет, противник ведет огонь только по переднему краю. Значит, серьезных намерений у противника тоже нет. Иначе он обязательно постарался бы обезвредить артиллерию. Судя по паузам — противник выводит огонь на какие-то ему одному известные цели или стреляет по тем, которые ему кажутся опасными в данный момент. (Вспомогательная мысль: пусть командир минометчиков — у него есть разведчики — составит схему этих разрывов: нужно знать, какие наши точки и объекты вскрыты противником, пристреляны им.) В паузах ведется пулеметный огонь — при настоящем наступлении фрицы вести огонь не будут, они выждут, пока отработает артиллерия, а уж потом пулеметами прикроют выдвижение пехоты. Сама пехота днем располагается метрах в ста, а то и дальше от передовой траншеи. Пока она подни-

мется по тревоге, пока займет свои места и приготовится к атаке — пройдет немало времени.

Все эти, лежащие на поверхности, факты и выводы заставили Басина принять два первых решения. Он приказал телефонисту связаться с приданными и поддерживающими артиллеристами и минометчиками и отдал приказ:

— Ответного огня не открывать!

Что артиллеристы и минометчики уже изготовились к бою, в этом он был уверен. Своим ротам, в том числе и минометной, он приказал:

— Приготовиться к отражению атаки! Людей из укрытий не выводить!

Зачем подставлять их под удары, если еще не все ясно? На переднем крае есть дежурные наблюдатели и пулеметные расчеты, есть дежурные взводы, и если противник поднимется в атаку, роты успеют занять свои места в первой траншее.

Пока он думал и приказывал, слух автоматически отмечал перемещение разрывов, и постепенно стало понятным, что основной огонь сосредоточивается где-то возле стыка восьмой и девятой рот — как раз там, где, как докладывал командир снайперского отделения сержант Жилин, и должны были действовать снайперы и где артиллеристы-противотанкисты старшего лейтенанта Зобова оборудовали свои временные огневые позиции. Пожалуй, все становилось на свои места — снайперы и артиллеристы, кажется, подстрелили большое начальство, и противник прикрывает эвакуацию его остатков, а может, и останков, в тыл.

Можно, конечно, приказать открыть ответный огонь и помешать этой эвакуации, только зачем? Открыть свои огневые и тем самым помочь противнику уточнить их? Израсходовать боеприпасы, которые приказано беречь и экономить? Наконец, показать противнику, что сил на этом участке много, и, значит, привлечь его внимание к девятой роте, из которой и собирались выводить взвод для боевой подготовки? Нет уж... Пусть противник считает, что произошел лишь несчастный случай, а во всем остальном мы соблюдаем... перемирие? Нет, конечно!.. Разумное равновесие.

Зазуммерил телефон, и телефонист молча передал комбату трубку.

— Что у тебя там творится? Где точно? — загредел командир полка.

— Бьют по стыку девятой и восьмой роты...
— Ты взвод из девятой уже вывел?
— По плану — с завтрашнего дня. Так и сделаем. А бьют потому, что снайперы и артиллеристы лупанули немецкого генерала и его свиту. Вот фрицы и взбеленились.

Басин говорил отрывисто, грубовато, и это «лупанули» прозвучало как вызов. Но он знал командира полка и верил, что этот, граничащий с грубостью, тон сделает свое дело. И он сделал. Подполковник помолчал и с долей ехидства спросил:

— А ты откуда знаешь, что генерала? Лампасы видел?

— Две легковые машины сожгли. А кто ж, кроме генералов, на НП на машинах ездит? У нас с вами таковых не имеется.

Подполковник опять помолчал и уже миролюбиво осведомился:

— Что предпринял?

— Приказал приготовиться к отражению атаки, огонь открывать запретил, людей в траншею пока не вывожу. Сажу и жду, что будет дальше.

— Что ж... Жди. Докладывай!

— Так точно! Доложу!

Огонь противника то усиливался, то ослабевал. Связной комбата Кислов несколько раз выскакивал из землянки на взгорок, рассматривая участок, на котором бушевали разрывы, и, возвращаясь, озабоченно сообщал:

— Все там же. «Рама» пролетела...

— «Рама»? — удивился капитан Басин. — Этакое внимание. Это что-то серьезное. Послушайте, — обратился он к замполиту, — вы здесь давно — отмечалось посещение обороны противника высшими чинами?

— Не замечали...

— Вот и я думаю... Наступать собрались? Вряд ли... Позади нас... болота, лес. Зимой, конечно, можно, но ведь дороги... оттепели... Нашего наступления боятся? Так они ж тоже не слепые... Самое большое, чего мы могли добиться своей активной обороной, так это создать впечатление у противника, что нас не растянули, что мы занимаем нормальные участки. Да и мы видим, что они ничего не подтягивали. Что-то тут странное...

Они гадали и прикидывали, что же все-таки происходит, когда опять позвонил командир полка:

— Басин, ты откуда взял, что ваши генерала лупа-нули?

— Я уж объяснял — легковые машины, вот этот фейерверк. Он же бесполезный. Рассчитанный на высшее начальство, на расследователей: дескать, мы приняли все меры, но — война...

— Может быть... Слушай, у меня тут тридцать второй. (О! Тридцать второй — это замкомдива!) Он, понимаешь, не верит... — Трубка помолчала, и уже иной, начальственный баритон недовольно осведомился: — За каким чертом генералу нужно было ехать в такую дыру, да еще вылазить на НП на самой передовой? Ты, комбат, об этом думаешь?

Нет, минуту назад Басин об этом не думал. Но сейчас тренированный мозг военного человека подсказывал элементы закономерности.

— Я, товарищ тридцать второй, естественно, в его замыслы проникнуть не могу, но отмечу, что в этом районе наши снайперы в свое время взорвали машину с боеприпасами. После этого там появились немецкие снайперы, которых наши сняли. Потом именно там начали действовать прямой наводкой наши орудия. В частности, там же был разбит один НП противника.

— Все это важно... с вашей точки зрения. С точки зрения комбата. А генерал, как правило, мыслит шире. — Трубка замолкла, вернее, из нее долетали отрывочные слова — замкомдива уточнял у окружающих какие-то данные.

Кривоножко воспользовался паузой и шепнул: «Наши на рассвете отметили, что противник устанавливает вдоль дороги новые маскировочные щиты». Басин прикрыл трубку и шепотом спросил: «Когда узнали? Почему не доложил?» — «Да только что узнал — мы ж в полку были, не успели доложить». В землянку вбежал Кислов и сообщил: «Фрицы стали дымовыми стрелять. Ни черта не видно». Басин подобрался. Это, кажется, очень серьезно, и закричал в трубку:

— Товарищ тридцать второй! Товарищ тридцать второй!

Ему ответил недовольный баритон:

— Что там у тебя срочного?

— Противник ставит дымовую завесу! Сейчас пятнадцать двадцать. В такое время генералы обедают, а этот прибыл на НП! Спросите у соседей, может быть, он бывал перед ними раньше. У нас отмечено возбу-

новление маскировочных щитов возле Варшавки. Цепь событий. У меня все! Я — на НП! Здесь остается замполит, адъютант старший на месте, в штабе.

Басин не стал дожидаться ответа и, крикнув: «Кислов, за мной!», схватил автомат и, на ходу надевая каску, выбежал из землянки.

Глава вторая

В этот раз снайперы и артиллеристы договорились действовать несколько необычно — бить не с утра, а к вечеру, когда противник уже свыкнется с тишиной на передовой. Поскольку целью стал наблюдательный пункт — его выслеживали долго и выследили надежно, — считали, что именно в это время в него набьется народ: солнце падет в закат и наши позиции будут хорошо освещены. Золотое время для наблюдения. Пушку артиллеристы выкатили на временную огневую загодя, в утренних сумерках замаскировали и ушли отдыхать. Снайперы охотились на участке седьмой роты старшего лейтенанта Чудинова. Два ее взвода занимались чисткой траншей и ремонтом дзотов. Их следовало прикрыть огнем.

В назначенный час снайперы по траншее второй линии перебрались поближе к крайней, девятой, роте Мкрытчана и замаскировались. Потом ползком, по снежной траншее, выползли и артиллеристы. И снайперы и артиллеристы видели, как с Варшавки свернули три легковых автомашины и пропали в кустарниках и лощинах. Прямой связи между снайперами и артиллеристами не было, но договоренность о взаимодействии имела: пушка сержанта Рябова откроет огонь только по целеуказаниям снайперов. Расчет терпеливо ждал этого целеуказания, считая, что снайперы слишком медлят.

Напряжение все усиливалось, и пушкарки уже вслух ругали жилинских ребят. А Жилин думал и рассчитывал.

Вполне вероятно, что на этот участок прибыло большое начальство: три легковушки есть три легковушки. Рядовые или фельдфебели в них не ездят. А раз прибыло большое, так оно побеседует с местным начальством. И разговор этот произойдет не на открытом месте, а в блиндаже. Жилин вспомнил, сколько времени занимали подобные разговоры, когда в их батальон прибывало полковое или дивизионное начальство. Закусывать оно не закусывало. Оно смотрело на карты, выслушивало

объяснения комбата или командиров рот, потом желало осмотреть передовую и обозреть позиции противника. Комбат и комиссар вели прибывших по самому надежному маршруту, на самый надежный наблюдательный пункт, попутно организуя прикрытие. На всякий случай. Именно так, скорее всего, поступал и противник...

И действительно, Жилин увидел мелькание касок над ходами сообщения — дежурный взвод занимал позиции; хлопнули двери дзота — отозвали с отдыха пулеметчиков. Потом невдалеке от наблюдательного пункта мелькнули тени, похожие на поясные мишени. В любое иное время и Жилин и другие снайперы обязательно стреляли бы по этим теням-мишеням. Но сейчас все молчали и все злились на Жилина: отчего он не стреляет?

А Жилин считал.

В блиндаж наблюдательного пункта прошло двенадцать человек: местного начальства столько и не наберется — значит, наверняка припожаловали приезжие. И наверняка со свитой. Вряд ли появятся новые: блиндаж не вместит.

Теперь следовало чуть подождать, пока все эти люди приложатся к стереотрубе (по блеску ее стекол и был засечен НП), пока сверятся с картой — словом, успокоятся в обычной боевой работе. Жилин дождался минуты три, еще раз внимательно осмотрел свое рабочее место — снежный бруствер, расчищенную площадку, на которой лежали три патрона с пулями, имеющими красный трассер, ногой нащупал подобранную накануне ржавую каску. Потом затаил дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Винтовка привычно ударила в плечо, пенек оптического прицела подскочил над темной щелью вражеского НП. Зеленая трасса погасла как раз под этой щелью. Жилин по привычке быстро перезарядил винтовку и опять выстрелил пулей с зеленым трассером.

В эти мгновения сержант Рябов негромко командовал: «Расчет, к бою», и пушкири бросились к уже заряженному оружию. Наводчик видел трассу и сразу подвел перекрестие панорамы-прицела под щель. Когда там погасла вторая трасса, Рябов, опять негромко, командовал: «Огонь!»

Первый снаряд потянул за собой алую трассу, и она сразу же скрылась в щели наблюдательного пункта. Звук разрыва — глухой, утробный — донесся до

Жилина, а дыма и огня разрыва так никто и не увидел — видно, амбразура была плотно прикрыта телами...

Артиллеристы работали в бешеном темпе, и пушка стреляла почти с такой же скоростью, как зенитная, автоматическая. После четвертого снаряда они впряглись в ляжки, навалились на щит, на колеса и поволокли пушку за гребень высоты в лощину...

Жилин видел, как после второго разрыва от вражеского НП кто-то, размахивая руками, бросился к дальним кустарникам. Там, за кустарниками, по-видимому, в неглубокой лощине, взметнулось белое облачко: шофер завел остывший мотор. Вот тогда-то Жилин и выпустил по этим кустарникам три пули с красным трассером — сигнал минометчикам, целеуказание. И командир минометной роты на своем НП принял это целеуказание, потому что едва артиллеристы закончили свое дело, как в кустарниках встали дымно-белесые от взметенного снега бутоны минных разрывов, а потом черным султаном потянулся дым от подожженной машины.

Дело сделалось хорошо, грамотно. Жилин бросил на бруствер заранее припасенную старую каску и помчался в сторону, на запасную огневую позицию — к НП бежали солдаты противника, и заворчали пулеметы. Как было договорено заранее, подошло время остальных снайперов.

Ефрейтор Джунус Жалсанов сузил и без того узкие, чуть наискось прорезанные темно-карие глаза и снял предохранитель. Он даже не взглянул на своего нового напарника — раскрасневшегося рядового Засядько. Джунус знал, что Жилин, работавший раньше в паре с Засядько, приучил его понимать боевой замысел без слов. Засядько тоже изготовился к стрельбе, и едва Жалсанов сделал первый выстрел, как сейчас же прогремел второй.

Оба выстрела были заглушены начавшимся артобстрелом противника. Снаряды рвались левее, примерно там, где отстрелялась наша пушка и откуда так поспешно убежал Жилин. Оба снайпера били размеренно, не торопясь, и каждая пуля или выводила из строя противника, или, посвистывая возле мечущихся немцев, нагнетала панику.

Вторая пара снайперов — Малков и Кропт — засела много левее того места, откуда стрелял Жилин, непода-

леку от НП своего батальона. С открытием огня они опоздали, потому что первые снаряды — вначале тяжелые, а потом помельче — рвались совсем близко и лохмы дыма закрывали цели, которые были видны не так хорошо, как Жалсанову. Но когда противник перенес огонь поближе к брошенной каске, они тоже вступили в дело, стреляя по амбразуре работающего дзота.

Оба даже не заметили, когда к ним подполз Жилин и тоже стал стрелять, а когда противник начал ставить дымовую завесу, смолк. Дым потянуло на северо-восток, в сторону правофланговой роты Мкрытчана, туда, где находилась пара Жалсанова. Теперь они не могли видеть района вражеского НП, и Жилин помчался назад. На полдороге к брошенной им каске он выбрал в траншее местечко, с которого, хоть и неважно, но все-таки просматривались кустарники и ход сообщения, и снова открыл огонь: главное — не давать противнику опомниться, сбивать его спесь, расшатывать его уверенность в себе.

Добежавший до своего НП капитан Басин быстро разобрался в обстановке и наблюдал за событиями, не вмешиваясь в них. Он быстро оценил разумность жилинского замысла, четкость исполнения и позвонил командиру полка:

— У нас все в порядке. Но, видно, насолили фрицам.

— Слушай, Басин, так вы ухлопали генерала или не ухлопали? Доносить ведь надо.

— Мне отсюда лампасов не видно, — усмехнулся Басин. — Но на всякий случай донесите — убит немецкий полковник, оберст. А если он окажется генералом, так нашу с вами скромность могут и оценить...

Глава третья

Потребность человека в праздничной радости неистребима. В канун Нового года никто специально не сговаривался, но подавляющее число бойцов и командиров батальона стало готовиться к празднику: сэкономились стограммовки, запасалась закуска.

Там, где стоят войска, всегда найдутся заядлые охотники и рыболовы, а в ближнем опустевшем тылу в ту зиму развелось немало дичины — зайцев, рябчиков и даже тетеревов. Почему бы не пойти пристрелять винтовку, а заодно и поохотиться? Почему не сбегать на ближнюю реку, прорубить лунку и не посидеть с удоч-

кой? А если и попадешься, так всегда можно сказать, что бегал на постирушку, командир отпустил.

Кто-то попадался на этих операциях, кому-то доставалось, их понимали, жалели, хотя и знали, что иначе нельзя,— дисциплина. Но, понимая, все равно рисковали и «химичили» сами, потому что жажда праздника была сильнее.

Занятый раздумьями о будущем, капитан Басин просмотрел нарастание этих настроений, но быстро приспособившийся к новой обстановке капитан Кривоножко их уловил. Он по опыту школьной жизни знал и жажду праздника, и соревновательный настрой ребят и знал, что, запретив школьный праздник, сделаешь только хуже. Праздник состоится — раздробленный, смятый — на квартирах, в подворотнях, на чердаках и обязательно превратится в неприятности. Вот почему, когда командир хоззвода загодя выяснял мнение замполита о праздновании Нового года, Кривоножко ответил неопределенно:

— Время еще есть... Посмотрим, как сложатся дела. Но вообще-то...

Когда Басин запретил эту подготовку, а старшина сообщил об этом Кривоножко, тот грустно улыбнулся, как человек, который отлично видит промахи начальства, но в силу своей подчиненности не может или не имеет права исправить их.

— Ладно, старшина. Новый год мы отменить не в силах. А приказ командира есть приказ, и мы его выполним... Но если позволит обстановка... То почему же нет?

Они заговорщицки рассмеялись, и старшина, как и многие другие в последнее время, убедился: замполит в общем-то хороший мужик. Понимающий...

В сумерках снайперы выбрались с передовой, а капитан Басин остался на НП. Его беспокоило оживление противника. Можно было ждать его мести. Но пока он, Кислов, связисты и наблюдатели следили за противником, постоянно перезваниваясь с командирами рот и приданными артиллеристами,— жизнь шла своим чередом.

Бойцы выходили на ночное дежурство в траншеи и дзоты, как никогда, деятельные и веселые — слух о том, что снайперы, артиллеристы и минометчики ухлопали немецкого генерала, веселил и наполнял гордостью. Правда, поближе к полуночи слухи обросли такими

подробностями, что услышь эти байки артиллеристы, они бы возмутились: получалось, что они вроде и ни при чем. Впрочем, если бы пехота слышала то, что говорилось среди артиллеристов, она бы тоже возмутилась,— выходило, что снайперы и минометчики только ахали и мешали: затаили целеуказание, прикрыть пушкарей от огня противника не сумели и сейчас тоже молчат, как будто в рот воды набрали,— того и гляди, противник испортит праздник.

Глава четвертая

После ухода Кислова из отделения домовитый порядок снайперов нарушился, хотя Кислов и помогал чем мог. Когда отделение вернулось в нетопленную землянку, приподнятое, праздничное настроение угасло, пробилась обида неизвестно на кого и на что.

Когда разожгли светильник и Малков, чертыхаясь, начал растапливать печь, всегда молчаливый и потому, должно быть, незаметный, бывший партизан и связист Алеша Кропт обратился к Жилину, кажется, с первой за все время пребывания в снайперском отделении просьбой:

— Разрешите отлучиться на полчаса, товарищ сержант?

На него посмотрели с удивлением и даже с осуждением: после такого боя, перед самым праздником следовало бы побыть вместе, а он отрывается, у него какие-то особые дела... Жилин поморщился, но кивнул — идите. Костя не любил доставлять людям неприятности, он был уверен, что сделать людям хорошее всегда и легче и приятней, чем сделать плохое...

Когда Кропт ушел, Костя грустно усмехнулся:

— Ну вот, добровольцы-москвичи, равно как и комсомольцы, и остались мы старой компанией. И нет за этой компанией ни догляду, ни, обратно же, заботы. Как будем встречать Новый год?

— Как его встретишь?— злился Малков, раздувая огонь под загодя не просушенными дровами.— Мама с папой не предвидится, в магазин не сбегаешь. Поужинаем — и на боковую.

Джунус грустно усмехнулся и стал закуривать, а Засядько отвернулся — ему вспомнился дом и школьная елка.

— Ну, сознательность, ну, крепкое моральное состояние: чуть что — разнюнились,— притворно-сердито

причитал Костя.— Вместо того чтобы повышать бдительность, они собираются дрыхнуть. Не пойдет! У кого что есть в заглазниках?

А что могло быть в заглазниках у снайперов, которые каждый день выходили в бой?

— Понятно... Старшин из вас не получилось. Я, видно, тоже не выдвинулся. Хотя, может, до каптенармуса и дослужусь.— Костя достал свой вещмешок и вынул из него неполную фляжку с водкой и банку американской тушенки. В дни его наивысшей славы, после возвращения из дома отдыха, эти богатства подбросил ему командир хозвзвода. У Кости хватило ума не сразу передать их в общий котел.— Остальное приложится. Засядько! Смотайся-ка к Марии и попроси маленько картошки. Кое-что сварганим. Джунус и я — за приборочку. Порядочек должен быть, как в гвардии...

— А какой порядок в гвардии?— спросил Малков.

— Опытно-показательный. Гвардия — носитель передового боевого опыта. Понятно?

Что-то стронулось в отделении. Разгоралась печка, и ребята словно оттаивали. Стали перестилать нары, подметать, но тут вернулся растерянный Засядько и сказал:

— Картошки не дали...

— Кто не дал?— замирая от недоброго удивления, спросил Костя.

— Мария... Говорит, нечего вам возиться.

— Она что, сама приготовит?

— Да... нет... Просто она сказала, чтоб мы не возились. Что надо — сделается...

Ребята оценивающе оглядели растерянного Засядько, но так и не решили — радоваться им или сокрушаться.

— Она сказала — готовьтесь там...

— Ну и черт с ним!— рассердился Костя.— Раз не разжился картошкой — валяй вон с Малковым в лес, нарежьте лапника...

Засядько с Малковым стали натягивать полушубки, но в дверь постучали валенком.

— Кто там еще?— спросил Малков.

— Открывай, руки заняты!— крикнул из-за двери Кропт.

Он вошел в землянку задом, чтобы ногой прикрыть дверь, а когда обернулся, то оказалось, что под мышками у него зажаты свертки, а в руках он держал ма-

ленькие елочки. Аккуратно разложив елочки на нарах, кинув на стол свертки, Алеша стал вынимать из карманов блестящую катушку, разноцветную проволоку и бумагу. Снял полшубок и скромно сообщил:

— Вот...

— Что — вот? — нарочито серьезно спросил Костя.

— Все для елки.

— Что все?

— Бумага и проволока на игрушки. И серебряная бумага. Из микрофарад.

— Это что еще за микрофарადы?

— Это, товарищ сержант, конденсаторы большой емкости. Они делаются из станиоля. А станиоль — это тонкая-тонкая, вроде папиросной бумаги, блестящая лента. Серебряная. И на игрушки и так... вообще. А вот здесь, — Кропт пошевелил сверток побольше, — заяц. А вот это, — он похлопал по свертку поменьше, — компот.

— Черт! — восхищенно протянул Костя. — А ведь ты похлеще Кислова. Но откуда компот?

— Я, ребята, зайца недавно убил. Во время тренировок. Шкурку содрал, а тушку закопал в снег. До Нового года. Шкурку отдал командиру хозвзвода второго батальона — у них там свой скорняк есть. А мне за это компот. А все остальное ребята из взвода связи выдали.

— А как же твоего зайца никто не слопал? Мышей же до черта, да и так... вообще... хищники.

— Так я его по-партизански хранил: облил водой, обморозил, а лед никакие мыши не прогрызут, а хищники не учуют.

— Ну, знаете ли, товарищ Кропт, я даже не представляю, что с вами делать! — Костя обвел взглядом отделение. — Ведь придется его качнуть. А?

И ребята, преодолевая веселую оторопь и попадая в тон командиру, почти серьезно согласились с ним — качать нужно. Заслужил! Но Кропт тоже попал в тон и потому, очень внимательно осмотрев низкие, чуть сочащиеся влагой наматы, согласился:

— Качать, конечно, нужно. Но только на четвереньках — иначе до накатов не достанете.

Терпеть дольше этот нарочито серьезный разговор уже не было сил, и ребята навалились на Кропта, покатали его по нарам, а он, отчаянно крича: «Елки! Елки!», не отбиваясь, хохотал вместе со всеми.

Когда все улеглось, он вынул из полшубка ножницы и серьезно сказал:

— В нашем распоряжении всего час. За этот час нужно сделать все заготовки. А потом за ножницами придут. И за клеем. Садитесь за работу.

Они тесно уселись за шаткий стол, светильник поставили в середину. Каждый, кроме Джунуса, когда-то клеил игрушки для елки, и каждый взялся за дело. Джунуса заставили резать блестящий, почти невесомый станиоль на узенькие полоски. Ножницы оказались занятыми. Тогда в ход пошли ножи-складни и финки. Ребята сопели, вспоминая нелегкие конструкции корзинок и хлопушек, и поначалу отрывисто перебрасывались словами, потом, когда работа увлекла, Засядько сказал:

— А у нас в Пидгороднем елок в общем-то и не было. У нас сосенку обряжали. Привозили издалека. И свечей много было. А еще яблок и конфет. Ну, яблоки у нас в каждой хате запасали, а вот конфеты — то да... И вот однажды, я уж в седьмом учился, батька одного первоклашки приволок в школу три огромных свежих кавуна. Ну, это арбуза по-нашему. Квашеных кавунов у нас в каждой хате сколько хошь. А тут — свежие... Думали-думали, как с ними поступить? Крестовину для елки сделали трехпалой и поставили ее на арбузы. Елка на трех арбузах, как на трех китах... Ну, танцевали там, колядовали и всякое такое, а потом разделили на всех и конфеты, и подарки, и те арбузы. А они ж — красные и сладкие. Я, понимаете, ем и все время думаю: чем же это арбуз пахнет? Никак не пойму — знакомое что-то, а не вспомню. И уж как пошли домой — понял. Свежий арбуз пахнет снегом. И сейчас, как только снег выпадет, так я вспоминаю те арбузы.

Засядько замолк. Шуршала бумага, ребята тоже вспоминали свои детские елки, и воспоминания те уходили все дальше и все глубже, поднимая затаившуюся в сердцах нежную слабость. Алеша Кропт вздохнул, быстро взглянул на Жилина и, поймав его тревожный взгляд, хитро посмеиваясь, сказал:

— А у меня самая странная елка была в прошлом году, на Могилевщине, в партизанах. Оно ж хоть и оккупация, а с довоенного еще много чего осталось. Мы тоже собирались встретить Новый год, и мужики подвалили нам и сала, и колбас, и самогонки, и яблок само собой. Так что и разговеться было чем и повеселиться с чем. И елку устроили прямо в лесу, возле землянок.

Выбрали, которая покрасивше, и убрали, чем могли. Но тут пришли разведчики и сказали, что в недалекую деревню приехали за кабанчиками фрицы, а у них машина и сломайся. Может, даже разморозилась. Морозы, как помните, в прошлом году были крепкие. Комиссар спрашивает: «Кто хочет в гости к фрицам?» Собралось нас человек пятнадцать — и поехали. На дровнях. Приехали, а у них — пир горой. Сидят фрицы в бывшем правлении, мундиры расстегнутые, самогон жрут. А девчата им песни поют. И елка стоит — заставили игрушки со всей деревни собрать. Ну, мы в правление, «хенде хох» и все такое. Взяли их тепленькими...

Никто, из деликатности, наверное, не спросил, что случилось с теми фрицами уже в новом году, но Малков поинтересовался, что сделали с фрицевской размороженной машиной и ее грузом.

— Машину взорвали, а груз деревенским раздали, вернули, — ответил Кропт.

И ввернул очень соленое словцо, от которого Засядько покраснел, а Джунус и остальные еще долго смеялись, сосредоточенно и весело делая непривычную, деликатную работу — склеивая немудрящие елочные игрушки, бумажные цепи, обряжая их полосками блестящей фольги.

И никому не казалось странным, что вот эти ребята, совсем недавно еще мальчики, несущие в своих душах нежные воспоминания детства и домашних мирных радостей, занимаясь самым тонким и самым светлым делом, какое только можно придумать — созданием игрушек, — совсем недавно были в смертном бою.

Должно быть, Засядько первый стал напевать свою любимую песню: «Дывлюсь я на небо, тай думку гадаю...», но она, эта песня, вдруг объединила всех, потому что каждый, даже делая то, что он делал на войне, все равно мечтал о каких-то особых подвигах, которые нужны-то были не только ему лично, но и всем. Всем, потому что только со всеми он мог выйти из того нечеловеческого состояния, в которое его ввергли. И даже Джунус, из рода воинов, не знавший этой песни как следует, гудел наравне со всеми и искренне жалел, что ему, степняку, бог не дал настоящих крыльев, чтобы покинуть землю, взлететь в небо и там, в ясной синеве, на виду у всех свершить нечто такое, что приблизило бы освобождение всех, а значит, и его лично, от уже привычного, уже обыденного дела...

— Хватит игрушек. Теперь еще лапнику достать и можно убираться,— сказал Кропт.

— Ты ж две елки принес...— удивился Жилин.

— Так, товарищ сержант, Кислов же сейчас с комбатом. Надо ж ему помочь. Он же нам помогает.

Выходило, что вторая из принесенных Кроптом елочек предназначалась комбату. Ребята сразу приняли такое решение Алеши, но Костя задумался. Не так уж много времени прошло с тех пор, как погиб Лысов. Пока он жил, Костя даже посмеивался и над ним и над комиссаром. Но сейчас Жилин уже не чувствовал неприязни к бывшему комиссару. Прошрое затушевывало все плохое и высветляло хорошее. Вспомнив Лысова, Костя не мог не вспомнить и Кривоножку: нет теперь у него связного, некому о нем позаботиться, и Костя не пожалел его, а просто воздал должное.

Оценил, как положено, и приказал:

— Засядько и Малков, давайте-ка за лапником и заодно сработайте еще одну елочку. И зайца Марии занесите.

Кропт взглянул на Костю своим ясным, жестким взглядом и доложил:

— Ей я уже закинул. Прямо в землянку.

Костя неудержимо покраснел. Все это время никто никогда не намекал на его любовь с Марией. Самым страшным для Кости оказалось то, что о ней, о ее одиночестве он не подумал. Но быстро овладев собой, ответил небрежно:

— За то она тебе спасибо скажет, но не об ней речь. Комсомольцы, а о партийном руководителе не подумали...

Кропт кивнул, а Малков, конечно, не преминул съязвить:

— Ты, сержант, что-то отношения меняешь...

— Время, дорогой мой, меняется. Время.

Ребята стали одеваться, рассовывая ножи и гранаты.

Жилин, независимо посвистывая, стал клеить игрушки для третьей елки. Кропт осторожно спросил:

— А это ничего, что замполиту и вдруг — елку?

— Что здесь такого? Елка же не религия, а обычай. А он русский, и ему наши обычаи близки. Верно, Джунус?

Джунус кивнул — конечно!

Весь этот хмурый, морозный вечер передовая жила затаенно, ожидая. Постреливали пулеметы, и плыли разноцветные трассы над подернутыми копотью снегами, остывающие воронки затягивались инеем, небо поднималось и светлело. Ракеты уже не доставали до облаков и бессильно играли желтоватым огнем в воронках, на свежем инее.

Но все это, привычное, надоевшее до оскотины, жило не так, как всегда — ровно и размеренно. В ритме передовой появлялись сбои. То сразу заговаривали несколько пулеметов и за Варшавкой полыхали огнем минометы, роняя на передовую подвывающую, свистящую смерть, а то вдруг все стихало, лишенное ракетных подпалин небо высвечивалось, иногда в разрывах облаков, как иней в воронках, посверкивали звезды. В тишине простужали звуки — шаги по промерзшим траншеям, звяк оружия и котелков и, наконец, говор.

Басин приказал вызвать девятую роту.

— Старший лейтенант Мкрытчян слушает.

— Что у вас?

— Шумят. Похоже, готовят разведку.

— Почему — разведку? Может, ночную атаку?

— Для большой атаки шума мало. Для разведки боем — подходит. И потом, у меня вроде бы не слишком шумно, а вот правее...

— У тебя связь есть, выясни.

— Я уже выяснил — перебросил вправо два станка.

— Правильно! Минометчикам и артиллеристам я прикажу...

Но Басин не спешил звонить артиллеристам и минометчикам.

Он позвонил командиру полка и, почтительно поздравив с наступающим Новым годом, сообщил:

— Нам кажется...

— Кому это — нам? — перебил его подполковник: обстановка требовала особой бдительности и организованности, а комбат начинает доклад как-то уж очень по-граждански. Надо подтянуть!

— Нам — это значит мне, командиру девятой роты и нашим соседям справа. Так вот, нам кажется, что противник готовит разведку боем.

— Так что? Сами не отобьетесь?

— И еще нам кажется, что на том участке сменились части противника.

Подполковник помолчал, а потом ядовито сказал:

— То тебе кажется, что вы генерала ухлопали, а теперь кажется, что противник сменился. Не слишком ли многое кажется? Может, уже начал встречать Новый год?

— Да нет, товарищ подполковник, пока еще не встречал, а доложить обязан.

— Ну, хорошо. Молодец, что доложил. Поставлю в известность. Держи в курсе и смотри да поглядывай... Сам знаешь — Новый год...

Басин не знал, что первый его доклад о действиях снайперов и минометчиков был передан в дивизию, а комдив счел необходимым доложить об этом в армию.

Так второй раз в один день имя комбата Басина прошло по штабным проводам и легло на стол многим высшим командирам. Само по себе это имя говорило им немного, но, повторяемое, оно невольно запоминалось. И запоминалось не вместе с чем-либо неприятным, а таким, что можно было сообщить другим, о чем стоило поговорить и даже проанализировать.

Ничего сиюминутного такое запоминание имени не давало и не могло дать ни самому Басину, ни командиру полка, ни кому-либо другому. Но решающие события в жизни никогда не случаются сразу, мгновенно, как бы быстротечны и неожиданны сами по себе они ни были. Они готовятся исподволь, незаметно...

Все, что требовалось сделать в преддверии активных действий противника, Басин сделал: предупредил начальство, нацелил подчиненных, постарался осмыслить надвигающиеся события. В иное время он наверняка бы волновался: он не мог знать, как поведет себя противник. Может быть, он готовит наступление на всем участке, а может, только разведку. Но в эту новогоднюю ночь он почти не волновался. Оценив обстановку, рассчитав свои силы и возможные силы противника, Басин принял решение...

Впрочем, это так только пишется и говорится — принял решение. Решений было много, несколько десятков. Комбат мысленно разыгрывал множество вариантов возможного боя и в каждом отдельном случае решал: если противник вот так, то я — вот эдак. И все эти варианты решений откладывались в памяти. А поскольку все они как будто обеспечивали выполнение основ-

ной задачи — стоять насмерть и не пропускать противника, да еще и давали возможность выполнить вспомогательную задачу — не понести потерь, не дать противнику взять «языка» и нанести этому противнику наибольший урон, так что же еще требовалось? И он отдал только самые необходимые распоряжения, ожидая прояснения обстановки. Решения у него уже были, но сомнения... в глубине души сомнения в правильности вариантов все-таки оставались...

Вот почему Басин обрадовался приходу Кривоножко.

— Ну, как там? Тихо? — с полуулыбкой спросил Басин, когда Кривоножко закрыл за собой дверь НП.

— Да не очень и тихо... Готовятся... — улыбнулся Кривоножко.

— Неужели все заметили? — встревожился Басин, сомнения, что все-таки жили в душе, окрепли. Ведь если заметили все, так дело серьезное...

— Что заметили? Что Новый год подошел?

— Так что, к Новому году готовятся?

— Ну а как же? Обычай, он и есть обычай... Мкрытчан, например, грозитя угостить шашлыками — намариновали несколько котелков.

Басин нахмурился.

— Там не о шашлыках думать нужно.

— О разведке противника? — небрежно, даже как бы с насмешкой, спросил Кривоножко. — Что нужно — сделали, пойдет — встретят. Не пойдет — и так обойдутся.

Легкость, которая прозвучала в словах замполита, и успокоила и огорчила. Люди и его замполит осмелели, но еще не понимают обстановки: ведь сменились части противника. А это чаще всего бывало перед наступлением. Но Басин не успел объяснить всю сложность положения, потому что Кривоножко, все так же спокойно и чуть небрежно, сообщил:

— Мкрытчан просил передать — соседи тоже считают, что перед ними сменился противник. Но общее заполнение передовой явно уменьшилось...

— Не понял.. Как это — общее заполнение передовой?

— Ну, солдат на ней стало меньше. Огневых средств И только вот здесь, на стыке, народа прибавилось.

Вот оно что... На стыке флангов. На том самом уязвимом месте обороны, который полагается укреплять и защищать особенно надежно, но до которого по-

чему-то всегда не доходят руки в надежде, что руки дойдут у соседа. Так уж повелось — противник всегда нащупывал эти самые стыки флангов, границы между соседствующими подразделениями и частями, и наносил по ним удар. Такой удар чаще всего приносил успех, соседи ведь надеялись друг на друга... Что ж удивляться, если и новый противник нанесет удар в стык и батальона, и роты, и полка — самое удобное место.

«А они там шашлык маринуют... Бастурму», — сердито подумал Басин и полез за картой.

Если верить тем шумам, которые подсказали Басину новый стык-границу нового противника, так его силы собираются как раз у этого самого стыка. Зачем? Ведь еще никто не слышал, чтобы противник начинал наступление со своего стыка. А вот замаскировать, не дать противнику его нащупать — святая обязанность любого командира любой армии.

И все происшедшее за день и раньше, и здесь, перед Басиным, и гораздо дальше, под Сталинградом, сразу осветилось одной вспышкой-догадкой.

Там, далеко на юге, фрицев бьют. Резервов у них нет. Их надо выискивать. И вот здесь, на Варшавке, и выкраиваются эти резервы. Одни подразделения и части растягиваются по фронту, а другие тем временем выводятся в резерв. Именно так поступило в свой час наше командование, растянув дивизию, в которой служил Басин, и выведя в резерв соседнюю. Как раз так собирался сделать и сам комбат — растянуть роту Мкрытчана, а один взвод вывести в резерв, на боевую учебу.

И вот растянутая часть или соединение противника, чтобы скрыть свой стык с соседом, свои границы, решает именно на стыке нанести удар или провести разведку, чтобы мы посчитали, что все идет как прежде: никакого стыка нет, никакой смены не произошло...

Все как будто сходилась и выстраивалось в стройную систему.

— Соседи отхода не замечали? Или смены частей?

— Раньше, говорят, машины шумели. Да и у Мкрытчана замечали... так, мелочи...

Ох, эти мелочи!.. Слишком часто они-то и становятся главным.

Басин приказал телефонисту вызвать поддерживающих полк артиллеристов, поздравил уже веселых и шумных командиров с Новым годом и попросил их подготовить огонь по глубине немецкой обороны.

— Главное, в тот район, где мои сегодня сожгли немецкие машины.

— Ты что, капитан, и под Новый год собираешься воевать?— притворно удивился командир гаубичного дивизиона.— В будни воюешь, а теперь и в праздник?

— А что делать?— так же притворно вздохнул Басин.— Такая жизнь.

Это веселое притворство понравилось обоим. Басин был уверен, что артподдержка обеспечена.

— Знаете,— обратился он к Кривоножке, как всегда избегая называть его и по должности и по фамилии — что-то еще мешало обоим устанавливать более короткие отношения,— мне кажется, что противник оттягивает от нас силы в резерв.

— Вполне вероятно. Кавказ зашевелился...

— Вот я и думаю, а вдруг и нам придется зашевелиться?..

— Когда — вот вопрос...

Они помолчали. Кривоножке уже совсем собрался уходить в седьмую роту, но в это время справа звонко и требовательно застучали станкачи.

— Мкрытчана!— крикнул Басин телефонисту.

В землянку вбежал связной комбата Кислов, поправил шинель под ремнем и доверительно, словно сообщая нечто приятное и долгожданное, доложил:

— Товарищ капитан, фрицы полезли.

С НП все траншеи девятой роты не просматривались — их скрывал срез амбразур. Басин крикнул Кислову: «Наблюдай!», подхватил протянутую телефонистом трубку, а второй рукой потянулся за каской.

— Что там у вас? Мкрытчан?

— До взвода противника выдвинулись за свои проволочные заграждения. Соседи и мои станкачи открыли огонь.

Сомнения сразу исчезли. Все подчинилось обстановке.

— Зачем спешили! Пусть бы лезли дальше!

— Я и сам так думал, но соседи... Да и у меня пулеметчики молодые. Напряжение, понимаешь... Нервы не выдержали.

— Ну ладно... Я им сейчас устрою концерт, чтоб они на всю жизнь запомнили!— И мстительно добавил:— Надо на их психику давить. Ломать психику!

Басин вызвал минометчиков и артиллеристов и попросил дать хороший огневой налет и по первым траншеям и по глубине обороны противника.

Артиллеристы еще не открывали огня, а Басин уже доложил командиру полка о событиях и своих решениях и добавил:

— Я — в траншеях! Здесь за меня замполит.

Командир полка кашлянул и сердито спросил:

— Ты в нем так уверен?

— Товарищ первый, он же воюет полтора года. Научился.

Басин даже не взглянул на Кривоножку, и тот понял, что к нему пришло настоящее, боевое признание. Оно радовало, укрепляло, но и требовало отдачи.

Небо поднялось еще выше, звезд стало больше, и мороз окреп. Трассы на правом фланге батальона сходились веерами у едва заметных — черточками — проволочных заграждений. Первые минные разрывы, как и просил Басин, легли за ними, в траншеях противника. Затем загрохотали снаряды и в глубине вражеской обороны.

За Варшавкой багрово вспыхнули выстрелы, и на нашу оборону упали первые снаряды и мины. Но противник бил неточно и вяло. Наши пулеметчики, поднапоровшие бегать с одной огневой на другую в качестве кочующих огневых точек, быстро скрылись под укрытия.

Нелепо начавшаяся и вяло протекавшая разведка и закончилась бестолково — перестрелка то вспыхивала, то замирала, словно противник никак не мог принять окончательного решения. Казалось, что немецкие разведчики нарочно не поползли дальше своих проволочных заграждений, нарочно раскрыли себя, чтобы побыстрее убраться под накат: Новый год, он и есть Новый год.

Басин крепко растер озябшие руки — второпях забыл рукавицы на НП, и спросил у следующего за ним Кислова:

— В случае чего найдем, чем Новый год встретить?

Кислов озабоченно кивнул:

— В случае чего, конечно, найдем... Но наперед — лучше б загодя.

Басин рассмеялся:

— Сам видишь, какое «загодя» получилось. А если б серьезное?

В блиндаж он не вошел, а влетел — деятельный, веселый — и перебил подготовившегося к докладу Кривоножку:

— Так мы будем отмечать или не будем?

— Думаете, на этом все и кончилось?

Басин вспомнил командира хозвзвода и опять рассмеялся:

— Считаю!

— Сил у них нет?

— И силенки не те, и мы не те... Многочисленные факторы, так сказать.

Но разойтись по своим землянкам они не спешили. Еще прошлись по ротам, поздравляя и заодно проверяя несение службы, а уж намерзшись, отправились по домам...

Очень это хорошо, когда на войне есть хоть временный, но дом.

Глава шестая

Малков и Засядько уже возвращались из ближнего леса, когда услышали трели станкачей, а потом и артперестрелку. Оба отметили, где рвутся снаряды, и Малков выругался:

— Вот гадство... Ведун какой... Жилин. Как знал. Бросать придется, — он потряс охапкой елового лапника.

— Зачем? — пожал плечами Засядько. — Все равно ж идем к передовой.

Они побежали — легко и споро.

И все-таки в землянку они ввалились запыхавшимися, ожидая, что сейчас же придется хватать винтовки и бежать на передовую. Но в землянке шла молчаливая, сосредоточенная, в чем-то даже отрешенная работа: снайперы слышали перестрелку. Кропт даже хватался за винтовку, но Жилин остановил его:

— Не дергайся! Работу, коли начали, надо закончить.

И они доклеивали последние игрушки, прислушиваясь к перестрелке, как прислушиваются только на войне — всем телом.

Вздрагивала и гудела мерзлая земля, сочились прахом накаты, а ребята делали свое предпраздничное дело: Засядько скрутил хвойные гирлянды и протянул их крест-накрест под накатами, потом пристроил лапник на стенах и перевил его блестящей фольгой из мик-

рофарад. Кропт собрал остатки цветной бумаги и украсил и лапник и гирлянды. Джунус довольно шурился — такой праздник он, степняк, видел впервые, — потом полез в вещмешок, вытащил заветную, очень дорогую на передовой бумагу и стал вырезать из нее цифры — «1943». Костя, сказав: «Ага, ты, значит, так...» — стал вырезать из остатков буквы и выклеил лозунг: «Москвичам — ура!»

— Я думал, ты в шутку насчет москвичей, — поморщился Малков.

— А я думал, ты догадливей или хоть читать умеешь, — засмеялся Костя. — Раз мы прикрываем Москву, значит — москвичи! На юге — сталинградцы, а мы — москвичи.

Перестрелка утихала, Кропт и Засядько отнесли комбату и замполиту убранные елочки.

Хвоя гирлянд отмякала, источая острый и печальный аромат. В печи несмело потрескивали дрова, сквозь щели иногда пробивался дым, и по землянке плыл горький запах пожарищ. Ребята присели вокруг стола и примолкли.

Жилин вспоминал свой Таганрог, гадая, будет там оттепель или над городом встанет высокое небо с яркими, гораздо ярче, чем в этих местах, большими звездами. Раньше елки привозили в Таганрог или с Кавказа, или откуда-то с севера. Под немцем их никто не привезет... И как же, должно быть, грустно на темных улицах — ни скрипа снега под ногами, ни песни, ни смеха... Только на акациях с костяным мертвым стуком подрагивают не сорванные осенними верховками коричневые стручки.

Нахлынула такая тоска, такая, близкая к отчаянию, беспросветность, что Костя сжал зубы, чтобы сдержать наворачнувшиеся злые и грустные слезы. Сколько ж еще пути, сколько ж рисковать собой, чтобы добраться до милых улочек, увидеть серое ласковое море, услышать музыку и песни праздника... Чего они чикаются там, на юге? Неужели ж он так силен, этот фриц? Силен, силен фриц... Когда наступали от Москвы — видели. И слишком уж далеко шагать тем ребятам на юге, да еще и все время оглядываться — как-никак, а триста тысяч фрицев сидят у них в тылу. А ну как прорвутся? Как еще тот Сталинград откликнется...

Запах хвои все настойчивей напоминал о прошлом, но о каком, Костя никак не мог угадать, пока наконец

не вспомнил первый день в избе дивизионного дома отдыха. Там тоже пахло деревом, хвоей, но еще и сухим, домашним теплом. Он сразу вспомнил Марию, но привычного радостного покалывания в сердце не обнаружил — явилась чуть насмешливая грусть.

«Одна маскировка, а не любовь...— Но тут же устыдился насмешливости и справедливо решил:— Какая б ни была, а — любовь».

И он ощутил и нежность к Марии и нечто похожее на гордость: сумел-таки на войне, на передовой, узнать то, что не всякий узнает в мирной жизни...

В дверь постучали ногой — глухо и разнотонно. Стук в дверь давно был признан на передовой пережитком былой культурности — и Костя небрежно крикнул:

— Ну, кто там, обратно? Входи!

Из-за двери ответила Мария:

— У меня руки заняты! Откройте!

Засядько метнулся к двери и впустил Марию. Она несла перед собой на вытянутых руках нечто такое, что Джунус от удивления приподнялся, а Костя ринулся ей на помощь.

Мария осторожно не то что положила, а спустила с рук это нечто на стол, торжествующе выпрямилась и как фокусник — резко, но изящно — сдернула тряпочку. На столе лежал великолепно подрумяненный пирог, и от него тянул сильный, перебивающий даже запах хвон и ружейного масла, аромат свежего хлеба, кислой капусты и еще чего-то невыразимо дорогого, домашнего — отчего ребята по-детски подшмыргнули, а Малков подозрительно засопел и отвернулся.

Мария выпрямилась и смотрела на пирог так, как смотрят, наверное, художники на дорогое для них произведение, потом накинула на пирог тряпочку и подняла сияющий взгляд на странно посмурневших ребят, и в глазах у нее мелькнул испуг. Но ребята уже поняли, что пирог испечен для них, и, подстегнутые ее испугом, душами потянулись к ней. Она почувствовала это и поняла их.

— Господи, а я уж подумала, не беда ли какая.— Убрала под ушанку выбившуюся прядь, огляделась и восхищенно протянула:— Молодцы-то какие. Ну, гульнем сегодня!

Может, только тут и увидели ребята ее румяные — не то от огня плиты, не то от мороза — щеки; ее веселые и бедовые темно-серые глаза с прозеленью; полные,

хорошо, резко очерченные губы, алые, почти как вишни, и ее статную фигуру. В этот раз она показалась особенно женственной и особенно привлекательной — Мария была не в стеганых брюках, а в юбке и в чулках. Телесного цвета чулках, подаренных когда-то Костей — светлых, необыкновенных! Такого снайперы не видели больше года, и это поразило их еще сильнее, чем пирог.

— Подождите меня, мальчики. Закончим дела и тогда отметим. Хорошо? Мы там еще кое-что наготовили.

Она не вышла — упорхнула, хотя и не могла сделать этого: все-таки она была рослой и в теле, но все у нее получалось так стремительно и так ладно, что всем показалось — упорхнула.

Когда она ушла, размякшие ребята вначале переглянулись, а потом посмотрели на Костю, и он уловил хоть добрую, но зависть.

Собрались вместе около полуночи, как положено, проводили старый год, степенно закусили кто салом, кто зайчатиной, которую Мария приправила даже чесноком — где она его разыскала, оставалось ее тайной — и уж только потом досмотрелись, что на пироге есть дата: 1943 год. Мария перехватила их взгляды и стала резать пирог, приговаривая:

— Дай-то бог, чтоб и новый год был такой же румяный и удачный, и чтоб было в нем побольше приятной начинки, и чтоб шел он на здоровье и радость, и чтоб все сложилось, как он сложился и выпекся!

От этой немудреной присказки-тоста стало весело и по-домашнему тепло. Но к пирогу не прикасались — ждали полуночи. Когда над передовой прокатились нестройные винтовочно-автоматные залпы, где-то далеко ухнуло несколько пушечных выстрелов, и сквозь тусклое оконце землянки пробился свет ракет — красных, зеленых, желтоватых, и на лапнике, гирляндах и елочке прокатились россыпи огней, повторенные фольгой и влажными, оттаявшими иголками, Костя Жилин встал, поднял кружку и по праву старшего сказал:

— Главное, что дожили мы до того дня, когда можем встретить Новый год! Выходит, что недаром мы оборонялись и кое-чему научились. Так давайте выпьем за то, чтоб в новом году научиться наступать лучше, чем мы научились обороняться. И пусть в наступлении подойдет к нам победа. Вот за нее, матушку-победу, и выпьем!

Наливали помалу — в новогодье, хоть в армии, хоть в гражданке, не принято пить помногу — и потому выпили за победу одним духом: очень уж хотелось победы.

Вот тут и пошел в ход пирог — и в самом деле вкусный, чуть отдающий сдобой, славной кислинкой от вымоченной капусты и еще чем-то очень домашним, праздничным. Мария раскраснелась, подкладывала и ухаживала, словно ненароком касаясь то рукой, то бедром размякающих ребят. Ей было необыкновенно радостно и от переполняющего ее счастья и доброты хотелось что-то отделить и передать другим, пожалеть их, лишенных всего того, за что они дерутся. И потому, что жалела она осторожно, незаметно для всех, кроме того, кого она касалась и кому улыбалась, каждому в свою счастливую минуту казалось, что она выделяет именно его, что именно он ей нравится больше всех...

О том, что так может случиться, она просто не думала. Ей было очень хорошо, и она была бездумно щедра и добра...

Как и бывает обычно в русском — да нет, не только в русском — в народном застолье, после второй кто-то запел, песню подхватили, а потом притихший, вспомнивший свою, похороненную им, любовь, Алеша Кропт попросил спеть «Амурские волны» — та погибшая врачиха любила этот вальс. Слов толком никто не знал, и потому просто пели мелодию, лишь изредка вставляя всплывающие слова. От этого путались и перебивали друг друга, терялось ощущение праздника. Мария встала и протянула руку Косте:

— Станцуем, что ли...

Бессловесный хор стал строже, задушевней, а Костя с Марией вертелись на пяточке в уголке землянки. Получалось у них слаженно и красиво, ребята смотрели не только на их счастливо-серьезные лица — все время смотреть на них казалось неудобным, так оба они были близки друг другу, — но и на их ноги — легкие, в начищенных сапогах, поднимающие облачка земляночной пыли. А над пылью мелькали крепкие, в телесных чулках икры и колени Марии, и переносить это было и трудно и радостно.

Мария неожиданно оставила Костю и потянула мрачного Малкова, а когда оттанцевала с ним —хватила из-за стола и Алешу Кропта. Ей было весело,

и что бы ни говорили ей сменяющиеся партнеры, вызывало в ней доброжелательный смех; и каждый, садясь на свое место и уступая Марию другому, казался себе ловким, остроумным, стоящим такой замечательной женщины. Правда, когда она смеялась с другим, по душе проходил холодок...

Потом пели фокстроты, и раскрасневшийся Засядько лихо выстукивал ложками ритм, потом снова сели за стол и выпили, и только собрались еще потанцевать, как появился Иван Рябов со своим наводчиком и незнакомым хорошеньким парнишкой с гитарой. Они принесли с собой фляжку и теперь выпили за совместную боевую удачу.

— Мы, братцы москвичи, тоже гуляем... Петя! Сыграй-ка нашу... артиллерийскую — для пехоты еще не придумали настоящих песен.

Хорошенький, стройный Петя не стал ломаться и не очень сильным, но приятным тенорком батарейного запевалы повел песню об артиллеристах. Ее пели с удовольствием, а Мария танцевала и под этот ритм, с интересом приглядываясь к Пете.

Все это время Косте было приятно и ее оживление и то, как она угощала ребят и танцевала с ними. Она казалась настоящей хозяйкой, а он, как хозяин, одобрял ее, хотя и суживал глаза, когда она уж слишком залиvisto смеялась. Но когда она стала приглядываться к гитаристу, ему стало не по себе. Он знал таких хорошеньких, способненьких мальчиков, любимцев батарей и рот. Их и в бою сберегали, лишний раз не посылая в опасное дело, и проступки прощали, потому что они скрашивали бойцовскую жизнь кто песней, кто пляской, кто просто веселым нравом. Таким всегда все удается, и таких легко любят женщины...

Костя посуровел, придумывая, что бы предпринять и отвести возможную опасность. Ему помог охмелевший Рябов. Он навалился на стол и закричал:

— Слышь, станишник, говорят, погоны надеваем?

Костя сразу отрезвел — говорить такое, да еще в застолье, да в чужой землянке?.. Это — неосторожно.

— Брось болтать!

— Точно, точно. И красноармейцы будут солдатами, а командиры — офицерами.

— Верно, товарищ сержант, — вдруг вмешался Кропт. — Мне об этом связисты говорили.

Поглядывая на буро-красного, подобравшегося Жилина, Мария оставила танец, подошла к Косте, села рядом и положила руку на его колено.

— Я думала, ты уже знаешь. Об этом все говорят. Моя соседка уже сколько рассказывает.

— Мало ли о чем болтают,— буркнул Костя. То, что Мария знала о таких разговорах и ничего ему не рассказала, поразило его и по-новому осветило весь сегодняшний вечер.

Скрывает она от него что-то. Скрывает. Вон как заигрывала со всеми ребятами...

Она почувствовала изменение его настроения и гибким женским умом сразу нашла выход:

— А чего ты удивляешься? Сам же небось пел: «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер!»

— Верно...— восхищенно протянул Рябов.— Правильно... А я о таком и не подумал. Оно конечно... Хоть и царская армия, а воевал в ней народ. И наши казакишки. За Россию они всегда воевали правильно. Я так понимаю, и нам стыдиться тех погон или солдатчины тоже не стоит.— И, уже обращаясь к Косте, хитренько клоня голову к плечу, напомнил:— Сам же докладывал: мы из пластунов. Значит, помнишь свой род и свое племя. Чего ж теперь шумишь?

Костя примолк, словно прислушиваясь к себе. Солдат ли ты или красноармеец, а все равно драться за Родину надо...

Вот так и выстраивалась цепочка — гвардия, замполиты, солдаты, погоны, офицеры... Связывалось старое, ушедшее, с новым, отбиралось у старого что получше и приспособлялось к сегодняшнему дню, сливалось воедино все, что накопилось лучшего и в прошлом и в настоящем...

Они еще посидели, вяло поговорили; когда где-то слева у соседей вдруг вспыхнула перестрелка, словно обрадовались возможности закончить в общем-то удавшийся праздник.

В землянке у Марии было тихо — фельдшерица со своим старшим лейтенантом Зобовым сидели в это время у капитана Басина. Мария была задумчива и нежна. Она словно прислушивалась к себе, стараясь услышать и угадать зарождавшуюся в ней жизнь...

Первые дни нового года покатались ровно и гладко. Басин вывел взвод из роты Мкрытчана, и он спал по десять часов в пустующих избах ближней к передовой деревни, десять часов «наступал» или просто бегал, а в перерывах вязал из хвороста плетни-фашины. Через четыре дня взвод ушел на передовую, а на его место пришел взвод из восьмой роты. Басин бывал на занятиях каждый день и требовал жестко. Так жестко, что бойцы ворчали: и отдохнуть не дают, да еще эти чертовы плетни-фашины.

Снайперы по-прежнему лазили вдоль передовой, то «охотясь» парами, наособицу, то взаимодействуя с кочующими пулеметами, орудиями и, конечно, с минометчиками. Все чаще стали наведываться полковые и дивизионные разведчики и саперы. Они ползали и за передний край, оставляя на снегу извилистые бороздки-следы. Поактивней стал и противник. Его саперы и разведчики тоже пробирались по ночам на ничейку и даже подползали к нашим траншеям, но все обходилось без чрезвычайных происшествий.

Налаженная жизнь сбивалась только слухами о погонах, новых званиях и новой форме. Но потому, что слухи эти обговорили по десять раз в каждой землянке, когда пришел приказ о введении офицерского корпуса и смене формы одежды, ему не очень удивились: в гуще самой армии уже назрело убеждение в необходимости и своевременности перемен.

Политработникам не слишком долго пришлось разъяснять эти приказы. Зато чуть не в каждой землянке надо было отвечать на неизменные вопросы: а когда ж будут те погоны и те гимнастерки с высоким стоячим воротником, а главное, почему в гимнастерках нового образца не предусмотрели нагрудных карманов. Это в старой армии солдаты были беспартийные и внесоюзные. А где хранить партийные и комсомольские билеты, которые как-то так, сами по себе улеглись у самых сердец?

Вот эта недоработка — отсутствие карманов на гимнастерках — волновала, пожалуй, больше всего.

В землянке женщин постоянно толпился народ — приходили из разных подразделений с просьбой перешить воротнички гимнастерок. И Мария и фельдшерица работали каждый вечер... Может быть, поэтому едва ли не самым первым в батальоне снайперское отделение

стало носить погоны, и гимнастерки у них стали на пуговичках, с красивым, облегающим шею высоким воротничком.

Повар заметил изменение отношения Басина к Марии и понял это по-своему: стал носить пробу сам или передавать ее через Кислова. Басин в еде был неразборчив — лишь бы горячо было, а Кривоножко при прежнем комбате Лысове привык есть вкусно. Он-то фактически и снимал пробы.

Когда пробу как-то опять принесла Мария, замполит сдержанно пошутил с ней и сказал, что гимнастерка с высоким воротником ей к лицу.

— Давайте мы и вам сделаем, — простодушно предложила Мария, но Кривоножко замялся:

— Надо бы вместе с комбатом.

— Так мы и комбату сделаем.

Эти слова вырвались сами по себе — так она была счастлива все эти дни нового года, так ей было хорошо, что она хотела, чтобы было хорошо и другим. Но она вспомнила приход Басина и почувствовала: сейчас она неудержимо покраснеет. А делать этого никак нельзя — замполит есть замполит.

— М-м, — тянул Кривоножко, не замечая в сумерках землянки ее растерянности. — А вы с ним говорили на этот счет? — Мария промолчала, язык не ворочался. Кривоножко решил, что она разговаривала с комбатом, и сказал: — Ну, хорошо... Сделаем так — займитесь комбатом... А то, знаете ли, неудобно... И тогда уж примитесь за меня.

Она кивнула и вышла, понимая, что не может идти к Басину.

Только утром, когда невыспавшийся и потому хмурый Басин спешил на тренировку очередного взвода, Мария окликнула его и, стараясь показать, что между ними ничего не случилось, предложила:

— Товарищ капитан! Давайте-ка мы вам гимнастерочку переделаем...

Он остановился, сумрачный, недобро усмехнулся и ответил:

— Не будем спешить, товарищ рядовой. Поспешность, как показал опыт, к хорошему приводит редко.

Он козырнул и неторопливо, чуть вразвалочку пошел в тыл.

Дальняя разведка донесла, что вдоль Варшавского шоссе противник произвел перегруппировку войск, выведя одну гренадерскую дивизию в резерв. Оставшиеся части растянули свои боевые порядки и закрыли брешь. Кроме того, дальняя разведка сообщила, что на Новый год состоялись похороны нескольких офицеров растянувшейся дивизии, убитых в последний день 1942 года, а в Германию было отправлено два гроба с телами командира дивизии — генерала и начальника артиллерии — полковника. В этой связи штаб фронта приказал штабу армии оформить наградные материалы на лиц, принимавших участие в нанесении столь ощутимого урона противнику.

В обороне, да еще в такой длительной, награждали редко и потому к составлению наградных листов отнеслись очень осторожно. Капитан Кривоножко пошел в штаб полка, утрясать с командиром и его замполитом список отличившихся. Список этот оказался солидным — снайперы, артиллеристы, минометчики... Да еще и те, кто отличился в отражении разведки боем и просто служил достойно и дрался хорошо, но как-то не попадал под награждения.

— Этак вы мне полбатальона к награде представите! — ворчал командир полка. Но Кривоножко отстаивал каждую фамилию. А потому, что, разъясняя новые приказы, он часто бывал в ротах и поговорил почти с каждым бойцом и командиром, знал многих, его доводы были убедительны.

— Как видите, товарищ подполковник, человек вполне заслуживает Звездочки, а мы просим только медаль «За боевые заслуги».

— Всего лишь! — не слишком натурально возмущался командир полка, который надеялся продвинуть в список для награждения и своих, полковых людей — разведчиков, связистов, артиллеристов. Тоже люди воюют, а наград не видят. Он и придирался и злился оттого, что видел — список Кривоножко верный. Конечно, он мог приказать вычеркнуть кого-то, а кого-то вписать, но он не стал этого делать. Тут вступила в свои права высшая правда войны — правда подвига, правда победы.

— Давай-ка объявим благодарность. Письмо родителям напишем.

— У него, товарищ подполковник, две ваших бла-

годарности. И письма писались. За вашей подписью. Придет еще одно — и снова за вашей подписью...

Кривоножко умолк, давая возможность командиру полка представить, что подумают люди, к которым приходят одинаковые письма за одной и той же подписью.

— Ну, ладно, ладно... А этот? Этот же из пополнения.

— Никак нет. Он из-под Тулы идет, а наград нет. А он и в разведку ходил, и сейчас одним из первых перевел свой пулемет на кочующую огневую точку.

— Капитан... Что за выражение? Вы же военный человек. Перевел свой пулемет... На летнюю или зимнюю смазку можно пулемет перевести. А в кочующие огневые точки... Ну, знаете ли...

— А как тут еще скажешь, товарищ подполковник? Я в уставе смотрел. Там такого понятия нет.

Подполковник и Кривоножко встретились взглядами. У командира полка он был острый, упрекающий: ты что ж, капитан, не знаешь, что старый устав фактически отменен? Не ведаешь, что мы давно живем приказами, директивами, указаниями да еще тем, что вычитываем в газетах? А новых уставов еще нет. Говорят — пишутся. Обобщается боевой опыт.

Оба, вглядываясь друг в друга, четко и ясно поняли: к прошлой жизни уже возврата нет. Вступила в действие новая, рожденная кровью правда, новые, смертями подтвержденные, правила и положения. Взгляд подполковника смягчился, он вздохнул:

— Считай, убедил... Готовьте наградные листы.

И они писались и переписывались, эти самые наградные листы, в страшной тайне от всех, а батальон жил все той же размеренной, устоявшейся жизнью, как хорошо сработавшийся цех на производстве. Обороной народ овладел.

Глава девятая

Эта устоявшаяся рабочая жизнь сменилась как-то уж слишком быстро и чересчур глубоко, как то и положено на войне.

Утром комбат и его замполит были вызваны в штаб полка, вернулись оттуда очень озабоченными и деятельными. Через час из штаба батальона выскочили командиры рот и отдельных взводов и помчались по подразделениям. В сумерках батальон начал движение.

Седьмая рота старшего лейтенанта Чудинова сдала свой участок и землянки соседу слева и вместе с ору-

жием и накопленным скарбом — печами, досками для столов и лавок, полочками, ведрами, навязанными на занятиях фашинами и плетнями и многим, многим — подалась на север, вытесняя восьмую роту, которая почти полностью влилась в позиции девятой роты Мкрытчана.

Началась новая оттепель, ветер подул с запада — сырой, стылый, пронизывающий.

Люди вяло ругались. На новых местах все оказалось гораздо хуже, чем на обжитых, хотя и здесь были те же землянки и те же дзоты, но те, оставленные, казались лучше, удобней.

Капитан Басин сразу же вывел в тыл не один взвод из какой-нибудь одной роты, как делал первую половину января, а три взвода — по одному из каждой роты. Поэтому особой тесноты не ощущалось.

На новом месте, конечно, началась работа — исправлялись по своему вкусу землянки и дзоты, спрямлялись ходы сообщения, и у противника наверняка создалось впечатление, что наши войска срочно стали совершенствовать оборону. На войне такое делалось только в том случае, если с передовой часть войск отводилась в тыл, в резерв. А поскольку и сам противник недавно вывел в тыл, в резерв свою дивизию, чтобы отправить ее на юг, он считал такое поведение наших войск вполне закономерным: сохранять военную тайну на войне не так легко, и рано или поздно она разгадывается противником. Вот и наши войска, как, вероятно, думалось противнику, разгадали его секрет и тоже ослабили оборону.

На самом деле все было как раз наоборот — южнее на передовую выдвинулась двумя полками стоявшая до сих пор в резерве советская дивизия. Наше командование тоже отлично понимало, что скрывать ее выдвижение долго не удастся, и потому торопило события. На опушках близких к передовой лесов становились вышедшие из резерва артиллеристы и минометчики. Маскировка и дисциплина у них наладилась жесткая — они даже не пристреливали цели, а пользовались данными стоявших здесь раньше артиллеристов, которые использовали свои орудия как кочующие.

Западный ветер все чаще приносил туманы, снег с кустарников сполз, и ветви сочились влагой. В волгом воздухе звуки распространялись далеко и звонко. Все это тревожило и торопило.

Штаб батальона и НП переместились, а тылы батальона хотели было оставить на месте, но надвинувшиеся части выселили и медпункт вместе с фельдшерницей и Марией, и кухню. Командир хоззвода оказался похитрее: он потеснился, но конюшни и склад сохранил. Осталась и землянка снайперов: Басин не спешил переводить их поближе к штабу, а приказал им охотиться в той же полосе, что и раньше.

Поздно вечером комбат вызвал Жилина, сухо ответил на приветствие и приказал:

— Садись.

Комбат заметно изменился в последние дни. Реже улыбался, приказы отдавал резко, обязательно требуя их повторения, смотрел каждому в глаза так, словно пытался разгадать внутреннюю сущность человека, определить, на что тот способен. Но с Жилиным он заговорил мягко, устало, часто потирая лицо ладонями, словно сгоняя дремоту:

— Ты много раз бывал в окружении?

— Раз... семь...

— Как по-твоему, немцы правильно поступали, когда засылали в наш тыл диверсантов и парашютистов?

— Конечно! Из-за них, проклятых, может, и в окружение попадали. Только наладишься драться по фронту, а в тылу заваруха. Еще и окружения никакого нет, а какая-нибудь слабонервная гнида уже орет: «Окружили!» И не веришь, а... устойчивости уже нет.

Басин склонил черноволосую голову и опять потер ладонями лицо.

— Слушай, а если ты проберешься в тыл противника, за Варшавку, и оттуда ударишь своим отделением по фрицам? Что получится?

У Кости екнуло сердце. Кажется, начинается очень серьезное. И прежде чем ответить, он подумал. И подумал как следует.

— Если они и мы будем сидеть в обороне, то сможем, конечно, первые часы, а может, и сутки, паники наделать. И пощелкаем их порядочно. Но обратно возвращаться не придется. Народ они ушлый, организованный, окружают по всем правилам науки и... музыки не будет.

— Понятно...

— А если мы залезем в их тыл перед нашим наступлением и начнем работу после артподготовки, то...

То, обратно же, дел наделаем и, может, вернемся... с музыкой.

— Ты бы пошел?— настороженно вглядываясь в Костю, спросил Басин.

— Приказ, товарищ капитан. Такое дело...

Басин долго молчал, потом закурил и рывком вытащил из планшетки карту, развернул ее и жестом позвал Костю.

— Вот такое положение... Здесь от нас до Варшавки тысяча двести метров. Ничейка — метров сто пятьдесят. По нашим данным, за Варшавкой у противника только огневые артиллерии и минометов, да и те не сколько в стороне: прямо перед нами болото. Прежде чем состоится артподготовка, будет действовать наша разведка. Так вот...

— Я понял, товарищ капитан. Но на кой шут разведка, если потом будет артподготовка? Лучше уж неожиданно. А то разведка может насторожить противника.

— Знаю,— кивнул Басин.— Я тоже против. Но так положено — перед наступлением выслать разведку.

— Так тут же каждый метр и мы, и артиллеристы, да и пехота изучили. Можно сказать, каждого фрица в морду знаем.

— Ладно, Жилин. Не будем спорить — приказ есть приказ. Так вот, если ты со своими ребятами пойдешь вместе с разведчиками? А? Они пошуруют в ближнем тылу, а вы оторветесь, перемахнете Варшавку и дождетесь артподготовки? Возможно такое?

И не ожидая Костиного ответа, заговорил неожиданно горячо:

— Мне ведь что важно? Рассредоточить внимание противника, заставить его смотреть в тыл. В свой тыл. Тогда роты сумеют пробиться. Иначе... Слишком уж стара и сильна у него оборона. И люди... отвыкли наступать. Понимаешь, в чем дело? Но я не настаиваю. Пока я просто советуюсь с тобой. Ты можешь такое обеспечить?

Костя долго рассматривал карту, изредка поглаживая ее темной, с блестящими волосиками на фалангах, большой рукой. Сердце у него не екало, наоборот, им постепенно овладевал жесткий азарт. А что? Не всё сидеть! А там, в тылу, можно набедокурить. Можно! Но если наступление неудачное? Что ж... далеко отрываться не будем. Кропт рассказывал, что партизаны

когда в окружении дерутся, не отходят от противника, а стараются зайти в его же тыл. И мы можем так же. А потом и выберемся.

Сознание подсказало, что выход этот — неловкий, неверный, но он постарался отогнать эту мысль. Он привык рисковать на снайперской охоте и сейчас, ощущая приближение риска, внутренне подобрался и как бы приподнялся и над собой и над всем, что его окружало.

— Кроме меня есть еще и ребята. Нужно их убедить, потому что на такое дело можно идти только убежденным.

— Ты ж большевик, а они...

— А они — комсомольцы-добровольцы, да еще и москвичи. Все верно. Но, обратно же, даже этого не всегда хватает. Поговорю...

— Нет, сержант, говорить некогда и нельзя. Об этом никто, кроме нас с тобой, знать не должен. Раньше времени приказ о наступлении разглашать нельзя.

— А когда время? Подготовиться-то надо...

— Завтра... Попозже... к обеду.

Костя кивнул и, опять всматриваясь в карту, сказал:

— Хорошо. Нажмем по-командирски. Но — трудно будет. — Потом вспомнил каждого, мысленно перебрал все, что знает, и улыбнулся: — А может, и легко! Сколько времени на все даете?

— Сутки.

— Сутки — хуже. — Опять прикинул свое и решил: — А может, и в самый раз.

Они еще долго сидели, обсуждая возможные варианты действий в тылу противника, и Костя пришел в землянку глубокой ночью, юркнул на свое место и сразу уснул, но встал, как всегда, чуть раньше отделения. По повестке, как говорили до войны. Он осмотрел сапоги ребят, пощупал ватники, как щупают мех опытные скорняки, определяя, густа ли шерсть, хорош ли подшерсток. Потом посчитал подсумки и гранаты. И уж только потом заорал:

— Кончай ночевать! Слушай приказ! Засядько! Пойдешь к командиру хозвзвода и получишь пять пар теплых, шерстяных, портянок и пять пар теплого белья.

— Мы ж получали...

— Помолчи. Понял, Засядько?

— Так точно,— отвернулся Засядько.— Понял. Пять и пять.

— Малков, пойдешь на батарею к Рябову и выпросишь консервную банку... а лучше две банки пушечного сала.

— Так они и выдадут!

— Все. Кропт, у тебя иголки-нитки есть?

— Есть.

— Приготовься. Шить будешь.

— Чего шить?

— Карманы на стеганках. Поэтому всем стеганки оставить. Джунус, пойдём выйдем.

Они вышли, и Джунус спросил:

— Зачем сказал — с ней завяжешь? А ночью где был?

Костя повернулся к нему и долго вглядывался в его лицо, но до рассвета было далеко, и увидел он немного. Он отчетливо понимал, куда и зачем ему предстоит идти, и шансов на возвращение он видел немного. Поэтому если он не вернется, то окажется правым. А если вернется... Если вернутся все, то все ему простят, потому что победителей не судят. А если не все... Тогда и разберемся. Там видно будет... Но он уже понял, что чувствуют ребята, и понимал, что на их месте он тоже чувствовал бы примерно то же самое.

— Джунус,— медленно сказал он,— повар выдаст тебе сало, сахар и сухари. Возьми и сделай так, чтобы об этом не знали ребята. Задача ясна?

Судя по тому, как дернулся, выпрямляясь, Джунус, Костя понял, что он заподозрил неладное, нечестное, и оборвал:

— Это приказ, Джунус. А приказы не обсуждают. Запомни — чтобы никто не видел.

Вернувшись в землянку, приказал Кропту:

— Режь плащ-палатку. Карманы будешь пришивать на боках стеганок, так чтобы, полные, они, обратно же, не мешали локтям.

— Вроде вещмешков?

— Догадливый... Действуй. Хорошо бы с клапанчиками, чтобы снег не набивался или вода не затекала.

Кропт вместе с Костей вымеряли карманы, прикинули, как половчее их расположить, и Алексей неожиданно предложил:

— А может, и на маскхалатах найдем местечко?

— Это еще зачем?— подозрительно спросил Костя, и Алексей, сверкнув глазами, ответил:

— Так полагаю — запас можно будет взять побольше. И под рукой.

— Помалкивай... Догадливый.

Кропт улыбнулся, но промолчал. Когда пришел Малков и стал ворчать, ругая жадин-артиллеристов, дурацкие затеи и погоду, Жилин резко оборвал его:

— Вот о погоде и думай. А что тебе дали — благодари. Могли б и не дать. А теперь так: скидывай сапоги, ставь сушить. Походим в валенках.

Пришел Засядько и, положив на нары связку белья — новенького, шелковистого, спросил:

— Куда это?

— Раздай каждому. И себе возьми. Пару портянок и пару белья.

Потом Костя разложил на столе свою стеганку, придвинул банку с пушечным салом и стал вмазывать его в ткань. Ребята переглянулись, с интересом и недоверием приглядываясь к командиру. Тщательно просалив спину и грудь стеганки, Костя стащил ватные шаровары и начал высаливать и их.

— Ну, что уставились? Не знаете армейского закона: делай как я?

— На кой черт вещи портить? — спросил Малков.

— Я ж тебе сказал — думай о погоде. А она — оттепельная. В полушубке полезешь? Или в шинели? Так через час ты и ног не поднимешь, все водой нальется, и будешь таскать на себе пару ведер воды. А вот промаслим несколько раз стеганое — вода будет стекать. На мокром снегу заляжем — обратно же, вода не будет впитываться. Понятно? А карманчики делаем для того, чтоб можно было спокойно лежать, и в случае чего припасы будут под руками. Дело к весне пошло, дни увеличиваются. Что ж нам, голодными лежать?

Он говорил весело, но так, что ребята поняли — о чем-то он умалчивает. В его словах была своя логика, но такая, какая бывает и при розыгрыше. Костя понимал их, но делал вид, что все идет правильно. Он заставил дважды просалить сапоги и, только когда уж все было готово, сказал:

— Ну, вот что, добровольцы-комсомольцы, обратно же, москвичи. Командир батальона сегодня ночью приказал мне подобрать снайперов для действий в тылу противника. Пойдем ночью с разведчиками. Они вернутся, а мы — будем ждать нашего наступления. Дело сугубо добровольное. Думать даю до обеда. Каждый

решает сам, но если кто проболтается о наступлении — расстреляем. У меня все.— Он поднялся, оделся и ушел к разведчикам,— согласовывать порядок выдвижения.

Жилин верил в своих ребят, знал, что они согласятся идти в тыл врага, и все-таки... Все-таки, рассуждая с разведчиками, прикидывая все возможные варианты действий, он иногда примолкал, усилием воли подавляя сердцебиение. Домой он шел по возможности спокойно, не торопясь...

В землянке было тихо. Ребята вскочили, и Джунус доложил:

— Решили идти, командир.

Жилин кивнул, сел за стол и предложил:

— Двигайтесь поближе.

Да самого обеда они обсуждали способы действий в тылу врага, причем Жилин часто взглядом спрашивал у Кропта: так решаем? Правильно думаем? И Кропт медленно наклонял голову: правильно.

После обеда Костя приказал спать, потоптался, прикидывая, идти к Марии или нет, и махнул рукой: незачем волновать. Пусть ничего не знает...

Глава десятая

Комбат и замполит пришли вместе, оба строго-решительные, подтянутые, но у обоих в самых глубинах глаз пробегали отблески тревоги: за долгое время обороны оба отвыкли посылать людей почти на верную смерть. Хотя и в обороне смерть тоже бродила вокруг да около, но здесь действовал налаженный военный быт: ранят — быстро подберут и отправят в госпиталь. Во вражеском тылу ранение могло обернуться смертью. И все это понимали...

Но, понимая и сочувствуя, знали: с утра и самим идти туда же. Однако до утра было еще несколько часов, а снайперы пойдут сейчас... И оба с обостренным интересом, словно примеряя себя к их поведению, смотрели на ребят, невольно закаляя и ожесточая себя перед неизбежным.

Снайперы были спокойны, только Засядько часто краснел, опасаясь, что его по молодости лет могут заподозрить не то что в трусости, а хотя бы в нерешительности.

— Задача ясна?— спросил Басин именно у Засядько.

— Так точно, товарищ капитан! Ясна! Проникнуть в тыл врага, рассредоточиться и с момента начала арт-подготовки постараться поднять панику, особое внимание обратив на расстройство минометного огня противника.

— Хорошо,— наклонил голову Басин.— Расположение огневых запомнили?

— Так точно,— за всех ответил Малков и стал торопливо рыться в кармане гимнастерки.

Басин и Кривоножко с неодобрительным недоумением посмотрели на него: в этот решающий час нашел что-то свое, ему одному нужное. Малков, должно быть, угадал мысли офицеров, насупился и вытащил наконец листок бумаги, расправил его и нерешительно протянул Кривоножко:

— Вот... Заявление. На такое хочу идти большевиком.

Жилин быстро взглянул на Басина: надо же... Вот так Малков!

Кривоножко принял заявление и одобрительно посмотрел на Жилина: молодец сержант. Правильно проводил партийно-воспитательную работу. И дело хорошее, святое, и вовремя сделано. И тут произошло то, чего уж никто не ожидал. Ребята тоже стали вынимать из карманов заявления и протягивать их Кривоножко. Басину хватило выдержки, чтобы не показать вида, что решение ребят для него неожиданно. Он держался так, словно все шло как положено, а сам думал: «Какая же это странная штука — партийно-политическая работа. Ведь если совершенно честно, не видна же она... не видна... Ну, там сводки, газеты... Поговорят, обсудят... А вот поди ж ты... Все решили одно и то же. Значит, есть и в нас и в самой жизни нечто такое, что заставляет каждого честного человека в главные минуты своей судьбы самому, в душе своей, и оценить прожитое и самого себя, и определить, есть ли в нем силы и право идти в партию. Ведь не за тем же они идут, чтобы получить выгоду. О выгоде раньше следовало бы думать».

Кривоножко спросил:

— А как насчет рекомендаций?

Ребята переглянулись и потупились: об этом не думали. Вернее, думали, но времени оформить рекомендации не было.

Басин, взглядываясь в лица снайперов, молча взял из рук замполита листки заявлений и прочел вслух первое из них:

— «В партийную организацию третьего батальона от комсомольца Джунуса Жалсанова. На такое задание хочу идти коммунистом. Большевиком. Прошу принять». — Что ж... — сказал Басин. — Одну рекомендацию я дам... каждому. — И он поднял взгляд на замполита. Кривоножко облегченно улыбнулся:

— Вторая тоже, считайте, имеется. У кого есть бумага?

Костя бросился к своей сержантской сумке и достал ту самую, памятную, из дома отдыха, бумагу: писать писем ему было некому, и бумага сохранилась...

Комбат и замполит писали рекомендации и, протягивая написанное ребятам, жали им руки. Костя стоял в стороне, не мешая и думая о своем. Ему вспомнился новогодний вечер и то, что даже не думалось, а ощущалось. Вот и пришел их час, вот и они, уходя на смертный бой, делают это большевиками.

Он не успел развить эту мысль, потому что капитан Басин протянул ему бумагу:

— Вот, Жилин, и вам рекомендация. Пора переходить из кандидатов в члены партии. Пишите заявление.

Кривоножко вскинул взгляд и сосредоточенно, медленно склонил голову: пора.

Только мгновение помедлил Костя — слишком уж неожиданным оказался поступок комбата. Он взял рекомендацию и сдавленно поблагодарил. Кривоножко опять вскинул взгляд и самопиской указал на край стола:

— Пишите заявление, Жилин.

Нет, не так представлял себе Костя вступление в партию. В мечтах он представлял себе большое собрание, стол на сцене, пусть под открытым небом, но стол, и обязательно под красным сукном, с графином, а может, даже с цветами, и трибуну неподалеку. На трибуне секретарь говорит о Косте справедливые слова: хвалит, но и указывает конкретные недостатки (какие именно, в мечтах Костя не уточнил: не все недостатки, по его мнению, были недостатками, и не все достоинства следовало поминать). Потом на трибуну всходили бы другие люди — все солидные и приятные — и тоже говорили бы разные, нужные в таких случаях слова,

советовали бы Косте исправить некоторые недоработки — у кого ж их нет? — и желали бы новых успехов в бою и личной жизни. Правда, до Марии о личной жизни он думал как о далеком будущем. А он бы в это время стоял с другой стороны стола, слушал бы, смущался и сильно краснел. И уж потом, когда его приняли... может быть, даже при нескольких воздержавшихся, он бы сердечно поблагодарил собрание, пообещал бы и заверил. А после приема стал бы совсем другим человеком, умеющим безжалостно подавлять свои недостатки и приумножать достоинства.

А теперь, он ясно это понимал, другим человеком стать уже не успеет...

И он представил, как в роте Чудинова, где он состоял на партийном учете, готовящиеся к бою и, может, к смерти бойцы будут обсуждать его заявление...

Наверняка найдется какая-нибудь небритая зануда, которая свернет сигарку в палец толщиной — все равно экономить нет расчета, скоро в бой, а там табак, может, и не потребуется — и, пряча в густом дыму свои глазенки, вякнет: «А что он сделал такое, этот самый Жилин? Нам это неизвестно... Он, можно сказать, все время бесконтрольным живет». И кто-нибудь из сержантов наверняка сведет старые счета и поинтересуется: «А какие отношения у товарища Жилина с нашей поварихой? Не являются ли эти отношения моральным разложением, совершенно нетерпимым вообще, а тем более на фронте? На фронте надо воевать, а не разлагаться. А он и разлагается и блатом постоянно пользуется, славой своей спекулирует. Рассказывали нам, как он в доме отдыха лишние пол-литра получал и как старшина-хозвзводник ему подбрасывает. Для будущего коммуниста это не только некрасиво, а просто неприемлемо».

Обязательно найдется такой умный, кто скажет это сильное слово: «неприемлемо»...

Басин оглядел ребят и с пронзительной ясностью понял то, что происходит. Ведь знали они — кто ж об этом не знал на фронте! — что противник прежде всего выяснял, кто из пленных коммунисты. Коммунистов расстреливали на месте. Значит, уходя в тыл, все они вполне сознательно отрезали последнюю шаткую надежду остаться в живых, если что-нибудь не так...

— Я вот о чем задумался, товарищ капитан, — обратился Костя к Кривоножке. — Как же нас будут при-

нимать в партию, нас не будет на тех собраниях? Вроде ведь, обратно, нарушение?

Тот, давний, завуч и комиссар, Кривоножко еще бы раздумывал, как поступить в таком сложном случае. Новый Кривоножко, Кривоножко-офицер, уже не раздумывал:

— В таком деле не так уж важно, что скажут и что подумают, главное, что сделаем. Обстоятельства необычные, и решения тоже будут... необычные. Так что не волнуйтесь. Разберем как положено.

Глава одиннадцатая Комбат с замполитом шли к штабной землянке молча. Басин резко остановился и спросил:

— Когда думаешь проводить партийно-комсомольские собрания?

— После полуночи... — Кривоножко с интересом смотрел на комбата: Басин обратился к нему на «ты»: комбат был из тех, кто на «ты» обращается только к приятным ему людям.

— Я тебя попрошу, проверь тылы, особенно боепитание. Чтоб все запасные диски были набиты. И — медицину. Обещали подослать собачек.

— Каких собачек? А-а... С лодочками... Так в полку их вроде нет...

— И в дивизии нет. Но в армии есть какой-то там... не помню названия... ну, вроде отряда медицинского усиления. И у них — собачки.

Кривоножко кивнул: собачки с лодочками — это хорошо. Он помнил, как трудно спасать раненых зимой. Свирепые морозы прошлого года сразу сковывали проступавшую кровь, люди простужались, и воспаление легких косило ослабевших от потери крови. А собаки, впряженные в легкие, подбитые внутри собачьим мехом, фанерные лодочки не только вывозили раненых, но и отыскивали их там, где санитар-каюр в спешке, под огнем, ползая в снегу рядом с лодочкой, никак заметить не мог. Да, собачки в прошлом году, под Москвой, выручили многих. Но если дали даже собачек, значит, дело заваривается серьезное...

Комбат и замполит разошлись. Басин пошел на батарею старшего лейтенанта Зобова. Его встретил часовой и проводил к дежурному, который сидел возле телефона у огонька светильника. Дежурный — хорошенький, подтянутый — вскочил и с доверительной

улыбкой, в которой сквозила и гордость за свой, артиллерийский, устоявшийся быт, и легкая ирония по отношению к начальству, сообщил:

— Наши отдыхают. Разбудить, товарищ капитан?

Басин промолчал. Он оглядел бревенчатые стены вкопанной в землю избы, занавесочки, коврики и полочки — весь этот нехитрый, но все ж таки уют, вспомнил вечер среди этого уюта и свой позорный поход к Марии.

«Через несколько часов — в бой. И, может быть, ничего не останется ни от меня, ни от нее, ни вот от этого дежурного Петечки — любимца батареи, ни от фельдшерицы, ни от многих других. Ударит тяжелый снаряд, и разлетятся бранные тела на кусочки, которые и найти в снегах будет невозможно. Так зачем же тогда все эти мучения? Может, и правильно — война все спишет?»

Почувствовав ложь в своих нетвердых выводах, смещение понятий, оправдывавших его неважные поступки, он стал злиться на себя, прошелся, посмотрел на спящего Зобова.

Темно-русые волосы старшего лейтенанта спутались, разметались, большая ладонь лежала под щекой, и лицо от этого перекосилось. Коротковатый, картошкой, нос скособочился, полные губы приоткрылись.

Таким мягким, уютным, обидно далеким от войны был в те минуты Зобов, такое мягко-насмешливое отношение он вызывал, что Басин, улыбаясь, наклонился над ним и увидел, что из-под второй руки старшего лейтенанта выглядывает фотография ребенка. Капитан осторожно вынул ее из-под безвольной кисти.

Молодая усталая женщина с круглым добрым лицом и прижавшаяся к ней девчурка. Пухлые щеки, пухлые губы, курносый нос.

«Вырастет — будет картошкой, как у отца», — подумал Басин, вспоминая, какой же нос у его дочери.

Он не вспомнил. Вспомнилось другое — отношения Зобова и фельдшерицы.

«Экая сентиментальная дешевка, — разозлился Басин. — С одной спит, а вторую, как куклу, к себе прикладывает. И ведь считает наверняка, что все идет правильно, потому что война все спишет».

Он злился все жестче, но уже не на себя, а на Зобова и на других, которые живут вот такой двойной жизнью.

«Как это ловко придумали — война все спишет. Списать-то спишет, да куда совесть денешь? Раз спишет, два спишет, а что потом останется? Пустота?»

И чем дольше он думал так, тем сильнее ему казалось, что с Марией у него ничего не вышло как раз потому, что он не мог переступить некоей черты, за которой начиналась потеря совести. При этом Басин на-чисто забыл, а может, никогда и не помнил, потому что никогда не разбирался в этом, что и в прошлой его жизни он ни разу не завоевывал чужую любовь. Те немногие женщины, которых он знал, в сущности, сами завоевывали его, а он, стыдясь и оттого грубя, тянулся за ними, как бычок на веревочке. Может, потому и женился рано, что не нравилась ему эта роль — бычка на веревочке, а как ее сменить, не знал и так и не узнал, потому что ему всегда было некогда: институт, работа...

Он положил фотографию на место и растолкал Зобова. Тот сначала свернулся калачиком, посопел и только потом узнал и разочарованно промычал:

— А-а, капитан... которого женщины любят, а он их нет. Можешь не беспокоиться. Все орудия вывожу на прямую... разбивать колья в проволочных заграждениях. Расчеты огневые оборудовали. Приказ повторили. Все. Теперь иди, а я посплю.

Он повернулся к стене и опять положил большую ладонь под пухлую щеку. Главное, за чем шел Басин, было сделано, но легче от этого не стало. Не понимал он Зобова, не понимал еще многого...

«А разобраться все-таки нужно.— Но сейчас же вспомнил, что предстоит сделать и пережить, и подумал:— Если время будет».

Он со всей ясностью ощутил, что времени у него действительно мало и заниматься личными переживаниями некогда. Он вышел и наткнулся на Кислова. Тот стоял, прислонясь к притолоке, и, увидев Басина, укоризненно покачал головой:

— Нехорошо, товарищ капитан. Я же теперь не связной, а ординарец, и я обязан вас охранять везде и всюду. А вы сбегаете...

Первый раз в жизни Басин получил замечание от подчиненного. Наверное, он вспылил бы, но увидел серьезное и огорченное лицо Кислова и, скорее по внутренней инерции, чем всерьез, отрезал:

— Еще тебя на мою голову не хватало. Пошли.

Кислов молча протянул ему каску и автомат. Басин

насмешливо-сердито взглянул на него, перехватил суровый, осуждающий взгляд, вздохнул, надел каску и взял автомат.

В штабе батальона его встретили настороженно-тревожными взглядами. Делать тут было нечего — подготовка к атаке переместилась в подразделения, и тревога, вынужденное безделье угнетали. Басин приказал соединить его с приданными и поддерживающими минометчиками и артиллеристами, осведомился по очереди у всех, как обстоят дела, и, получив заверения, что все в порядке, сердито сказал:

— Позвонит подполковник — я в ротах, а потом на НП. И что вы, как снулые, сидите? Карты, что ли, подклейте...

Новые листы карт подклеивают только при успешно развивающемся наступлении. В глазах у штабников мелькнула надежда, даже радость, видно, капитан знает нечто такое, что позволяет надеяться на верный успех...

А Басин не надеялся. Басин знал, что, если все пойдет, как он организовал и подготовил, его батальон задачу выполнит. Сделает то, что не могли сделать почти год: Варшавку перережет. Если... если каждый отдаст себе свой внутренний приказ, самый строгий и самый трудный — зачеркнуть свою жизнь ради жизни других.

Басин вернулся к мыслям, что пришли в землянке Зобова. А ради кого ты, комбат, сам пойдешь на смерть и пошлешь на нее сотни людей? Спишет ли война любую твою ошибку, просчет, колебания? Оценит ли твои действия тот, кого ты пошлешь на смерть?

Вот ведь в чем сложность твоей жизни — не только ты сам идешь на смерть, ты и других посылаешь и, что еще труднее и страшнее, заставляешь идти на нее и колеблющегося, трусившего. Нужно уравнивать тех, кто идет выполнять свой внутренний приказ сознательно, убежденно, с теми, кто в последние минуты вспомнит семью или любимую и один попрощается с ними, а другой возмутится: как это его, такого хорошего, оторвали от такой замечательной семьи, от таких милых детей, от любимой и бросили в это холодное, грязное пекло, и возмущение свое доведет до бешенства и, по законам войны, обратит его против врага; и с теми, кто уже давно мечтает получить орден или хотя бы медаль, чтобы потом, после войны, чувствовать себя равным

или даже чуть выше других,— как всех их соединить в одну единую массу, сплавленную одной мыслью, чтобы эта масса в едином порыве обрушилась на врага?

Нет таких рецептов! Есть человек, воспитанный так или иначе, а бой всегда лишь экзамен этому воспитанию.

Вошла фельдшерица — возбужденная, решительная, озаренная огромными прекрасными глазищами и потому красивая.

Она лихо козырнула, оглядев штабных, наклонилась к уху Басина:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться... секретно.

Капитан встал и молча, недовольно посапывая, — оторвали от раздумий — пошел к двери, остановился, пропуская вперед фельдшерицу.

Дул легкий западный ветер, звезды подернулись мглой и еле мерцали. Где-то далеко противно-пронзительно скрипели на вытаявшем камне тяжело груженные сани.

— Товарищ капитан, нам придали две собачьих упряжки, а я не знаю, куда их нацелить.

— Как куда? В полосу батальона.

— Видите ли, товарищ капитан, собачьи упряжки наиболее быстрое и верное средство эвакуации раненых. Так вот, мне важно знать, где ожидается наибольшее количество раненых.

Басин помолчал, уясняя вопрос, — голова все еще работала над теми высокими и сложными мыслями, что пришли к нему так неожиданно. Смысл вопроса наконец был уяснен, и Басин рассердился, потом внутренне рассмеялся — надо же, чего захотела медицина... А исход боя она знать не хочет? А число потерь?

— Гадать не научился, товарищ лейтенант медицинской службы. Но предполагаю, что потери будут в полосе батальона. Именно там и надлежит быть и вам, и собачьим упряжкам.

Она уловила насмешку и оскорбилась:

— Я вполне серьезно, товарищ капитан.

Надо же, как подействовало введение офицерских званий на бывших нестроевых: все сразу почувствовали себя офицерами и сделали соответствующие выводы — усилили самоуважение и потребовали уважения от других к своему новому прекрасному званию, а следова-

тельно, и к себе персонально. А вот личной ответственности еще не поднабрались...

Ему опять вспомнился вечер в зобовской землянке и милая речь фельдшерицы — она, помнится, подчеркивала, что новая, уже офицерская, форма красива, а само звание потребует воспитанности и культуры. А вот насчет того, как эта новая форма и новые офицерские звания повлияют на ход войны — не вспомнила. И что это новое потребует от самого офицера — тоже как-то обошла стороной.

— И я вполне серьезно. Где будет наибольшее количество раненых и где понадобится вы и ваши средства усиления, знать надлежит вам, и я потребую от вас и этих знаний, и действий, вытекающих из этих знаний.

Она никогда не видела его таким жестким. Ведь до сих пор она, единственная женщина-командир в батальоне, привыкла к некоей почтительности, атмосфере полувлюбленности и потому могла позволять себе отступления от традиций, уставов и приказов. И она могла не допускать вот такого жесткого тона. А сейчас, когда ко всему прошлому прибавилось еще и звание, уравнивающее ее со строевыми командирами, она решительно не понимала капитана и оскорбилась еще больше. Ее огромные глазищи гневно пылали, полные губы сжались почти в ниточку. Басин уловил ее состояние и решил раз и навсегда поставить ее на свое, определенное службой, место:

— И еще, товарищ лейтенант медицинской службы... Вы знали, что у Зобова есть жена и дочь?

— Это к делу не относится, — ответила она.

— Нет, относится... Здесь, — он повел рукой, — все ко всему относится. Так вот — знали или нет?

— Знала, знала! И вы должны знать, что и у меня есть муж... И это наше и только наше личное дело. А Зобов тем и хорош, что он не притворяется, не скрывает ни семьи, ни чувств, как некоторые... Вам все понятно, товарищ капитан?

— Да, — кивнул Басин. — Мне все понятно. Этот интимный разговор мы продолжим после боя. А сейчас действуйте. В строгом соответствии с моим приказом... когда он последует. У меня все. Идите!

Она смотрела на него возмущенно и непонимающе, потом резко вскинула руку к ушанке и круто повернулась.

«Некстати напомнил,— подумал Басин.— Надо было после боя...»

Мелькнула еще какая-то мысль, но там, где должны были пробираться в тыл врага снайперы и разведчики, грохнула серия минных разрывов. Он прислушался, ожидая новой серии, и с этого мгновения все, что еще связывало его с обороной и определяемым ею образом жизни, мыслями, переживаниями, все ушло, и он стал жить только предстоящим боем, наступлением.

Глава двенадцатая

Семеро разведчиков и пятеро снайперов сгрудились в просторной землянке у переднего края, ожидая возвращения саперов, которые разминировали проходы в своих и вражеских минных полях, подрезали провололочные заграждения. Непривычные к ночным бдениям, разморенные теплом натопленной землянки, ребята приткнулись на нарах и стали посапывать. Командир группы разведки, старший сержант, плотный, коренастый, с грубым, решительным лицом и жестко сомкнутыми губами, поглядывал на Костю несколько свысока, как человек, который знает цену и себе и своим вынужденным напарникам. И эта вторая цена его явно не устраивала, впрочем, как и вся затея начальства: брать «языка» перед наступлением и посылать в тыл снайперов? Кому это нужно? Что оно даст? Силой немца ломить нужно, силой! А не придумывать разные штучки-дрючки. Но напрямую старший сержант об этом не говорил,— и потому, что привык разговаривать мало, и потому, что рядом сидел и откровенно нервничал помощник начальника штаба полка по разведке — ПНШ-2 — сутулый старший лейтенант.

Жилин и во время организации взаимодействия обеих групп не проникся особым уважением к старшему сержанту, и сейчас, перехватывая его высокомерные взгляды, в душе посмеивался и немного побаивался: черт его знает, как поведет себя в бою этот угловатый крепыш из кемеровских шахтеров. Жилин разговаривал со старшим лейтенантом, которому не слишком нравилась затея капитана Басина, и потому отвечал он Жилину скупой и отрывисто. Но Жилин словно не замечал этой неприязни и выпрашивал, по каким тропкам ходят фашисты и на передовой и в тылу и есть

ли у них там минные поля. Старший лейтенант тыкал пальцем в карту, считая, что снайпер будет разбираться в ней долго и неточно. Но Костя разбирался хорошо — в полковой школе их учили на совесть — и опять задавал вопросы, от которых старшему лейтенанту становилось не по себе. Оказывалось, что знал он далеко не все из того, что знал Жилин, постоянно наблюдавший за противником и выспрашивавший о его поведении у своих многочисленных друзей на передовой.

Костя подумал, что никакой разведчик на настоящей войне не может знать о противнике все на свете. Война — как жизнь, но особого свойства, и в ней, как в жизни, обстоятельства могут меняться мгновенно...

Они примолкли, и в эту невеселую тишину ворвались саперы. От нечеловеческого напряжения — ползать под самым носом у врага, под проходящими над спиной пулеметными очередями, и делать самую страшную на свете работу — снимать мины, установленные еще летом, а сейчас, зимой, намертво вмерзшие, заржавелые и, по сути, неизвлекаемые, — от такой работенки нервы были натянуты до предела.

Шумное дыхание саперов, их простуженно-громкие голоса, резкие движения людей, ушедших от смерти, возмутили старшего лейтенанта:

— Потише можно? Не в кабак пришли!

Кто-то, невидимый в сумерках, обозленно ответил:

— А ты его видел, кабак? Видел?

Старший из саперов сдержанно сказал:

— Ну, ладно вам, ребята... Разведчики спят...

Разведчики есть разведчики, и саперы примолкли, разговаривая вполголоса. Старший приблизился к столу, и Жилин узнал Глазкова, с которым они вместе отдыхали в доме отдыха. Глазков небрежно козырнул.

— Проходы проделаны, товарищ старший лейтенант, но ползти нужно осторожно: проволока сталистая, видно, французская или чешская, звенит здорово. Вправо-влево от нашей тропки не лазьте — минное поле старое, может, чего и не обнаружили: щупы не берут, грунт мерзлый, а руками не все нашаришь. И еще...

Старший сержант грубо перебил:

— Еще какую радость сообщишь?

Глазков неторопливо огляделся, понял, что старший лейтенант в данном случае лишь наблюдающий, а главный — старший сержант, и с легкой насмешкой сказал:

— Опять шумишь, Санька. Ты слушай, когда говорят. И еще в дзоте, что как раз на урезе лощинки, фрицев много, а огня не ведут. Поостерегитесь.

— Греются, вот и не стреляют.

— Ты всегда все знаешь, — махнул рукой Глазков. — У меня все.

Ему никто не ответил, и тогда Глазков протянул руку Жилину:

— Здорово, казачок. Ночью решил поохотиться?

И хотя Глазков вел себя независимо, да он и мог вести себя именно так — приказ он получал от своего, саперного начальства, — армейская, вошедшая в кровь этика не позволяла им обоим радоваться встрече на виду у офицера. Они отошли в дальний угол, присели на корточки и стали закуривать.

— Достается? — сочувственно спросил Костя.

Глазков на мгновение задумался, прикурил, а уж потом ответил:

— Да как тебе сказать... Если с умом, так терпимо. — Он примолк, словно ожидая Костиного вопроса, но Жилин промолчал, с острым интересом разглядывая того, кто только что прорвался между, казалось бы, неминуемыми — сверху и снизу — смертями и все-таки был по-прежнему спокоен и доброжелателен. — Я тебе так скажу, казачок... Нету у меня теперь не то что страху, а даже уважения к немцу. Раньше я видел и на своей спине чувствовал: силен, бродяга. Умен. И — хитер. О храбрости и дисциплине и не говорю — они и сейчас есть. А теперь что получается? Полтора года воюем, хоть бы какую новую мину придумал, хоть бы систему минирования сменил, нет — все как было. А ведь полтора года! У нас за это время и глупостей было сколько, так и новинок сколько. Мы теперь по шаблону минируем. Хитрый шаблон — системы вроде нет, а как ни ходи, а все равно на мину напорешься. Так же со стрельбой у него — день-два послушал, как и откуда строчит, так и знай: еще долго оттуда же и с теми же перерывами строчить будет. Так что если с умом приспособливаться, воевать уже можно. Терпимо... — Они помолчали, и Глазков спросил: — А ты как думаешь?

— Да примерно так же... Воевать уже можно, только надо бы лучше.— Опять помолчали, стараясь не касаться главного, чего Костя, кажется, еще не мог рассказывать, а догадливому Глазкову очень хотелось выведать. Костя все-таки не выдержал — ему идти, а сапер оттуда. И он спросил:— А как у него... за передком?

Глазков внимательно взгляделся в смуглое лицо Жилина, вздохнул и сказал:

— Идешь, значит... Один или всем гамузом?

— Гамузом...

— Во-от оно что...— Глазков сосредоточенно покивал своим мыслям.— Ну, что ж... Оно правильно. Проберетесь — больших дел натворите...— Он опять помолчал. Жилин напряженно вглядывался в его сосредоточенно-доброжелательное, постепенно приобретающее жестко-озабоченное выражение лицо.— Только я тебе так скажу: как только перелезете на ту сторону — скорей сбегай от разведчиков. Они наверняка пойдут к пехотным землянкам, в ложине. Место там для землянок хорошее — все вкопаны в скаты. А ты давай круто влево, там, по нашим расчетам, тропка есть — и прямо к взлобочку. В него артНП вкопан, и от него артиллеристы ихние ходят прямо к кустарнику. А уж кустарником — через Варшавку! Артиллерийские землянки возле ихних огневых, а они за болотом. Но немцы сейчас ходят прямо по болоту — подмерзло, а летом ходили вкруговую...

— Сам высмотрел?— с легкой завистью спросил Костя. Так спрашивает у мастера другой мастер, когда увидит новинку в его мастерстве.

— Сам догадывался. Но у меня есть парень, он хорошо немецкий знает, он слышал, когда у них под носом лазили, как немецкие пехотинцы разговаривали. Вроде бы завидовали... своим артиллеристам. И еще. Как за НП... да даже на подходе к НП — не таитесь. Идите смело, будто пехота идет. Или связисты. Ночь, вы в маскхалатах: черт разберет, кто идет — немец или русский. У нас так было. Поползли мины снимать и наткнулись на ихнюю разведку. Мой парень поговорил по немецки, те повернули в сторону. А мы — назад. Предупредили вовремя.

— У меня таких говорящих... нет.

— Оно еще и лучше — молча и нахальной.

— Нахально не всегда выходит...

Глазков усмехнулся:

— Я ж сказал — с умом, приноравливаясь.

— Это верно, — тоже усмехнулся Костя. — А как думаешь — прорвемся?

— Думаю, проберетесь. И батальон ваш, думаю, прорвется. А вот полк... не знаю...

— Почему так решаешь?

— Видишь ли, казачок, я по всему передку лазаю — мы ж полковые минеры-саперы. Сравниваю. У вас и порядка больше, и настрой другой, и подготовка. Думаешь, никто не видел, как ваши в тылу занимались? Видели! Все видели.

Костя хотел задать еще один, важный для него и для всех вопрос — серьезное ли наступление или так... бои местного значения, но не успел этого сделать. Старший лейтенант посмотрел на часы и резко, даже грубо, сказал:

— Все. Подъем!

Солдаты вскакивали с нар, наотмашь стирая сладкую слюнку и дремоту, и круглыми, как у ночных птиц, еще незрячими на свету глазами оглядывали землянку, а руки уже лежали на оружии. Люди разбирались по группам — снайперы в углу, где беседовал Жилин, разведчики — поближе к печке, к саперам.

— Проверить оружие... Попрыгать... подогнать снаряжение... Попрыгать...

Они прыгали, подгоняли сбившееся снаряжение и обмундирование и опять замирали, ожидая приказа. Собственно, приказ и способы его выполнения были известны, но выслушали его с подчеркнутым вниманием: «Взять «языка», огнем, в случае нужды, прикрыть выдвижение снайперов, которым надлежит выполнять свое задание».

Из землянки выходили молча — вначале разведчики, затем снайперы, потом замыкающие разведчики. Снайперов замыкал Алексей Кропт. Жилин решил поставить его замыкающим потому, что Алеша партизанил и знал, как вести себя в сложных условиях. Сам Костя двигался после старшего разведгруппы, потом, через несколько разведчиков — Джунус. Они оба бывали в окружениях и тоже знали, что к чему... А уж потом, парой, двигались Малков и Засядько.

Из траншей выкатились покатом и ящерицами, извиваясь, поползли по следам саперов. Было тихо, ракеты взлетали редко, и люди ползли быстро, беспоко-

ясь только об одном — не хрустел бы снег, потому что стало подмораживать.

Сапер, что провожал их, отстал у проволочных заграждений, и они остались одни. На ничейной земле Костя, как, вероятно, и все, перевел дыхание и на мгновение приостановился. До этой минуты все происходящее было еще как бы не в натуре, а в раздумье. А вот тут, на ничейке, после ухода сапера, все стало жизнью. И этой жизнью предстояло жить...

Ползли они, в общем-то, быстро, каждому хотелось, чтобы все, что должно произойти, происходило бы поскорее: ожидание мучило. Но постепенно и это ожидание стало привычным и отодвинулось. Думаться стало яснее и жестче. И тут высоко в небе родился противный минный визг, и серия мин разорвалась за цепочкой ползущих. Как остаток последнего разрыва, прокатился стон. Все затаились. По цепочке передали: Кропт и один разведчик ранены. Костя тронул за сапог старшего сержанта и сообщил:

— Один твой и один мой — ранены.

Старший сержант шепотком выругался и заерзал — решение принималось не сразу. Сам бы он наверняка отдал приказ отходить — раскрыли же немцы их движение, — но с ним были снайперы, а им нужно пробиваться в тыл противника.

Костя остро и мгновенно оценил обстановку и разгадал мысли старшего сержанта. Вся группа лежала как бы между двумя увалами, а ребят ранило на самом увале. Немцы могли и не заметить всю группу, а только замыкающих. Значит, нужно подождать, убедиться, что немцы обнаружили не всех... И он шепотком отдал приказ:

— Раненым возвращаться. Остальным — ждать.

Страший сержант слышал Костин шепот, но хоть и разозлился на него — нашел время командовать, не он здесь старший! — но и обрадовался: в случае чего будет на кого списать... О том, что это самое «в случае чего» может окончиться гибелью, он, конечно, не подумал: дело есть дело, и когда его начинаешь, думаешь не о смерти...

Приказ пополз по цепочке назад. Тут разорвалась вторая серия мин, и Костя с ужасом подумал: а ведь он посылает Кропта и неизвестного ему разведчика на верную смерть. Если немцы засекли только тех двоих, то они решат, что это либо разведчики, либо саперы,

и будут колошматить их минами долго и нудно. Осудив свое полупредательство, он подумал о другом: если раненные привлекут на себя внимание наблюдателей противника (то, что они привлекут на себя и огонь противника, он понимал, но старался не думать об этом: война, она и есть война и не они сами и не раненные были главным. Главным стало выполнение приказа), то основная группа может остаться незамеченной.

И они лежали, стараясь не шевелиться, и даже дышали в рукава, у локтя. А сзади снова и снова рвались минные серии, и на корке образующегося наста вспыхивали ало-голубые блески. Потом поплыли ракеты, снег стал оранжевым, почти мандариновым, и лежащих начали обходить резкие тени, и каждый считал, что не заметить эти тени может только слепой.

На нашей стороне поняли, в какой переплет попали разведчики и снайперы, по переднему краю противника тоже ударили минометы, и теперь группа лежала между двух огней, мучительно ожидая, не сорвется ли какая-нибудь мина — хоть своя, хоть чужая, один черт — и не шлепнет ли, подвывая и взвизгивая, как раз на них.

Перестрелка длилась долго — может, минут десять, а может, час, — время тут, на ничейной полосе, шло по своим законам... Потом минометный огонь стих, но стали стрелять пулеметы. Очереди проходили и над спинами, и в стороне и казались плотными, шепелявыми. Их трассы бродили где-то возле наших проволочных заграждений. По всему чувствовалось, что противник не старается проявить боевой активности — ну, заметили непорядок на передовой, ну, постреляли, свой долг выполнили... Русские тоже постреляли. Прикрыли огнем своих неудачников... Все правильно... Привычная война и шествует привычно...

И пулеметы замолкали.

Ночь близилась к рассвету, и немцам, наверное, хотелось спать, тут еще и морозец поокреп, и волглое обмундирование и обувь наверняка подводили к усталому телу зябкий холод. Дрожимент, как говорили в батальоне Басина. Представить себе, что русские немедленно пошлют новые группы, противник не мог — это противоречило установившимся правилам, и потому немецкая передовая умолкала, слышались хлопки дверей, удаляющийся говор.

Жилин тронул старшего сержанта за сапог — не пора ли, дескать, двигаться? Разведчик неприязненно посмотрел на Костю — черт упрямый, думает только о приказе — и пополз вперед, к маячившим впереди темным кольям немецкого проволочного заграждения. Напряжение возросло, а подавляемые во время перестрелки страхи окрепли. Появилось даже ожидание неизбежного провала.

Но у проволочных заграждений неожиданно зашевелился сугробчик, из него поднял вздрагивающую руку живой солдат. Он показал направление движения, и все, проползая мимо него, почему-то представляли себя на его месте — один, под носом у немцев, на минном поле, гадающий, придут свои или не придут, а может, они перебиты или повернули назад, и тогда и он может тоже ползти назад, чтобы выбраться из этой молчаливой передраги. Он наверняка думал обо всем этом и мечтал спастись, но вот не пополз назад, перешибил страх, холод и чувство обреченности — ведь он был один, совершенно один, — дождался своих, потому что, наверное, верил, что не выполнить приказ невозможно. Приказ — он выше жизни, и если он, одинокий, выполняет приказ, то выполняют его и другие, которых он не знает и никогда не видел, но которые живут и думают так же, как и он.

И, проползая мимо этого одинокого замерзшего и изнервничавшегося сапера, разведчики и снайперы словно обретали новые силы, новую уверенность: нет, не так оно все просто на войне. Вот ведь — думают о них, обеспечивают, заботятся, а это значит, что и то, что предстоит сделать им, тоже вполне достижимо... Все шло правильно...

Глава тринадцатая Обитатели штабной землянки при-
молкли, невольно поворачиваясь в
ту сторону, где грохнули минные разрывы, но смотре-
ли на Басина, словно только он мог защитить всех от
внезапной беды. Именно с этой минуты к нему при-
шла высшая, определенная не уставами, не обычаями,
а самой сущностью военной жизни, всепроникающая
власть.

Басин, не глядя, протянул руку, и телефонист, при-
встав, суетливо подал телефонную трубку.

- Мкрытчан! Что у тебя?
- Еще не знаю. Узнаю — доложу.
- Наши прошли?
- Так точно.
- Бьет, значит, по хвосту?

Донесся слитный звук новых разрывов, и Мкрытчан помедлил с ответом. Потом доложил:

— Да, видимо, по хвосту.

— Особых мер не принимай. Действуй как обычно. Я позвоню минометчикам.

Он позвонил минометчикам, приказал им ответить, но не зарываться, и все это по возможности спокойно, буднично, сам удивляясь тому, что ему, как хорошему актеру, удастся роль уравновешенного, многоопытного военачальника, хотя в душе он страшно боялся обнаружения разведки и потери снайперов. Так боялся, что даже пожалел, что послал Жилина в тыл. Басин и сам раньше не знал, как ему дорог этот веселый казачина, который обставил его в таком деликатном деле...

И глядя на комбата, по-новому оценивая его, штабные успокаивались и проникались уважением к себе, оттого что они так близко стоят к комбату, невольно стараясь перенять и его тон и манеру поведения. Басин заметил это и принял как должное.

Может быть, потому, что все как-то само по себе, в силу своих внутренних законов улеглось и определилось, Басин ощутил отчаянную усталость. В иное время он нашел бы в себе силы преодолеть эту усталость, но теперь он чувствовал, что просто обязан отдохнуть и, главное, показать всем, что он имеет право отдохнуть,— положение дел отличное и беспокоиться ему не о чем. И он, лениво потянувшись, сказал:

— Я у себя. Постарайтесь не будить.

И уже шагая к своей землянке, он подумал, что Зобов прав: отдыхать перед боем надо. Надо не только для себя, а чтобы все подчиненные знали — дела идут так, как необходимо. И он, отпустив ремень и приспустив голенища, навзничь повалился на топчан.

Ему казалось, что он уснет сразу, но из этого ничего не вышло. Он слушал минометную перестрелку, потом рокот пулеметов, казнил себя за то, что послал снайперов в тыл противника, сознательно, ради спасения жизни других, таких, которых он и не знал по фамили-

ям, обрек на уничтожение уже близких и уважаемых им ребят.

Передовая затихала, и он, напрягая слух, подстегивая нервы, ждал, что она снова взорвется разрывами и пулеметными очередями... И тогда станет понятным — он послал людей на верную и ненужную смерть...

Тишина передовой стала невыносимой. Он поднялся и, как это ни удивительно, почувствовал себя словно очищенным — легким, сильным, с ясной головой. В штабе ему доложили, что вернулся раненый снайпер, который притащил на себе разведчика, а остальные, по видимому, прошли, и вот теперь ждут возвращения разведчиков. Басин кивнул и спросил, прибыли ли артиллеристы. Они, оказывается, уже прибыли, но пошли на свои НП. Связь с ними налажена. Командир полка не звонил.

Все шло правильно. Басин думал об одном: почему не возвращаются разведчики? Если они попались, напоролись на засаду, роты наверняка бы услышали бой и доложили бы в штаб. Он связался с полком и узнал, что командир полка еще отдыхает. Потом проверил, как сработали тылы, — накормлены ли люди, розданы ли сухой паек. Ему ответили, что все сделано так, как он приказывал, и за всем этим лично проследил замполит батальона капитан Кривоножко.

В сущности, комбату оставалось немного — пройти по переднему краю, лично убедиться, что роты готовы к атаке. Он огляделся, уже привычно разыскивая взглядом Кислова, и вспомнил, что, когда он шел от своей землянки в штаб, ординарца не было. Это обидело. И когда он уж стал сердиться, в двери штаба виновато протиснулся Кислов.

— Товарищ капитан... Вам до землянки надо...

— Это еще зачем? — сердито спросил Басин. Кислов снова как бы командует им.

Кислов помялся, оглядел штабных и умоляюще взглянул на капитана.

Басин поднялся и вышел. Кислов пошел сзади — молчаливый и страдающий.

В землянке было светло, на столе, на чистой газетке, стояли котелок, чайник и сковорода. Пахло так вкусно, что Басин сразу вспомнил: он ничего не ел с самого вечера. Усаживаясь, спросил:

— А сам?

— Успеется...

— Когда начнется — не до еды, а голодный ты мне не нужен... сморишься. Садись.

Кислов, прикрывая рот ладонью, вздохнул, снял каску и ушанку, пригладил отросший ежик и пристроился напротив. Ели молча, и Кислов не выдержал молчания:

— Повариха наша, Мария, пошла к фельдшернице в помощь. Сама решила.

Басин всмотрелся в Кислова: знает он или не знает о его неудачных ухаживаниях? Нет, не знает... Если б знал, то, при кисловской деликатности, он бы никогда не вспомнил Марию.

— Ну, что ж... молодец.

— Она всегда молодец,— мечтательно сказал Кислов.— Самостоятельная женщина.

Опять вспомнилось все, что касалось Марии, и капитан заставил себя отогнать эти воспоминания. Кончится бой, вот тогда...

А что тогда? И тогда и после уже ничего не случится, потому что он уже переболел сердцем, перегорел, и у него хватит сил сдерживать себя.

Помолчали. Басин отхлебнул чаю и опять взялся за ложку.

— Задерживаются...— сказал так, словно речь шла об опаздывающих гостях.

— Да... Что-то у них не в дугу...

Они опять примолкли, думая об ушедших. Прибежал писарь и сказал, что Басина вызывает командир полка.

— Что у тебя там?— Голос у командира полка звучал свежо и бодро, хотя подполковник и старался быть ворчливо-придирчивым. Басину представилось, как он хмурится и сердито сдвигает жидкие брови.— Ты хоть по передовой прошелся?

— Не считал нужным. А вот сейчас пойду проверить.

— Только сейчас?! Так они у тебя там черт-те чего наворочают, а потом...

— У меня не наворочают. Все идет по плану. Замполит партсобрания провел. Порядок будет.

— Ты еще скажи, что комсомольцам поручил!

— Собрания были партийно-комсомольские. Знает, половина личного состава задачу знает и поработает в ротах. Гости на местах.

— Ты как маленький! — почти взмолился командир полка — он никак не мог привыкнуть к стилю комбата, к его манере говорить. — Сам, понимаешь, сам должен все проверить и пощупать. А то тебе надокладывают. Собrania, понимаешь... Мои хлопцы вернулись?

Вот что было главным — вернулась ли разведка или нет. Так бы и говорил. А то сколько слов, сколько нервов! Он, что ли, один волнуется? Все ждут разведчиков...

— Нет, товарищ первый, не вернулись. Тишина.

И говорить стало не о чем. Басин представил себе, о чем думает командир полка: если попадутся разведчики или снайперы, то противник может узнать о готовящемся наступлении, и тогда полк, вероятно, не выполнит задачи, — противник подготовится к встрече.

Наверное, в эту паузу командир полка мысленно ругал Басина за его выдумку — послать снайперов в тыл противника, ругал себя за решение выслать разведку. Но он-то поступить иначе не мог, старые, официально не отмененные, но молчаливо отвергнутые уставы требовали перед началом наступления обязательно высылать разведку. Да и все довоенные учения проводил именно так: перед наступлением обязательно высылал разведку и неизменно получал за это свое решение благодарности. Но как себя вести, какие принимать решения в новой обстановке, он не знал и оттого мучился и тревожился.

Не так все идет, как раньше, не так...

— Слушай, Басин, — разозлился командир полка. — Ты мне головой ответишь...

— Мне, товарищ первый, — тоже разозлился Басин, — больше отвечать нечем. У вас все?

Не так, не по правилу и не по обычаю отвечал комбат. Что ж он, в самом деле ничего не боится? Неужели ж у него сердце не болит перед этим наступлением? Неужели ж никаких мыслей оно не вызывает, тревог, сомнений? Каменный он какой-то, неармейский... И подполковник не нашел подхода к строптивому комбату, да и не привык этого делать — искать подходы. Он служил в суровое время, и всякие там подходы и беседы по душам его не касались. Для этого раньше были комиссары и политруки. И он резко оборвал:

— Говорить умеешь... Марш на передовую! И — докладывай!

Старший сержант пропустил мимо себя и разведчиков и снайперов и передал нить проволочных заграждений саперу. Тот на прощание кивнул и беззвучно, быстро разогреваясь, пополз назад, к нашим заграждениям. Приказ он выполнил и теперь мечтал только об одном: поскорее бы очутиться не то что в тепле, а среди своих — натянутые до предела нервы сдавали...

Старший подполз к лежащим и толкнул одного из разведчиков в каблук. Тот сразу же двинулся вперед, к брустверу немецкой траншеи: когда готовились к поиску, именно этот солдат получил задание первым разведать и соскочить в траншею.

Жилин проводил его взглядом и оглянулся по сторонам. В предрассветных стылых сумерках укутанные в белое фигуры расплывчато бугрились по сторонам, и Костя не смог определить, где его ребята, снайперы, а где — разведчики. И, вместо того чтобы огорчиться, он обрадовался: если он вблизи плохо видит своих, значит, противник их вовсе не увидит. Ему стало легче дышаться, но выдох он сделал все-таки не полной грудью: слишком уж тихо было вокруг. Война, противник, в десятке метров, а — тихо. Противоестественно, как всем казалось, тихо.

Когда посланный вперед разведчик подал условный знак и вся группа тронулась вперед, Жилин, выработанным на войне инстинктом, уловил настрой вражеской передовой и обрадовался... Даже не обрадовался. Просто все в нем повеселело и тело стало сильнее и послушней. А уж потом пришли деловые, нужные мысли. Старший сержант тоже обладал инстинктом фронтовика. Он не верил, он уже знал, что траншея пуста и что патрулей пока опасаться нечего: патрули по траншеям ходят не таясь, властно. Сейчас подморозило, их шаги будут слышны далеко.

Старший сержант вел группу вперед. Перед самыми траншеями его опередил Жилин. Он, кажется, первым свалился в траншею и в ней встречал своих ребят, которым показалось вполне закономерным, что их командир уже на месте, что он думает о них и, значит, все идет как задумано. Разведчики из групп прикрытия отодвинулись вправо-влево, подали сигналы, и группа захвата и снайперы по ходу сообщения двинулись в тыл противника.

Жилин шел впереди, не только всматриваясь, но и левой рукой щупая бруствер хода сообщения. Он нашел то, что искал — вырезанные в стене ступеньки и начинающуюся от них тропку поверху — ту самую, о которой сказал ему Глазков. Он приостановился — серая ленточка на снегу вела к бугру НП. Жилин ударил по плечу старшего сержанта. Тот остановился, и Жилин жестами показал: мы пойдем влево.

Старший группы разведчиков мгновение поколебался — снайперы выходили на поверхность, их могут обнаружить, и тогда... Но приказ, он и есть приказ. Старший сержант хмуро кивнул и первым положил автомат на бруствер хода сообщения. Разведчики сделали то же — приказ требовал прикрыть снайперов огнем... в случае чего.

Снайперы по одному поднялись на поверхность и пошли вслед за Жилиным. Он шел легко, неторопко и мысленно твердил: «А ни хрена... Вот и ни хрена».

Тропка, как и сказал Глазков, не доходя до НП, сворачивала вправо, к кустарникам, в которых понизу прорисовывались несколько нитей связи. И вот это незримое присутствие противника — линия связи — сразу изгнало веселость: тут смотри да смотри. Но особо смотреть не пришлось — за кустами открылась серая лента шоссе. Варшавского шоссе. Варшавки.

Всего ожидал Костя и его ребята, но только не Варшавки. Столько времени знать, что она рядом, столько мечтать о тех днях, когда они наконец перейдут эту самую Варшавку, и вдруг — вот она. И, оказываясь, совсем рядом!

Осторопь пришла именно оттого, что она была так близко и до сих пор так недоступна. И все, скрывая друг от друга нахлынувшие путанные мысли, затоптались, поглядывая по сторонам.

Но Жилин не стал ждать, пока ребята разберутся сами в себе. Он уже видел продолжение тропки, мысленно сверил смутное, белесое полукружье редколесья с картой и мысленно определил расположение огневых позиций своих ребят.

Когда они на цыпочках перебежали шоссе и спустились по тропке за насыпь, Костя с пронзительной остротой почувствовал: вот и кончается их фронтовое братство. Вот и расстаются они — уходят, чтобы каж-

дому в одиночку встать против всех тех сотен и тысяч врагов, которые окружали их со всех сторон и которые будут к ним такими же безжалостными, какими будут они сами по отношению к этим врагам.

Мгновение, может, секунду, они смотрели друг на друга, мгновение, а может, секунду, им всем захотелось обняться, чтобы опять, как на нарах, почувствовать тепло товарища, но все сдержались, тревожно и выжидающе посматривая на Костю.

Жилин облизал обветренные, сейчас чуть посиневшие губы:

— Ну вот, ребята... Дошли. Теперь — как совесть подскажет... Засядько — вдоль шоссе, до опушки, а там — выбирай. Малков — пойдешь с ним, оставишь и пойдешь дальше. Но дистанция — не меньше трехсот метров. Джунус — со мной.

Они расстались, и когда через минуту Костя оглянулся — ребята словно растаяли, и это больно ударило по сердцу...

У первых по пути кустов Жилин остановился и жестом показал Джунусу, куда ему следует двигаться. Джунус кивнул, вошел в кустарник и тоже растаял. Костя пошел вперед, выбирать себе огневую, в напряжении расставаний не услышав начавшуюся сзади перестрелку.

На противоположной опушке перелеска рос хилый осинник и березняк, но чуть отступя от кромки, высились несколько матереющих елей. Видно, здесь когда-то стоял хороший ельник, но немцы повалили его на пакаты для блиндажей. Ветви лежали огромными, заваленными истоптанным снегом кучами. Костя огляделся, осторожно поворошил еловые побуревшие лапы и решил: одна огневая есть. Потом влез на ель, прилачился и понял — и вторая огневая тоже имеется.

— Развиднеется — найдем запасные...

Отсюда, с ели, были видны поля или луговины, опушки перелесков и кустарники. Где-то здесь, на опушках, раскинулись и огневые немецких пушечных и минометных батарей. Все сходилось с картой, и Жилин оглядел свой тыл: как ни говори, а может статься, и драпать придется...

И уж только после этой невеселой мысли он, как бы вторым сознанием, понял, что перестрелка в его теперешнем тылу, а значит, на немецких позициях,

все разгоралась и разгоралась. Слышались крики, команды, а потом стали рваться гранаты. Он слушал эту огневую кутерьму, примечая ее постепенное затухание.

— Накрылись разведчики...— вслух сказал, но подумал о своих ребятах: они тоже слышали бой и тоже поняли, что к чему...

Глава пятнадцатая

К утру на НП комбата Басина стало тесно — как-то сами по себе собрались командиры-артиллеристы. Приближалось время артиллерийской подготовки, наступления, и офицеры пришли уточнить цели, пути выдвижения батарей в случае удачной атаки. Все это, в сущности, было давно рассчитано и определено, но хотелось еще раз уточнить не в официальной, штабной обстановке, а вот так, как бы своей офицерской компанией, собираться которой приходилось очень нечасто. И пока спорили, уточняли и просто смеялись, как-то просмотрели и прослушали начало боя в немецкой обороне, а когда он разгорелся — притихли. Выходило, что разведчики — о снайперах артиллеристы не знали — практически выдали предстоящее наступление. И кто-то горячий предложил:

— Надо дать огонька, прикрыть.

Капитан Басин раньше других услышал эту перестрелку, раньше других понял все ее возможные последствия для наступления, но быстрее других справился с предчувствиями. Работая начальником цеха, он знал, что редкое задание выполняется сразу, с первого захода. Всегда возникают какие-нибудь совершенно непредвиденные препятствия, которые, на первый взгляд, начисто отменяют саму надежду выполнить задание. Но постепенно разбираясь в происшедшем, прикидывая свои возможности, он всегда находил выход, и чаще всего совсем не тот, который приходил на ум в первые минуты неприятности. Потому, прислушиваясь к перестрелке и понимая, что происходит, он быстрее других пережил ощущение провала, обдумал один, другой вариант и, наконец, убедился, что еще не все потеряно. И вот, когда артиллерист предложил дать огонька, сразу мелькнули новые мысли.

— По своим или по немцам ударим?— спокойно спросил Басин.

— Ну, так ты ж, наверное, знаешь, где твои ребята ползают,— сказал артиллерист.

— Ребята-то не мои — полковые. Я б, может, и не посылал... И где они там, я не знаю и отсюда не вижу... Как и ты.

Скоро из глубины ударили наши минометчики, стараясь помочь разведчикам. Басин приказал телефонисту вызвать восьмую роту и как можно спокойней не то что приказал, а попросил:

— Дайте немного огоньку и побегайте по траншеям.

Командир восьмой роты не понял комбата:

— Зачем же... бегать? Скоро ж...

— Вот потому, что скоро, и побегайте, разомнитесь. Пошумите. Понял?

Он растолкал артиллеристов и застыл у амбразуры. В восьмой роте ударило два пулемета и несколько автоматов. Они били лениво, но трассы ложились верно, на немецкой передовой. Потом донесся сдержанный шумок бегущих ног, звяканье металла. С немецкой стороны тоже открыли огонь.

Сдвинув на затылок каску, подставляя горячий лоб острому влажно-морозному ветру, Басин только секунду-две думал о снайперах и о своем, кажется, неверном решении послать их в тыл врага, но усилием воли отогнали эти мысли. Снайперов — четверо, а у него — четыре сотни людей, и думать нужно было прежде всего о них. Обеспечивать им выполнение задачи.

Он опять вызвал восьмую роту и приказал:

— Как только зашевелится Мкрытчян, огонь свертывай и людей в укрытия. Все понял? — Командир восьмой роты ничего не понял, но сказал «так точно». Тогда Басин вызвал Мкрытчана: — Слушай, дорогой, введи в дело кочующие и пошуми в окопах. Ты меня понял?

— Конечно! Надо выманивать из укрытий? Так, капитан?

— Правильно мыслишь. Десять — пятнадцать минут, и затихай. Уразумел?

— Красиво может получиться...

Когда Басин передал трубку телефонисту, майор, туго стянутый крест-накрест и поперек блестящими ремнями, командир дивизиона резервного гаубичного полка, не скрывая легкой насмешки, спросил:

— Зачем эти представления, капитан? Ведь погибли ваши люди.

Артиллеристам, люди которых сидели сейчас на огневых позициях далеко в тылу, а впереди, но все-таки несколько позади пехоты, расположились только разведчики и связисты, наверное, была непонятна эта жестокость комбата, который не только ничего не предпринимал для спасения полковых разведчиков, но, наоборот, подставлял под удар тех самых солдат и офицеров, которые через час-полтора должны будут идти в наступление.

Капитан Басин, не отрываясь от амбразуры, по наступившей напряженной тишине понял, что думают артиллеристы, развернулся боком и ответил спокойно, может, даже излишне спокойно:

— Как я понимаю, все вы, как и я, придумать что-нибудь такое, что могло бы выручить разведчиков, не в силах. Не так ли?— Он сделал паузу.— Следовательно, всем нам остается только сожалеть о случившемся. Можно даже снять головные уборы. Но мне важно поставить внезапно сложившуюся обстановку себе на службу. Я заставляю противника вывести свою живую силу в траншеи, под удар артиллерии. Именно поэтому и занимаюсь, как вы совершенно правильно отметили, представлениями.— Он опять помолчал, давая офицерам осмыслить сказанное и представить, что получится, если его, Басина, замысел удастся.— Через десять—пятнадцать минут после начала артподготовки, а может быть, и раньше, это будет зависеть от обстановки, я начну выводить батальон из траншеи на ничейку. Если я этого не сделаю, противник накроет батальон в наших траншеях. Тут все пристреляно. По ничейке, полагаю, противник бить не станет. Но на всякий случай убедительно прошу дать дымовых снарядов... у кого они есть. Надо спустать карты.

— А если отрыв снарядов?— спросил кто-то.

— От этого никто не гарантирован. Но, как я полагаю, вы, кадровые офицеры, помните довоенную учебу, и, в частности, постановку огневого вала. До сих пор, насколько мне известно, огневого вала вы не организовывали. Вспомните, пожалуйста.— Он резко повернулся к ним лицом.— Понимаете, если вы не поможете, я оборону не прорву, а батальон положу.

Артиллеристы молча переглядывались— все понимали, что огневой вал требует предельной слаженности не только расчетов, но и батарей и дивизионов, словом,

всех, кто будет участвовать в его постановке. Но даже при идеальной слаженности подразделений нужен еще и единый центр, который организовывал бы и руководил переносами огня. Все это понимали и надеялись, что комбат сейчас же позвонит начальнику артиллерии полка, согласует с ним эти сложные вопросы, а уж оттуда последуют распоряжения, новый план артподготовки, сигналы и так далее. Но все, хоть и ждали этого, понимали, что до начала боя осталось слишком мало времени, чтобы успеть проделать всю эту огромную штабную работу, результаты которой, конечно же, должен утвердить если не командир дивизии, то хотя бы ее начальник артиллерии.

Басин все решал по-своему. Он обратился к командиру дивизиона, майору:

— Как вы понимаете, времени у нас нет. Вот почему я не приказываю, а прошу вас лично, товарищ майор,—вы старший по званию и по... калибру, примите на себя руководство и ответственность. Имейте в виду—у меня иного выхода нет и власти нет. Я могу только просить.

Артиллеристы молчали. Майор откашлялся:

— Время...

— Вот именно! Потому и прошу—пусть даже не огневой вал. Пусть просто скачок огня. От первых ко вторым траншеям. Но согласованный по времени. Понимаете—ваш скачок, а мои в атаку. Это можно?

— Полагаю, можно, товарищ капитан...—Майор оглядел артиллеристов.—Есть возражения? Нет? Тогда давайте согласуем сигналы.

Когда артиллеристы разошлись по своим НП, Басин попросил соединить его с командиром полка и, не дав тому опомниться, доложил:

— Задуманное нами не получилось.

Подполковник крикнул, хотел было спросить: «А ты куда смотрел?», но вовремя понял и всю ненужность вопроса и всю сложность положения. Басин уже осторожней сообщил:

— Я приказал создать видимость, что активность имеется только у Мкрытчана и соседа слева. Пусть считают, что все это задумка местного дурака. Вроде той, что была у них перед Новым годом. Если это не удастся, то вас это не коснется—все приму на себя.

Подполковник опять промолчал, оценивая и слова

комбата и обстановку. Его резанули басинские слова: «все приму на себя», но, взглянув на карту, подполковник понял мысль комбата, его истинно офицерское благородство — он отводил неприятности от вышестоящего командира...

— Что ж... Спасибо и на этом. Придется докладывать... А в остальном?

— Мелкие коррективы, ничего существенного. С «богами» договорился.

Подполковник уже достаточно хорошо знал Басина, и эти его слова насторожили и в то же время успокоили. Басин попусту рисковать не будет и, уж конечно, не подведет командование.

На всем этом маленьком участке фронта Басин был самым главным, таким, в которого верили или хотели верить больше, чем в бога. Но, оказывается, в первой же передрыге он не сделал того, что, по логике, должен был сделать,— спасти разведчиков и снайперов.

Разведчики еще так-сяк... У них судьба такая. А вот снайперы... Где ж это видано — посылать снайперов в тыл противника, на верную смерть. До этого ж додуматься нужно! Видно, у нас в батальоне все не так, как у людей. Умней всех стараются быть. При Лысове такого не бывало — он людей зря на смерть не посылал. А этот послал.

Смутные эти мысли расплзались не столько оформленные в слова, сколько в намеках, взглядах, вздохах, медленно создавая настрой батальона, уверенно ссаживая Басина с тех высот, на которые он был возведен тем же батальонным настроем. И если несколько часов тому назад Басина уважали, даже любили, а главное, верили ему, то теперь его только боялись: сами возносили и сами боялись громов и молний с тех подоблачных высот...

Глава шестнадцатая

Алеша затравленно огляделся, увидел откровенно смеющиеся, тщательно выбритые перед боем лица санитаров и санинструкторов, заглянул в огромные гневные глазищи фельдшерицы и уже набрал воздуха, чтобы выругаться, но вдруг покорился: выругаться при женщине, а тем более при враче, он не мог. От этого боевой запал исчез, и он, сцепив зубы от боли, стянул противно липкие изнутри ватные шаровары, кальсоны и лег на стол.

Пожилой усатый санитар ловко, как многолетняя мать своего последнего малыша, стал обмывать Алешин зад. Кропт уткнулся в локоть и чуть не плакал от боли, от стыда, от обиды, но ничего уже поделать не мог: он уже не принадлежал себе.

Фельдшерица сделала укол, потом помазала рану какой-то остро пахнувшей дрянью и стала ловко перевязывать Алешу широким шершавым бинтом, ворочая его не по-женски сильными руками, одновременно командуя:

— Приготовьте белье! Дайте запасные шаровары. Степанов! Передайте, чтоб приготовили сани. Поедет в медсанбат.

Когда Алеша слез со стола, бочком протиснулся к нарам, в землянку влетела раскрасневшаяся, веселодетельная Мария.

Она мельком взглянула на отвернувшегося Алешу и уже иным, почти испуганным голосом спросила:

— Началось?

— Куда ж денешься... — улыбнулась фельдшерица, хотела сказать еще что-то, но санитар притащил второго раненого — разведчика.

Этот был плох — осколки вспороли бок, и в груди у него при каждом судорожном вздохе что-то кололо и перекатывалось. Мария с ужасом уставилась на фельдшерицу, а та, подобравшись, действовала стремительно и на первый взгляд бессердечно. Грубо-бессердечно.

Бритвой располосовала одежду, сдернула ее и сразу же всадила переданный санинструктором шприц. Раненый попытался охнуть, но закашлялся — мучительно и беспомощно. По подсохшей крови прокатилось несколько новых, дымящихся на холоде алых струек.

— Потерпи, миленький. Потерпи, родненький! — необыкновенно нежным, воркующим шепотом шелестела фельдшерица, бинтуя и бинтуя это ослабевшее и потому начинающее синеть от холода пробитое тело. Пеленала быстро, как свивальником, иногда покрикивая: — Сани! Быстро! Потерпи, мой хороший. Потерпи... Сейчас мы тебя хирургу доставим. Бинт! Он тебя залатает, будешь как новенький. Домой поедешь. Одежду! Приготовить одеяла! Еще на свадьбу пригласишь, и мы с тобой выпьем. Носилки! Степанов, заполняй карточку! Быстро! Тебя как зовут-то, миленький? Ни-

колай? А по батюшке?..—И, не оборачиваясь, прикрикнула:—Кропт! Собирайся! Сейчас поедете.

Мария, которая впервые видела фельдшерицу вот такой, прекрасно раздвоенной, не сразу поняла, чью фамилию она назвала, а когда поняла, то дернулась и подошла к Алеше, который уже застегивал шаровары — узкие, стиранные и перестиранные, противно пахнущие дезинфекцией.

— Алеша! Где же вас? Куда?—и, перехватывая уклончивый взгляд Алексея, внутренне обмерла.— Всех?..—сдавленным шепотом спросила она, и глаза у нее стали еще более огромными, чем у фельдшерицы.

— На ничейке... Да ты не беспокойся... Наши прошли...

— Кропт! Быстро на сани! Степанов, проводи!—почти закричала фельдшерица.—Мария! Помоги положить на носилки!—Мария еще не понимала, каким образом Алеша очутился на ничейке и куда прошли остальные снайперы, но она поняла главное: Костя где-то в таком месте, где может случиться нечто непоправимое — как будто в ином месте на войне не может случиться того же... Фельдшерица опять крикнула — зло, требовательно:—Мария! Потом поговорите! Быстро!

Так и не поняв, что же произошло, Мария бросилась к столу и стала осторожно снимать уже укутанного в одеяло и странно тяжелого разведчика, который, словно очнулся от боли, от сознания, что его даже не положили как следует, а сразу же куда-то отправляют, начал ругаться — прерывисто, свистяще и зло-беспомощно. Он не понимал и, может быть, так никогда и не понял, что счастье его было в том, что он был первым тяжелым раненым и эта жестокая, стремительная быстрота фельдшерицы, и свободные сани с меховым собачьим одеялом, и вот это противоестественное «нелечение» спасли ему жизнь.

Фельдшерица уже не обращала на него внимания — она мыла руки.

Носилки в дверях столкнулись с Кривоножкой. Капитан пропустил их, а когда вошел в землянку, то спросил привычно доброжелательно:

— Началось? Из какой роты?

— Разведчик и снайпер. Один — тяжелый. Разведчик...

— Та-ак. Где?

— На ничейке.

Капитан помолчал и спросил:

— Всего хватит? Помощь не нужна?

— Пока... нет. Мария пришла с кухни... Может, кое-кого из писарей подошлете. И еще... Пожалуйста, прикажите боепитанию и хозяйственникам, чтоб без раненых в тыл не уезжали.

— Хорошо, хорошо... Проследим...— поспешно говорил Кривоножко, а сам думал о том, о чем думали в тот час все на том участке: неужели наступление будет раскрыто?

— Отвыкла, товарищ капитан,— вдруг беспомощно-кокетливо улыбнулась фельдшерица.— Забыла о главном: будете на передовой—обязательно проследите за собачьими упряжками. Какие-то они уж слишком... своевольные...

Кривоножко опять покивал и пообещал проследить, но усидеть в медпункте уже не мог. Он выскочил на поверхность и услышал страстный шепот:

— Скажи, Алеша. Ну, скажи...

— Я же ответил—ходили добровольцами. О других не знаю,—видимо, он увидел или лицо, или глаза Марии, потому что сказал с болью и отчаянием:— Ну, не знаю я... Не имею права... Понимаешь? Ты не волнуйся.

Послышался судорожный, с перехватами, вздох, всхлипывание и слабый голос разведчика, который был уверен, что его недолечили, и потому не просто злого на всю медицину, а прямо-таки ненавидевшего всех женщин вместе, а этих—наособицу.

— Все снайперы с нашими. Все! Поняла? И, может, все уже и накрылись... Да везите же вы, черт вас возьми, раз здесь лечить не хотите. Хуже немцев. Вредители!

— Заткнись!—тихо сказал Кропт.—Врет он все, Мария. Врет.

Лошадь шумно вздохнула, и снежок зашуршал под полозьями. Кривоножко подумал: «Надо не забыть представить Кропта к награде».

Он быстро обежал тыловые подразделения, понял, что все сделано как будто как следует и люди готовы ко всему, настроение у них, похоже, боевое, хотя и сдержанное, но на душе от этого не стало спокойней.

В роту Чудинова он добежал как раз в тот момент, когда в обороне противника начался бой, и сразу понял, в чем дело. Его тренированный ум быстро прикинул все варианты объяснения происходившего и нашел единственно разумный — тот самый, что пришел на ум и Басину.

— Ничего,— сразу же сказал он Чудинову.— Ничего... Может, даже и к лучшему... Противник не отдохнет, а, главное, подготовится не к тому, чему нужно. Будет ждать разведку боем, а начнется наступление.

Чудинов, хоть и с опаской поглядывал на замполита, все-таки вынужден был согласиться. И когда Кривоножко убежал в траншею, чтобы увидеть агитаторов, парторгов и комсorghов и с их помощью разъяснить бойцам обстановку (которую все ж таки он знал еще плохо и старался скрыть от самого себя возможные последствия боя в глубине немецкой обороны), а главное, своим появлением, своими словами — пусть и не очень продуманными — показать, что все не так уж и страшно, раз он с ними.

Предполагали и такой вариант. Предполагали. Ну и что? На войне всякое бывает... А без разведки как же? Без разведки нельзя. Пусть даже она и не удалась, а мы уже знаем, где у противника молчавшие до сих пор огневые точки. Нас не посекут...

Он шел траншеями, собирая агитаторов, коммунистов и комсомольцев, с каждой беседой находя все новые и новые доводы и примеры, и голос его звучал все уверенней, и улыбка становилась не натянутой, а натуральной, может быть, потому, что он уже и сам верил в то, что говорил, верил, что все обойдется.

Ее все ждали, а началась она неожиданно. Где-то в стороне, у богом проклятой и чертом избранной Зайцевой горы, низкое небо высветили артиллерийские сполохи, потом они возникли в другой стороне, а уж потом докатился звонкий в стылом волглom воздухе, сливающийся, словно облегченный вздох толпы, гул артиллерийской подготовки.

В следующую секунду ударили орудия и позади третьего батальона. Вначале донесся пронзительно вибрирующий, словно от оборванной струны, звук выстрела, потом, то посвистывая нежно, призывно, то фырча

и подвывая, пронеслись первые стайки снарядов и мин. А уж потом все скипелось в единый, мощный, то жутко-слитный, то прерывистый рев.

Рушились подтаявшие кружавчатые вершинки сугробов, осыпались с ветвей нашлепки снега, освобожденные ветви подскакивали, леса вокруг темнели и словно вздрагивали. Над ними взвились птицы, в них метались звери, и какой-то перепуганный зайчишка перепрыгнул наши траншеи и понесся спасаться к немцам. Но к этому времени там стали рваться снаряды, и он, закладывая уши на спину, запрокидывая ощерившуюся мордочку, вытянулся в струнку и помчался назад, к уже обжитым и по-человечески и по-звериному страшным местам. Но это были все ж таки свои места.

Над обороной противника вспыхивали разрывы, начинал клубиться дым и прах, постепенно сливаясь в пелену. В это время противотанковые орудия старшего лейтенанта Зобова на пешей рыси выкатились из укрытий на временные огневые и стали чутко, точно приносясь хоботами, прицеливаться к частым, резко вырисовывавшимся на фоне дымов и огней разрывов кольям проволочных заграждений. Следовало попасть снарядом по кольям. Стрелять по палочкам. Почти что из пушек по воробьям. И батарея стреляла. И кольца разлетались, роняя оборванную проволоку, осколки пересекали другие нити, расщепляли другие кольца.

Позднее в сутолоке разрывов стали появляться густо-черные пятна дымовых снарядов. Дым клубился поначалу как пар в парной, а потом стал густеть, вышвыривался разрывами вверх, закрывая оборону противника сплошным занавесом.

Капитан Басин следил за всей этой огневой кутерьмой с наблюдательного пункта и, облизав горькие от курева губы, приказал телефонисту:

— Передай всем: начать выдвижение. Штурмовым взводам, подчеркни это, первыми.

Он видел, как из траншей покато вываливались его люди, выхватывали снизу плетни и фашины и, неумело вскидывая их на горбившиеся вещмешками спины, ползли вперед, к заграждениям. Потом подались другие, уже без фашин, и когда батальон, переползая в сером снегу, высвечиваясь свежесбеленными касками, как выводок грибов шампиньонов, оказался на ничейке, за нашими проволочными заграждениями, на покинутой,

безлюдной обороне разорвались первые мины, а потом и снаряды.

Басин облегченно вздохнул — он вывел людей из-под артобстрела. Следя за оглядывающимися назад солдатами, сам того не замечая, судорожно сжимая кромку амбразуры, он вдруг представил себя на их месте и понял: им уже нет пути назад.

Он, конечно, не знал, что в эти первые минуты не привыкшие к таким перипетиям бойцы, да и некоторые офицеры, проклинали его выдумку — вытолкнуть их в такую передрыгу, на чистое поле, — но постепенно, осознавая свое положение и наблюдая, как вражеский металл кромсает их обжитые траншеи и блиндажи, как взлетают какие-то ошметки, пожививаясь от сознания, что они только что были в этих траншеях, переставали проклинать комбата и сливались с его волей, его приказом.

Басин приказал соединиться с артиллеристами и прокричал — говорить спокойно он еще не мог, напряжение било через край:

— Майор! Перенос огня! И прекрати дымить! Свое сделали! Перенос огня, майор. Я брошу в атаку!

— Не рано? — спросил майор. — Другие еще не шевелятся.

— Нет, не рано! Вырвемся, потянем за собой других.

— Сделаем.

В слаженной, почти механической работе артиллерии пробилась пауза. Она длилась ровно столько, сколько требовалось стреляющим передать на батарее новые данные, а расчетам орудий и минометов установить эти значения на барабанчиках и шкалах прицелов. Потом и на передовой и в тылу, на огневых позициях, командиры орудий докладывали о готовности вести огонь и срывающимися от волнения голосами орали:

— Огонь!

И огонь снова обрушился на немецкую оборону, но уже не по первым, а по вторым ее траншеям, ее закоулкам, землянкам, блиндажам и ближним складам.

Тогда Басин приказал Кислову:

— Три красных ракеты! Давай!!!

Кислов выскочил на взгорок, и три алых звезды прочертили небо над нашими траншеями, над нашими провололочными заграждениями и расцвели над немецкой обороной. Они были особенно ярки на фоне колышу-

шейся стены оседающего и смещающегося дыма и копоти.

Первые, нагруженные плетнями и фашинами, штурмовые взводы рванулись вперед. Солдаты яростно рубили заранее отточенными лопатами остатки проволоки, выкладывая плетнями дорогу через змеистые колючки. Там, где проволока была особенно густа или стояли прерывистые спирали Бруно, на них бросали фашины. И уж только обеспечив проход длядвигающихся позади, бойцы срывали оружие и вместе с другими орали прерывистыми, силпыми от напряжения головами:

— Ура!

Его почти не было слышно. Оно заглушалось разрывами снарядов, перемалывающими, взметающими вверх оборону противника. Но бежать под это неслышное «ура» было легче. Оно подхлестывало самих бегущих, и они, спотыкаясь, пригибаясь, бежали в пекло, вламывались в потревоженные огнем первые траншеи, перхая от дыма, от спазм боевой ярости. Они кого-то били чем попадая, штыком, прикладом, лопаткой, в кого-то стреляли и по кому-то, убегающему или прячущемуся, метали гранаты.

Он был стремителен и неистов, этот бой-схватка в траншеях, и по всем правилам следовало бы развивать успех, но впереди опять колыхалась стена разрывов, и люди приостанавливали свой бег, смиряли ярость.

Басин не видел всех этих перипетий и, конечно, не мог установить, что и как чувствуют солдаты. Но он знал такое по прошлым боям и понимал, что допустить сбой ярости нельзя! Нетерпимо. На этой долго копившейся и наконец вспыхнувшей ярости можно и нужно проскочить дальше, к Варшавке, смять и добить дрогнувшего от неожиданности врага. И он опять связался с артиллеристами и взмолился:

— Продвиньте артвал подальше, по резервам противника. Мне дорога нужна!

— Сделаем,— все так же спокойно-холодно ответил майор, и Басин почувствовал к нему невольное уважение: для этого не бой, не война, а — работа. Нужно — сделаем. В своей гражданской жизни инженер Басин любил вот таких прямых и немногословных работяг. Такие умеют работать и в работе выкладываются полностью.

Телефонист передал ему трубку — звонил командир полка.

— Ты что опять самоуправничаешь? Кто тебе решил подниматься в атаку? На рожон прешь?!

— Товарищ подполковник! Батальон очистил первые траншеи. Сейчас рванем дальше! И, значит, привлечем огонь на себя. Остальным будет легче.

— Когда ж ты вывел людей?

— Я же вам докладывал, товарищ подполковник. Сейчас пусть остальные поддержат. А нам важно выскочить к Варшавке. Тогда все внимание будет на нас. Понимаете?

Командир полка понял комбата, понял многое иное и сделал свои выводы. Он вызвал двух других комбатов и заорал:

— Все чикаетесь?! Басин уже в траншеях!!!

Комбаты понимали, что произошло, но что они могли сделать, если все планы, — а комбаты были дисциплинированными людьми и точно выдерживали эти планы, — не могли предусмотреть такого убийственного ответного огня; они с завистью поглядывали в сторону Басина и видели, как по его траншеям противник почти не ведет огня. Вернее, ведет его, но как-то странно, словно пульсирующе, отдельными налетами, а их лупили точно, мощно. Но приказ есть приказ, и комбаты и политработники орали в трубки, бегали по траншеям, отдавая приказ:

— Приготовиться к атаке!

Вперед поползли саперы, но огонь был слишком силен, и они прятались в свежих, теплых, вонючих воронках.

Изменение в режиме вражеского артогня Басин заметил не сразу — в его траншеях людей не было, а он следил за людьми. Но постепенно и он заметил пульсирующие артналеты, и к нему пришла еще слабая догадка: снайперы живы. Они действуют, выполняют задачу — устраивают панику на немецких огневых, и батареи противника дают сбой. Он стал следить за ритмом вражеского огня и понял — ребята действуют. И такая радость, такое торжество вдруг посетили его, таким ярким, всепроникающим светом залило все окружающее — дымное, кровавое, — что он, уже заброшенный ранее на необыкновенные командирские высоты, сразу увидел с этих высот ход боя, его сложные движения и без труда определил пути их развития,

— Зобов! Зобов!— кричал он в трубку.— Перенеси огонь на заграждения перед соседом слева. Перед соседом слева — иначе он не прорвется. Майор,— кричал он в светлом и яростном возбуждении.— Майор! Сократи огонь у меня и дай огня соседям слева. Ударь кинжальным по заграждениям. Если мы не выведем соседей, нам тоже хана. А я рвану дальше.

Бой заставил его мыслить не только категориями батальона, но и полка. Теперь, когда стало ясно, что свою задачу он выполнит, главным оказались действия соседей.

Конечно, капитан Басин мог гордиться тем, что он отлично выполняет задачу. Никто бы его не поругал за то, что он не перекинул огонь приданных и поддерживающих батарей к соседу, то была не его забота. Больше того. На операцию было выделено определенное количество снарядов и мин. Расходуя их на помощь соседу, Басин как бы обкрадывал себя — ведь бой только начинался, а он тратил резервы боеприпасов.

Но поступить по-иному он не мог, как военный человек, исповедующий закон войны: сам погибай, а товарища выручай. Не мог он поступить иначе и как коммунист: большевик всегда ответствен за все, что делается вокруг. Как делег, «хозяин», карьерист, он бы рвался вперед: перережет Варшавку — орден на груди. Однако Басин не думал ни о чем личном. Он слился с боем, бой стал его сущностью.

И в этой сущности, в ярком свете военного прозрения проснулся невидимый, неосязаемый, но властный командир, который как бы стал руководить Басиным. Он видел дальше и четче, чем кто-либо иной. Все, чему он учился в прошлых боях, на курсах, о чем думал в одинокие земляночные часы, что рождалось в спорах, и все, что вычитывалось в газетах, которые в те дни порой заменяли уставы,— все стремительно перерабатывалось в его сознании.

— Чудинов!— орал он в трубку.— Чудинов! Двумя взводами атакуй во фланг! Расширяй прорыв! Иначе попадем в огневой мешок. А главное, выводите людей из первой траншеи. Сейчас он нам даст жару!

И молодой, горячий Чудинов понимал комбата. Он бросил два взвода во фланг оживающему противнику, а третий взвод — вперед, ко вторым траншеям, на которые уже пал занавес праха и дыма. Между селмой и восьмой ротой образовался разрыв, и командиру вось-

мой роты ничего не оставалось, как растянуть свой левофланговый взвод, который потянулся за чудиновцами и потянул за собой всю роту.

Они уже вскакивали во вторую траншею, когда предсказания комбата сбылись: противник стал бить по своим первым траншеям. Огонь был еще неточен, еще разрознен, но зато положение у соседей облегчилось — немцы уже поняли, где им грозит наибольшее зло — удар с тыла, — и перенацелили огонь на угрожавший участок — против батальона Басина.

Этим, как казалось всем, просчетом противника, а на самом деле как бы организованным Басиным, нужным для наступающих маневром воспользовались остальные. Взводы вываливались из траншей и под огнем, теряя людей, все ж таки прорывались к проволочным заграждениям противника, завязывая скоротечные огневые дуэли и даже гранатные перебросы. Кое-где удалось прорваться к самым траншеям, но опытный противник немедленно отвечал контратаками. Только пятая и шестая роты успели воспользоваться фланговым ударом взводов Чудинова и ворваться в первые траншеи.

Когда командир второго батальона с гордостью, как о своем великом достижении, доложил об этом командиру полка, которому уже надоели звонки из штаба дивизии (а этот штаб наверняка теребил штаб армии и, вероятно, сам командующий), подполковник позвонил «вверх» и доложил:

— Третий батальон Басина прорвал оборону противника и выходит к Варшавке. Остальные батальоны подтягиваются.

Подполковник был достаточно опытным военным, чтобы не знать: резервы должны быть всегда — и для противника и для начальства. Поэтому он и умолчал о частичном успехе второго батальона. Бой только начинался...

Комдиву немедленно доложили об этом успехе, и фамилия Басина опять побежала по проводам, снова связанная с успехом. Комдив вызвал офицера из оперативного отделения и приказал:

— Давайте к этому... Басину и разберитесь с обстановкой на месте.

Капитан Басин в это время думал о том, что раз определился успех в определенном месте, противник именно сюда и направит главные свои усилия. Длитель-

ными эти усилия быть не могут — боевые порядки немцев растянуты, резервов мало, и пока командир немецкого полка выпросит их у командира дивизии, а тот у вышестоящего штаба — пройдет время. Пока что командир немецкого полка может маневрировать только своими силами — вот он и перенес огонь артиллерии, оставив без поддержки атакуемую пехоту.

В этих условиях самым важным стало выскочить на Варшавку, то есть выполнить боевую задачу, приказ. В бою, по проверенным законам всех армий, атакующий должен обладать тоекратным превосходством над обороняющимся. Значит, Басину жизненно важно было как можно скорее перейти из положения атакующего в положение обороняющегося — закрепиться. Но для этого требовался бросок. Решающий, самый важный в данную минуту бросок.

Басину повезло. Связисты восстановили порванную артиллерией линию, и Мкрытчан доложил:

— Капитан! В немецком тылу работают два наших разведчика из группы прикрытия — захватили пулемет и орудуют.

— Арсен! — впервые по имени назвал Мкрытчана Басин. — Дорогой! Там в тылу и наши снайперы шуруют. Передай по цепи: в тылу у немцев — наши. Они поддерживают атаку.

— Товарищ капитан! Капитан Кривоножко уже передает.

— А он зачем впереди? — возмутился Басин. — Я ж ему приказал: обеспечить тылы, — но сейчас же оборвал себя: — Ладно! Разберемся! Главное — вперед, Арсен! Вперед! Сам понимаешь, решающее!

Он сам сообщил о своих в немецком тылу Чудинову, и тот, уже уступив рубежи выдвинувшимся пятой и шестой ротам, приказал передать известие по цепи.

И как часто бывает и на войне и в мирное время, бывая, сдерживаемая боль, убеждение в чужой ошибке вдруг обернулись радостью, верой в правильность свершаемого.

Что-то новое пробежало по поредевшим цепям, появилась не общая цель — перерезать Варшавку, — а какая-то своя: поддержать ребят, которые дрались, пока все сидели в траншеях. Поддержать и спасти от неминуемой гибели — ведь отступающие немцы шли именно на них.

И батальон рванулся вперед. Рванулся молча, без команд, без криков «ура», угрюмо-сосредоточенно и отрешенно.

Вероятно, именно эта яростно-молчаливая отрешенность — она в бою всегда чувствуется на расстоянии — окончательно сломила еще пытающихся сопротивляться немцев. Бросая насиженные позиции, тяжелое оружие, ранцы и шмотье, они побежали дружно, увлекая за собой еще колеблющихся, и офицеры не могли остановить этого бегства. Каждый понимал — против этого молчаливого удара уже не устоишь, а если побежишь, то, может быть, спасешься. А когда спасешься — там поглядим.

У ослепленных страхом, сломленных немцев все-таки хватило военной выучки и боевого опыта бежать не прямо через Варшавку, на промерзшее болото, на котором задержаться не было никакой возможности, а на стороны, на фланги, поближе к своим, все еще ведущим бой. Роты Чудинова и Мкрытчана, увлеченные бегущим противником, тоже развернулись на фланги, и потому самая тихая и самая скромная в батальоне восьмая рота, почти не встречая сопротивления, даже не прыгнула во вторые траншеи, даже не проверила как следует жилые и служебные землянки противника, а единым махом выскочила на шоссе и, как недавно снайперы, в растерянности приостановилась — так вот оно какое, Варшавское шоссе. Надо же...

Командир роты сразу же, без малейшего промедления, растянул роту и приказал немедленно окопаться.

Глава семнадцатая

Светало. Крепкий утренник выжимал из низких облаков крупитчатый снег, и он тихо оседал на сумеречные поля и луговины, припорошивал леса, скрывал следы.

Снайперы устроились удобно. Ближе всех к Варшавке замаскировался на ели Засядько, потом, метрах в трехстах от него, в брошенных окопах на взгорочке устроился Малков. Еще дальше, в кустарнике, расположился Жалсанов, а дальше всех, тоже на елке, засел Жилин.

Он хорошо видел и поле перед собой и дальние поля за жидкими перелесками и опушкой леса. Пока шла перестрелка, снайперы помалкивали, уточняя огневые позиции вражеской артиллерии, а Жилин заметил еще и хороший зимник, по которому, скрываясь за перелес-

ками, прошло несколько машин. Там, в лесу, вероятно, был или штаб, или склады.

Когда началась артиллерийская подготовка, немцы выскочили на свои огневые — ловкие, быстрые, хорошо обученные. И снайперы сразу же открыли очень меткий, безнаказанный огонь: в грохоте разрывов их выстрелы растворялись, исчезали. Немцы то выскакивали на огневые, то, оттаскивая раненых или убитых, опять прятались в ровиках или землянках.

Первыми пришли в себя минометчики, которых обстреливал Засядько. Они рассыпались цепью и открыли огонь по прихосейным кустарникам. Засядько улыбнулся и перенес огонь на очнувшуюся, видимо полковую, батарею. Свалив нескольких человек, снайпер затих, наблюдая за работой Малкова. Тот выщелкивал связистов, которые побежали восстанавливать порванные линии связи, подстрелил обозника, а потом еще кого-то, скорее всего связного.

Когда минометчики вернулись на огневые и сгруппировались у минометов, Засядько опять пострелял. Его внимание рассредотачивалось — хотелось посмотреть, как идет наше наступление, близка ли подмога, и в то же время нужно было следить за противником. Эта раздвоенность привела к паузам, немцы вытащили минометы из окопов и скрылись в лесу.

Вскоре в чаще стали вспыхивать огоньки выстрелов. Засядько стал бить по этим огонькам, прекрасно понимая, что точных попаданий ждать нечего.

Рассудив, что минометчикам скоро понадобятся боеприпасы, он перенес огонь на полковую батарею, заставив противника затаиться в окопах. Потом из полроста выскочили двое солдат и, пригибаясь, побежали к ровикам оставленной позиции. Засядько не стал стрелять. Он выждал, когда они подняли ящики с минами, и тогда тщательно выцелил каждого. Огоньки-вспышки в лесу погасли — на батарее кончились боеприпасы. На опушку вышло уже пять человек. Засядько дважды выстрелил, и минометчики кинулись в лес. Можно было представить, что делалось сейчас на их огневых, как ругался по телефону стреляющий командир батареи. Он видел, как противник врывается в его траншеи, понимал, что это значит, но не мог заставить свою батарею открыть огонь. Такой нужный, такой жизненно важный для всего этого участка огонь! Его батарея оказалась отрезанной от боеприпасов.

И пока Засядько парализовал минометчиков, снайперы вели огонь по другим батареям противника — Жилин и Жалсанов, часто переноса огонь с цели на цель, чтобы не дать противнику сориентироваться и обнаружить снайперов, а Малков стал обрабатывать одну огневую.

Она появилась внезапно. В жидких кустарниках перед опушкой перелеска Малков сразу же заметил несколько сугробов, но не придавал им значения, а потом привык к ним. И в тот момент, когда рота Чудинова ударила во фланг, потянув за собой пятую и шестую роты второго батальона, то есть когда явно наметился успех атакующих, из перелеска по снежным траншеям в кустарник выбежали расчеты, сдернули белые, припорошенные снегом маскировочные полотна и привели орудия к бою.

Малков вначале услышал их — они ударили как-то очень слитно, басовито, а уж потом увидел и страшно обозлился: надо же, прозевал! Чертовы фрицы, как умеют маскироваться!

Но тут орудия чуть развернулись и стали к Малкову под углом, боком, так что он видел только ноги некоторых замковых да подносчиков, снующих от ровиков к орудиям. А самых главных в расчете — наводчиков — не видел. И он стал бить по подносчикам снарядов, в сущности делая то же самое, что делал и Засядько, — отрезал системы от боеприпасов.

Артиллеристы, не в пример минометчикам, быстро определили, откуда бьет снайпер — они были специалистами по определению угловых величин, — и старший на батарее принял правильное решение: оставил у орудий наводчиков и заряжающих, а остальных повел через перелесок на встречу с Малковым.

Снайпер разгадал этот маневр, но противопоставить ему ничего не мог. Наша артиллерия смолкала — роты Басина как раз перешли в свой последний, ожесточенно-безмолвный бросок, — и потому малковские выстрелы перекрывать было некому. Он затаился, надеясь, что авось противник его не заметит, но очень скоро понял — заметит. Солдаты обходили его с флангов редкой цепью, двигаясь короткими перебежками, поодиночке. Стоило Малкову выстрелить и убить одного, как десятки открыли бы огонь по снайперу.

Вероятно, на смену «авось» и пришли колебания, может быть, даже отчаяние, но постепенно в душе Мал-

кова все стало на свои места, и он, может, подумал, а может, шепнул: «Ну, ивановских так просто не возьмешь». И сейчас же понял — выхода у него нет.

Он приготовил гранаты, связал их и повесил на пояс, а шнурок от связанных чек протянул к торчавшему в срезе окопа корню. Передохнул и стал стрелять. Стрелял быстро и в общем-то метко — он кого-то убил, а кого-то ранил — раненый кричал долго и тонко. На огневой из-за оружейных щитов высунулись наводчики и заряжающие, и Малков сделал несколько выстрелов по огневым позициям, тоже убив или ранив кого-то.

Вокруг него все чаще взмывали фонтанчики снега — немецкие артиллеристы увидели его и открыли ответный огонь. Но он уже не обращал внимания на свисты пуль. Они стали как бы не для него. Он жил по своему закону...

Когда остатки расчетов снова юркнули за щиты, он опять стал обстреливать окружавших его немцев. К этому времени его, вероятно, уже ранили, потому что он чаще мазал. И все-таки противник побаивался подойти поближе, предпочитая стрелять издалека. Малков ловил на пенек оптического прицела то одного, то другого и стрелял, стрелял. Вероятно, у него ныло плечо и болели крупные рабочие руки, потому что выстрелы становились все реже, и вдруг он поднялся над своим окопом и взметнул эти свои большие руки.

Жалсанов и Засядько видели этот странный и страшный бой, но не вмешивались в него, потому что у каждого из них была своя задача и потому что понимали: помочь сейчас Малкову они не в силах, а если начнут поддерживать огнем, то выдадут себя.

Но когда Малков поднял руки, оба снайпера стали разворачиваться так, чтобы расстрелять предателя. Однако они не видели того, что наверняка или видел, или чувствовал Малков, — зашедших ему в тыл немцев. Немцы бросились на него, сдающийся в плен Малков некоторое время боролся с ними, и потому на помощь подбежало еще несколько солдат.

И вот тут-то и грохнул взрыв. Привязанный к корневищу шнурок в этой борьбе струнно натянулся и потянул за связанные кольца, а те вырвали чеки. Все три «феньки» взорвались одновременно.

Засядько сглотнул комок. Стрелять он не мог — слезы еще застили белый, испоганенный копотью разрывов и дымов немилый свет. Минометчики, видео, решили, 273

что теперь дорога к боеприпасам открыта, и ринулись за минами. Засядько сделал несколько выстрелов, но промазал. И тут через такую близкую Варшавку перебежали несколько немцев с пулеметом. Они устроились в кювете, руками расчищая площадку под огневую. Батальон Басина выходил к шоссе, и Засядько сразу прикинул со своей высоты, что может произойти: этот пулемет опасней, чем целая батарея. И он хладнокровно расстрелял его расчет.

Теперь он действовал, определяя, какая цель опасней всего для продвижения атакующих, кто может помешать выполнению задачи.

Атакующим казалось, что именно они воюют так здорово, что противник не может удержаться на своих позициях и оказать сопротивление. И артиллеристам и минометчикам тоже казалось, что это они так чисто вымели своим огнем всю фашистскую нечисть, что вот пехота идет и не спотыкается. И пушкири перенесли огонь в глубину обороны противника, на тот рубеж, где, как им казалось, должны сейчас очутиться бегущие немцы.

Первая серия снарядов легла недалеко от Засядько. Он увидел, как вспух снег, как в нем разверзлось пламя и как взметнулась вывороченная взрывом земля. Он слышал переходящий в вой снарядов визг, тупой удар о стылую землю, но полета осколков уже, наверное, не слышал. Длинный, как кремневый скол, который шел у неандертальцев на наконечник копья, поблескивающий кромками снарядный осколок, свирепо вереща, долетел до Засядько и ударил как раз под каску, по глазам...

Ломая ветви, скользя по нижним, могучим елочным лапам, Засядько скатился вниз и, может быть, даже не успел долететь до сугробов. Его уже мертвое, а может, еще и живое тело пронзил снаряд из другой серии другой батареи и разорвался. И вместе с прахом и дымом Засядько разлетелся по округе.

Пропал без вести...

С комьями глины на землю упали и капли его еще теплой крови. Они протаивали снежный наст, добирались до сугробной сердцевины и смерзались там в багровые, похожие на переспевшие клюквинки, покрытые тонким ворсистым инеем мертвые шарики. В свой час они растают и уйдут с вешними водами на болота, и может, и в самом деле станут клюковками, дарующими витаминную молодость зверю и птице, да и человеку...

Снайперы не видели смерти Засядько, но ее видели уже вышедшие к Варшавке солдаты восьмой роты.

Оставшиеся снайперы делали свое дело — потихоньку выбивали расчеты, косили связных, все усиливая и усиливая панику в ближнем немецком тылу, создавая ту неразбериху в управлении и неуверенность в войсках, которая страшнее самого боя и которая приводит к поражению.

Но противник знал войну и ее природу. Потому командир обороняющейся на этом участке дивизии не только не скрыл от начальства истинного положения дел, но, наоборот, обрисовал его самыми мрачными красками. И начальство сделало то, чего оно не хотело, но вынуждено было сделать — подняло по «тревоге» уже изготовившуюся к переброске на юг, против сталинградцев, дивизию и задержало отправку другой.

Только через десятилетия те, кто остался в живых в боях на Варшавке, узнают, что в тот оттепельный жестокий день они, оказывается, выполнили задачу.

Но в тот день они не знали об этом. В тот день все складывалось по-иному.

Глава восемнадцатая

Противник наскреб в своих тылах жидкие резервы — обозников, писарей, поваров, связистов, — и все это воинство нестройными толпами пробежало по направлению к передовой из того леса, в котором, как видел Жилин, скрылось несколько автомашин. Через некоторое время ударила вражеская артиллерия и минометы, и на участке второго батальона разорвались снаряды и мины.

В тот день Жилин мыслил не только как рядовой снайпер, но и как офицер. Он прекрасно понимал происходившее — противник готовит контратаку во фланг прорвавшемуся третьему батальону, однако сам ничего поделать не мог. Введенные в бой вражеская артиллерия и минометы были вне досягаемости его выстрелов, а бить по живой силе он не мог — она скрылась за кустарником и увалами.

Судя по тому, что вспыхнувшая за артподготовкой автоматнo-пулеметная перестрелка в общем-то оказалась жидковатой и воинственных криков почти не доносилось, Костя решил, что контратака была не слишком опасной, но в душе у него зародилось первое сомнение: почему батальоны топчутся? Почему командование не вводит резервы? Ведь оно дождется, что свои резервы

подтянет противник. И он стал все чаще посматривать на зимник за перелеском.

Он не знал, что хотя противник и потерял большую часть контратакующих, однако одному взводу все-таки удалось ворваться в расположение пятой роты и вытеснить ее из своих траншей.

Басин, естественно, тоже видел это опасное продвижение противника и уже совсем было собрался переходить вперед, в расположение занятой его батальоном немецкой обороны, но вынужден был остаться на месте и приказал седьмой роте поднажать на противника.

Басин тоже не понимал командование — успех его батальона следовало поддержать, развить, а командир полка не звонил сам и не отвечал на его вызовы. Отвечал начальник штаба, и отвечал неопределенно:

— Принимаем меры... Выполняйте задачу... Все будет в порядке.

Басин, как и Жилин, не знал, что сейчас делается в вышестоящих штабах, и когда на его ПНП прибыл капитан из оперативного отделения штаба дивизии, комбат уже был зол, но еще сдержан. Капитан оказался толковым, он располагал данными об обстановке на всем участке дивизии и даже соседей, и потому Басин несколько успокоился. Такой же прорыв к Варшавке совершило несколько батальонов, но ни один полк в целом так и не выполнил поставленной задачи. Слишком силен был противник, слишком организован. А жидкие резервы нашего командования еще не получали приказа действовать. Да и вводить их в дело пока не имело смысла: противник дерется только наличными силами.

Комбат вздохнул — командир их дивизии прав: расходовать раньше времени свои резервы нельзя. Введешь в бой, задействуешь, а противник подвезет свежие части, ударит, и вместо наступления может получиться отступление...

Капитану понравились действия Басина, очень понравился сам сосредоточенный и спокойный комбат, а еще больше — рассказ о том, как он готовил батальон к наступательным боям (Басин показал капитану плетни и фашины, по которым его солдаты преодолели заграждения противника, а сам капитан видел, что у соседей таких фашин и плетней нет и не предвидится) и как замполит Кривоножко сумел по-своему повернуть срыв разведчиков и поднять наступательный порыв батальона. Все это капитан записал и уехал.

Телефонист передал Басину трубку. Говорил майор, командир поддерживающего артдивизиона:

— Капитан, у вас в тылу противника кто-нибудь есть?

— Есть. Снайперы.

— Очень хорошо... Вы хотя бы примерно расположение их огневых знаете?

— Примерно знаю. А что случилось?

— Кто-то... Карта под руками? Так вот — из квадрата 42—18 кто-то настойчиво стреляет пулями с красной трассой в сторону квадрата 44—19. Это можно понять как целеуказание?

Басин задумался, припоминая свои беседы со снайперами. Скорее всего, в указанном квадрате устроился Жилин. Он наверняка взял на себя самую трудную задачу и, без сомнения, это именно он подает сигнал-целеуказание. (Ах, какая же это промашка — не договориться заранее о целеуказаниях. Век воюй, век учишь сам и учи других...) И эта цель, вероятней всего, очень важная и опасная, потому что Жилин явно рискует.

— У вас на карте что в этом квадрате?

— Предположительно, какой-то штаб... Или склады... Во всяком случае, по прошлым нашим наблюдениям, в этот квадрат часто наведываются машины. В основном легковые.

— Да... А ведь контратака, как мне доложили, начиналась... — вслух раздумывал Басин. — Вернее, не сама контратака, а солдаты для нее собирались в том же квадрате. И я не знаю, как вы решите, но мне кажется, что противник держится из последних сил и ждет прибытия резервов. Так что...

— Но этот ваш снайпер — человек надежный? Ему верить можно?

— Да. Надежный. Это тот самый Жилин, о котором столько писали в газетах. А как вы с таким целеуказанием поступите?..

— Понимаете, капитан, мне тоже кажется, что противник обязан подбросить резервы и постараться срезать вбитый клинышек. Он — опасен. Для него... Так что... Но снаряды... Если расстреляю сейчас, потом могут не дать.

— Майор, по моим подсчетам, вы сэкономили немало — артподготовка была укорочена. Рискуйте! Ведь если вы потреплете их на месте сосредоточения, нам будет легче позже...

— Стой, стой, капитан! Сразу две трассы. Одна за другой... Рискую, капитан.

Он отключился, а Басин так и не увидел, как майор вначале приказал выстрелить одним орудием по этому самому квадрату, и, когда по его расчетам снаряд разорвался, из квадрата 42-18 вылетела красная трасса, а вслед за ней — зеленая. Она пролегла явно левее предыдущих, и майор понял Жилина.

Оба они жили одними мыслями, одинаково понимали обстановку и делали одинаковые выводы.

Когда майор передал поправку и приказал стрелять батареей, Жилин немедленно ответил тремя зелеными трассами. Майор понял его — цель накрыта. Искомандовал:

— Дивизион! Тремя снарядами! Беглый.

Теперь он был уверен в Жилине, как и в своем дивизионе, и его профессиональная гордость была удовлетворена — дивизион вел огонь по невидимой цели да еще при таком принципиально новом целеуказании и корректировке огня.

В квадрате 44-19 вверх потянули два, а потом еще два столба жирного дыма: снаряды накрыли автомашины. Скорее всего дизеля — дым вился черно-жирный, как из горящего танка. Жилин немедленно откликнулся — дал одну красную трассу и две зеленых, и майор понял: живая сила противника побежала от обстрела в сторону передовой. Он внес поправки и приказал дать беглый огонь двумя снарядами. После этой серии корректировки не последовало. Вероятней всего, солдаты разбежались, и Жилин решил, что стрелять не имеет смысла. Разобраться в обстановке майор не успел. Позвонил начальник артиллерии полка и передал приказание командира полка: дать хороший огневой налет на позиции противника в районе первого и второго батальонов. Начарт доверительно сообщил:

— Начальство само поведет в бой.

Майор попытался возразить — у него кончаются отпущенные на операцию снаряды, но начарт подтвердил приказание. Он, как и майор, не знал, что офицер из оперотделения доложил командиру дивизии истинное положение дел и злой комдив — задачу дивизия не выполняла — взбеленился.

— Вы там долго будете топтаться? — орал он на подполковника. — Полгода ворон ловили, а теперь в трибунал захотели? — Подполковник пытался слабо возра-

жать, только поддерживая этим комдивовский гнев; комдива ведь тоже ругал командарм, а того, в свою очередь, теребил штаб фронта.— Басин мог прорваться, потому что думал о наступлении. Сам думал и сам организовывал, а вы в штабе отсиживались...

Подполковник понимал, что комдив не шутит. Потребовав каску и автомат, уже облачаясь в бойцовские доспехи и снаряжая гранаты, он отдавал последние приказания, разгоняя офицеров штаба по ротам. И все штабники во главе с командиром полка оказались в боевых порядках залегших в сыром снегу батальонов. Сделать больше, чем уже сделали и бойцы и командиры батальонов, они, конечно, не могли. Но изуверившиеся в возможности прорыва люди поняли — раз в боевых порядках и замполит и командир полка, значит, пришел их решающий час. Теперь не выкрутишься. Теперь играй в пан или пропал — либо прорывайся сквозь огонь в траншеи, либо прощайся с жизнью.

После короткого артналета командир полка во втором, а замполит в первом батальоне поднялись для атаки:

— За Родину!

Может быть, этот последний порыв и достиг бы цели, но остатки разрозненных, потрепанных артналетами немецких подразделений из резерва как раз в это время стали добегать до передовой, с хода включаясь в оборону. Основные, коренные защитники позиций наверняка были бы сметены — они держались на мыслимом пределе, но прибытие подкреплений воодушевило их. И поднявшиеся батальоны были встречены довольно мощным огнем. А поскольку офицеры наступающих действовали так, как предписывал старый устав — лично возглавляя атаку и двигаясь в рост, — им-то и достались первые пули. Не столько воодушевленные этим личным примером, сколько отрешившиеся от всего и от самих себя солдаты и командиры видели эти, в сущности, бессмысленные смерти, быстро утрачивали свой наступательный порыв.

Басин видел развитие событий, понимал состояние атакующих и единственное, что было в его силах, сделал: он приказал седьмой роте Чудинова ударить во фланг противнику, прекрасно понимая, что может тем самым погубить свою лучшую роту. Но иного выхода он не видел.

Седьмая рота разобралась в том, что происходит на

поле боя, и потому рванула дружно, яростно и смяла потерявшее надежду устоять прикрытие и прибывающих из резерва фрицев, которые и так были контужены артиллерией и гибелью десятков, а может, и сотен своих однопольчан. Частный успех роты был великолепен — она потянула за собой и соседнюю, шестую роту второго батальона, и противник стал пятиться, а наши солдаты уже нависали над его тылами, грозя окружением. Ударить с фронта — и не помогли бы никакие резервы, покатылся бы противник назад, за Варшавку. Но те, кто лежал перед проволочными заграждениями и перед траншеями, уже исчерпали свои душевные силы.

Оставшийся в одиночестве начальник штаба полка немедленно доложил о гибели командира полка и его заместителя по политической части комдиву.

— Штаб оголен! — кричал он в трубку. — Роты выбиты! Резервов нет! Если не отведем роты — наша оборона будет прорвана! Боеприпасы артиллеристов на исходе.

Он перечислял все новые и новые примеры разгрома, в комдиву надоел этот припадок.

— Что с батальоном Басина?

— Он атаковал противника и вклинился в его фланг, но у него уже нет сил. Он тоже на пределе. Большие потери.

Если бы начальник штаба докладывал все эти неприятные новости спокойно или хотя бы только озабоченно, все могло бы получиться иначе. Но начштаба так искренне паниковал — положение сложилось опасное, — что комдив понял: такой не приведет в порядок растрепанный полк, не изменит положения, а только усугубит его, и комдив решил:

— Без паники, майор! Сейчас прибудет новый командир полка. Наводите порядок вместе.

Потом он вызвал третий батальон и спросил:

— Как дела, капитан?

— Туго, товарищ первый. Но пока держусь.

— Как у соседей?

— Справа, с помощью моих ребят, заворачивают фланг противника, слева люди лежат, и мне пришлось остановить своих — могут зарваться. Нужен или удар резерва, или... — Басин хотел сказать «отход», но не решился произнести это слово, — ...или перегруппировка. В этой обстановке не обязательно атаковать по всему фронту.

Эта мысль понравилась комдиву и окончательно убедила в том, что его предварительное решение правильное. Все, что говорилось и писалось о Басине, как бы подтверждалось его разумными, твердыми словами. Умозрительный облик комбата дорисовывался делами и нужными мыслями. Да и мнение о комбате сложилось не только у комдива, а и у всех, кто с ним сталкивался...

— Принимай полк, Басин, и наводи порядок. У меня все.

Глава девятнадцатая Если бы действия Басина разбирала какая-нибудь дотошная, вооруженная вышедшим в последующем Боевым уставом пехоты комиссия, она несомненно нашла бы с десяток ошибок: комбат явно отстал от атакующих рот. Такие действия могли бы расценить как желание отсидеться на НП, под накатами. Отсиживаясь, комбат не позаботился о выдвижении тыловых подразделений, поэтому раненых доставляли на ПМП — передовой медицинский пункт — с опозданием; пополнение боеприпасов шло замедленно, а питание для бойцов и командиров за все время наступления вообще не поступало. Даже поваров передали в распоряжение медицины. При этом умная и строгая комиссия обязательно отметила бы и нерешительность действий комбата — приказал оборудовать новый командный пункт, выслал туда связистов и даже саперов, а сам оставался на месте, тем самым рискуя потерять управление подразделениями. Словом, ошибок капитан Басин понаделал немало.

Но если бы Басину пришлось оправдываться, он, скорее всего, не смог бы объяснить свои действия и бездействие с уставных точек зрения. Он чувствовал бой, его развитие, его динамику, ощущал смену настроений противника и своих подчиненных и в соответствии с этим принимал решения. В самом начале — удачном, стремительном — он не мог выдвинуться вперед, потому что неминуемо оторвался бы от артиллеристов и на некоторое время потерял бы управление — его будущий командный пункт еще не подготовили. Позднее, когда вырисовался его успех и провал других, Басин надеялся на подход резервов, с которыми он бы и рванул вперед. Тогда потребовалось бы оперативное, стремительное руководство под стать изменяющейся обстановке. Но резервов не было, а противник, точнее, его командование

явно приходило в себя. Басин представлял, что думает это далекое и враждебное командование. Развитие успеха батальона для этого командования значило начало конца Вяземского выступа — самой близкой точки по направлению к Москве. Басин, как, впрочем, и сотни других, даже более высокопоставленных командиров, не знал, что гитлеровское командование все еще держало на Вяземском выступе чуть ли не треть всех своих войск — Москва, она и есть Москва.

Но Басин чутьем военного человека осознал, что противник не позволит вбить опасный клин в основание этого Вяземского выступа. Если нажать на этот клин — развалится весь выступ, вся линия фронта на этом участке. И если ему, Басину, не дают развить успех, значит, ему нет смысла рваться вперед — могут отрезать. Сюда, в основание Вяземского выступа, против острия вбиваемого клина, противник должен, обязан был слать, не жалея, свои резервы. Допустить образование клина противник не имел права.

И все эти соображения, пришедшие в минуты раздумья, тоже заставляли Басина не спешить с выдвижением вперед — он и отсюда видел боевые порядки батальона и, главное, видел положение дел у соседей. Теперь эта задержка неожиданно сыграла на Басина.

Прежде всего комбат вызвал к телефону своего заместителя по политчасти. Он мог разругать Кривоножку за то, что тот, в сущности, не выполнил его приказа — не остался присматривать за тылами. Однако он понимал Кривоножку, который не мог, в силу своего партийного долга, остаться в тылу в те часы, когда весь батальон вел бой. Вероятно, поменяйся они местами, комбат поступил бы точно так же. Именно это поведение, а не слова Кривоножки и предопределили его первое решение:

— Слушай внимательно, капитан. Дела наши грустные. Я назначен командиром полка и официально передаю тебе командование батальоном. Понял? Объяви людям. Второе. В случае чего советуйся с Мкрытчаном или Чудиновым. Не бойся советоваться. Но от дела не отрывай — они его знают. И, главное, держись и свято выполняй мои приказы — я ни тебе, ни батальону плохого не сделаю. Все. Не возражай. Будем держать связь.

Вот так нежданно-негаданно комиссар стал командиром, а Басин в сопровождении ординарца Кислова и действующих поодаль связистов, потянувших резервную

линию связи на НП полка, отбыл к новому месту службы.

Известие это распространилось быстро, и третий батальон воспрянул — наш комбат пошел на повышение.

Даже раненые повеселели, как бы освещенные успехом комбата, к которому они имели прямое отношение. В них появилась даже некая высокомерность, сдержанность.

Однако на медпункте этого не заметили. В начале боя раненых было не так уж и много, но когда батальон выдвинулся к Варшавке, на медпункт сразу хлынул поток раненых. Их подносили на носилках и на закорках, их подвозили собачьими упряжками и на выделенных дровнях, они шли и ковыляли самостоятельно.

Фельдшерица только успевала колоть противостолбнячную сыворотку, поправлять наспех наложенные повязки, иногда меняя их на шины, подписывать карточки, с которыми раненые отправлялись в тыл. В этой стонущей кровавой коловерти сама фельдшерица работала быстро и привычно, но Марии все было внове, все ужасало, а порой вызывало непреодолимые приступы рвоты, и она несколько раз выскакивала из землянки. Она сразу осунулась, позеленела. Стискивая зубы, меняла окровавленное белье и обмундирование, молча сносила ругань и упреки и к середине дня уже научилась говорить «миленький» и «родненький». Она все делала так же, как и час назад, но ее, выученные со слов фельдшерицы, ласковые присказки успокаивали ругань, снимали стоны.

После полудня вернувшиеся из медсанбата, а потом и из развернувшегося неподалеку походного госпиталя — ППГ — ездовые передали приказ: присылать только тяжелораненых, а остальных держать в расположении батальона — слишком велик поток страждущих из других батальонов и от соседей. Марию возмутило это распоряжение — для раненых и нет места! Да как же это может быть?! — кипятилась она, но дело свое делала. Фельдшерица отнеслась к известию спокойно. Она знала, что в успешном наступлении раненых бывает мало, а вот когда бой затягивается, когда войска топчутся на месте — тогда поток резко возрастает. И она приказала легкораненым, ходячим двигаться в тыл самостоятельно, а остальных устраивала в пустых землянках снайперов, хозяйственников и даже пустовавшей землянке замполита.

Мария смотрела на нее все с большим и большим удивлением. Она не понимала ее — худенькую, большеглазую и, как была убеждена Мария, чересчур интеллигентную, а значит, по ее понятию, беспомощную и слабовольную, неспособную справляться с настоящими трудностями. А эта интеллигентка работала как заведенная, умела и прикрикнуть, и приласкать, и распорядиться так, что ее подчиненные — пожилые, сильные мужики, слушались с одного взгляда. И Мария незаметно сама стала проникаться уважением к фельдшерице.

Позднее, когда схлынул поток страждущих, Мария присмотрелась к ней попристальней и заметила, с какой тревогой она встречает раненых, словно разыскивая тех, кто ей нужен. Вскоре такой нужный ей попался: подносчик снарядов из батареи Зобова. Легко раненный в бедро, он после перевязки собрался было уходить на батарею, но фельдшерица решила по-своему:

— Как там у вас? Потерь много?

— Нет... Одного убило, да вот меня... царапнуло.

— Ну, тогда так: ходить ты можешь, работать — тоже: иди к землянкам, санитар тебе покажет, организуй отопление и нагрей воды для чая. Поухаживай за пехотой.

— Так, товарищ лейтенант, я ж...

— Ты не болтай много! Люди лежат, подняться не могут, а у вас на батарее и без тебя обойдутся.

После этого она повеселела и стала работать особенно быстро. Но тут стали поступать новые раненые — рота Чудинова как раз ударила во фланг, — и, слушая их рассказы, она посуровела — поняла, что бой захлебывается. Именно в это время в ее распоряжение прибыли повар, завскладом и писарь. Она сразу же нашла им работу, и пожилой, усыхающий писарь словно нехотя сообщил:

— наших снайперов в тылу поприжали. Одного убило.

Фельдшерица злобно оскалилась:

— Чего болтаешь? Откуда ты можешь знать?

— Из восьмой роты звонили. Они видели.

— Только тебя не хватало с такими разговорами! Бери носилки! Будешь грузить!

Фельдшерица так и не оглянувшись, не посмотрела на Марию, которая как стояла с бинтом в руках, так и осталась стоять, пока раненый не тронул ее руку. Она очнулась и стала торопливо, трясущимися рука-

ми, перевязывать бойца, пришептывая синими губами:
— Потерпи, родненький, потерпи, миленький.

Рослый, сильный мужик снисходительно улыбнулся:

— А я и терплю... И чего же не терпеть? Рана-то пу-
стяшная.— У него было пробито осколком предплечье,
и он откровенно радовался тому, что дешево отделался,
был доброжелателен и словоохотлив.— Верить этому
трудно,— разъяснил он.— Нам вот тоже сначала ска-
зали, что все разведчики и все снайперы накрылись.
И мы тоже загрустили. А видишь, какое дело получи-
лось: группа прикрытия этих разведчиков отошла в сто-
рону и схоронилась в воронке. И — порядок. Очень они
нам помогли. И снайперы, выходит, все живы, старают-
ся в ихнем тылу. Так что верить не слишком можно —
восьмая-то рота в тыл к фрицам не забиралась. Откуда
ж такое можно знать?

Он говорил еще что-то — степенно, рассудительно,
приятно. Мария, кажется, успокаивалась, но через не-
которое время опять выступала тревога, рожденная не-
привычной, кровавой работой, чужими страданиями...

Мимо прошла фельдшерица, погладила Марию по
ушанке и прошептала:

— Я ведь тоже психую... Держись.

Мария посмотрела на нее, и в душе у нее тонко-
тонко и жалостно задрожала какая-то невидимая жил-
ка — от благодарности к этой тоненькой женщине, кото-
рая ведь тоже проводила в бой своего любимого и вот
находит силы успокаивать другую. В ту минуту для Ма-
рии не было на свете ближе и дороже человека, чем эта
фельдшерица. Тревога от того не улеглась, но стала как
будто привычней...

Теперь и Мария ловила каждое слово поступающих
на медпункт, сама расспрашивала, как идут дела, и обе
женщины знали положение дел на передовой, пожалуй,
лучше, чем любой штабной работник хоть в полку,
хоть в дивизии. Но даже они, столь осведомленные, не
поняли приказания нового командира полка: бросить
весь транспорт на вывоз убитых.

Зачем это? Почему? Живых нужно спасать, а убитые
подождут... Вечно этот Басин выдумывает, все у него
не как у людей.

Глава двадцатая

С положением на новом месте Ба-
син разобрался быстро — не удивил-
ся неудаче, не взволновался потерями, не испугался

предстоящих бед и несчастий. К этому он привык на войне.

Он рассеянно слушал доклад начальника штаба и вызвал к себе начарта полка.

— Как думаете организовать дальнейшее огневое обеспечение полка?

— А что я могу сделать?— возмущенно пожал плечами старший лейтенант.— Снаряды израсходованы, мины тоже... Опять же — потери...

— Какие у вас потери!— скривился Басин, и впервые за все время шрамик-подковка на его лбу побелел: он начинал не то что злиться, а сдерживать злость.— С огневых никто не снимался, контрбатарейной борьбы я что-то не наблюдал. Какие же потери?

— Есть убитые... Раненые,— неуверенно ответил начарт, сразу понимая, что Басин и дело и обстановку знает.— А главное — боеприпасы.

— И с боеприпасами неправду говорите. НЗ есть?

— Есть...— неуверенно ответил начарт.— Но в дивизии...

— Приказали НЗ не трогать? Так? А я приказываю — трогать! И немедленно сообщить о том на батарее. Начарту дивизии тоже доложите, что я приказал израсходовать НЗ и несу за этот приказ полную ответственность. И скажите, что я ему звонить и напоминать о резерве боеприпасов именно на эту операцию не буду. Пусть сам думает. Понятно? Повторите.

Опешивший старший лейтенант послушно и монотонно, как плохо знающий ученик у доски, повторил приказание. Басин кивнул и негромко скомандовал:

— Идите! Выполняйте.

Начальник штаба посмотрел ему вслед и уже осторожно, но все же с нотками обиды в голосе спросил:

— Вы что же, товарищ капитан, собираетесь опять атаковать?

— Свое решение я вам сообщу, товарищ майор. А пока что займитесь своими прямыми обязанностями, и, в частности, доложите положение дел у соседей. Особенно у соседей справа.

— Я, видите ли... Мой помощник по разведке по приказу подполковника находится в боевых порядках, а я...

— Словом — не знаете. Ясно.

Басин снял трубку телефона неторопливо — он все и

говорил и делал в эти минуты неторопливо — и вызвал комдива:

— Товарищ первый. Ваше приказание выполнил, полк принял. За себя оставил своего заместителя по политической части...

— Строевика не нашел? У тебя что, командиры рот не справляются?

— Нет. У меня великолепные командиры рот. Инициативные. И в создавшейся обстановке мне требуются именно инициативные командиры рот. А...

— Так за чем же остановка?

— За тем, что замполит воюет больше года и отлично знает и батальон, и противника, и местность, на которой воюем. Сейчас он справится, а там видно будет.

— Там видно плохое, капитан. Противник начал подвозить резервы против соседа справа...

— Выходит, на мой правый фланг?

— Выходит. И, конечно, он тебя сейчас ударит. Под основание клинышка.— Голос комдива звучал почти злобно, словно он испытывал Басина.— Выкрутишься?

— Крутиться не собираюсь, товарищ первый. А меры приму. Немедленно. У меня все.

В трубке слышался чей-то возмущенный голос, и комдив прокричал:

— Постой, постой, не бросай трубку. Так... Так...— говорил кому-то комдив.— Понятно. Послушай, Басин, а кто тебе давал право отменять приказ начарта? Ты понимаешь, чем это пахнет?

— Пусть сам начарт нюхает. А мне его запах ни к чему, товарищ первый.

— Ты что грубишь?

— Я не грублю, товарищ первый, а отвечаю в тон. Почему начарт за все время боя не прислал ни одной машины боеприпасов? Ни для артиллерии, ни для минометов? Его что — бой не касается? Он что, огурцы солить собрался?— Басин внезапно вспомнил наивную донельзя словесную маскировку снарядов.— Вот пусть он и думает. Он рядом с вами и обстановку знает лучше меня. А я своего приказания отменять не буду!— Комдив хотел что-то сказать, но Басин словно не слышал его.— И если вы сейчас мне прикажете — не подчинюсь. Подчинюсь только письменному приказанию. У меня все, товарищ первый.

— Так вот ты какой...— протянул комдив.— Ну-ну. Посмотрим, чем все это кончится. У меня тоже все.

Положив трубку, Басин некоторое время молча смотрел в пыльное окошко, собираясь с мыслями. Что ж... Он и раньше, на своем НП, проигрывал за полк все возможные варианты и повороты боя. Теперь он только уточнил их и заодно прикидывал — не слишком ли круто говорил с комдивом? Тряхнул головой, мысленно решив: «Ничего. Командир полка я молодой и неопытный, могу не сразу взять нужный тон и не сразу принять нужные комдиву решения».

И потому, что, тряхнув головой, он ощутил тяжесть каски, снова вернулся мыслями к передовой.

Он думал стремительно, ясно, четко и, наконец, принял первые решения, точнее, не принял, а остановился на одном из продуманных:

— Товарищ майор. Приказываю — пулеметы первой и второй пулеметных рот вернуть в траншею. Второе. Вернуть в штаб всех офицеров. Подчеркиваю — всех! Третье. Соберите всех тыловикиов, кроме медицины и боепитания, и бросьте в наши траншеи с задачей...

— Товарищ капитан! — вскрикнул начальник штаба. — Это безумие! Прорвать оборону противника мы уже не можем! Зачем же губить людей? Неужели только ради бездумного выполнения приказа и утверждения самого себя?

Басин усмехнулся, но закончил все так же ровно и неторопливо:

— ...с задачей — восстановить оборону и, в случае необходимости, отразить атаку. Подчеркиваю это: не контратаку, а атаку противника. И — последнее. Сколько вы не спали, товарищ майор?

— Ну... двое суток, — выдавил разозленный, растерявшийся майор.

— Безобразие! Перед боем все офицеры, а тем более мозг части — штаб — должны отдыхать. В будущем я припомню вам эту ошибку.

— Ну, знаете...

— Нет, не знаю. Так вот, постарайтесь разозлиться не на меня, не на обстановку, а на противника, который может сбить нас с позиций. Разозлитесь и немедленно собирайте людей. У меня все. Несколько позже сообщу и свое решение. Да, кстати, вместе с пулеметами пусть возвратятся комбаты и немедленно явятся ко мне. Выполняйте.

Майор нахлобучил каску и пошел к дверям.

— Постойте, — остановил его Басин, — Если вы и

дальше будете выполнять мои приказания таким образом, мы с вами не сработаемся. Я не позволю, чтобы начальник штаба был у меня на побегушках. Начальник штаба обязан готовить и оформлять мои решения, организовывать и контролировать их выполнение. Поэтому извольте выполнять свои обязанности. Пока что используйте писарей посыльными.— И круто повернулся:— Кислов! Разыщи начарта — знаешь, такой чернявый старший лейтенант — и скажи, что я его вызываю. Позвонил Кривоножке, и Басин спросил:

— Как обстановка?

— Мкрытчан сообщил...

— Знаю... Противник собирается контратаковать?

— Так точно.

— Ну, я ж тебя предупреждал, что дела наши плохи. Так что держись. А пока сообщи-ка мне, что у тебя делает восьмая.

— Перед ней все спокойно.

— Слушай меня внимательно. Прикажи восьмой роте отойти в первые немецкие траншеи. И чтоб на нашем участке не осталось ни одного убитого, не говоря уж о раненых. Я сейчас распоряжусь, чтобы к ним подослали сани. Мкрытчану прикажи растянуться левым флангом. Все понял?

— Понял. Но — зачем?

— По телефону говорить нельзя. Но поверь, что это крайне необходимо — маневр живой силой. А техника поддержит. Главное, сообщите о моем решении соседу справа. Все. Действуй, пока у тебя тихо. Через полчаса тишины не будет, потому спешу.

Он положил трубку и встретился взглядом с начальником штаба. Майор козырнул и доложил о выполнении приказа. Басин задумчиво кивнул, и майор недоверчиво спросил:

— Решились на отход? Но ведь за это...

— Отдадут в трибунал? Вполне возможно! Но, как вы слышали, я, прежде всего, атакую своим батальоном. Рискну своими ребятами. Понимаете?

— Да... — почему-то шепотом ответил майор и спросил:— Офицеров тыла тоже в траншеи?

— Вот это уже деловой вопрос. С них и начните. В землянку вошел начарт и вытянулся у двери.

— Вы выполнили мое приказание?

— Так точно!

— А почему не доложили?

— Так, товарищ капитан, начарт...

— Что сказал вам начарт, я предполагаю. Он запретил расходовать НЗ?

— Да, товарищ капитан...

— Так вот, запомните раз и навсегда — дважды я приказов не повторяю. НЗ расходовать. Потребуется — до последнего снаряда. За несвоевременный доклад объявляю выговор. Майор, отметьте. Учтется при награждении и продвижении по службе. А теперь, товарищ старший лейтенант, слушайте приказ: всю, подчеркиваю — всю полковую артиллерию, всю, приданную до калибра семьдесят шесть включительно, немедленно выдвинуть на прямую наводку и по возможности хорошо замаскировать и опять-таки по возможности оборудовать запасные огневые и подходы к ним. Время — не более часа. Потом будет поздно. Проследите лично и доложите опять-таки лично. Майор! Я уйду на НП. Комбатов — ко мне. Выполняйте. Оба. Кислов! Пошли!

Глава двадцать первая На НП командира полка Басин был и раньше и потому освоился с ним быстро. То, что виделось несколько туманно с его батальонного ПНП, отсюда просматривалось детально. Он видел залегшие на изрытой разрывами ничейке роты; видел знакомую по прошлым дням оборону противника — ее большая часть была перед глазами Басина, определил, как работала по этой обороне наша артиллерия. Сработала она в общем-то хорошо — траншеи местами были обрушены, местами потревожены. Значит, противник понес солидные потери, но дзоты, как он и предполагал, стояли. Окруженные оспинами разрывов, потерявшие часть земляной подушки, они были еще страшны, и именно на них и держалась оборона. Проволочные заграждения тоже оказались лишь местами нарушены, и возле них бугрились трупы.

— Та-ак... Все сделали как учили, все по правилам, а толку — никакого. Людей только перевели, — громко сказал Басин, и связисты, артиллеристы, саперы и еще бог знает кто, торчавшие в просторном НП, как-то отстранились от капитана, и он заметил это, повернулся и спросил: — Неужели душа не болит за такую работу?

— Есть приказ, а он не обсуждается, — ответил за всех старший лейтенант из дивизионных саперов, которому, наверное, уже нечего было терять, — его подчинен-

ные, тоже в большинстве своем пожилые, бывалые солдаты, находились в боевых порядках пехоты и не подавали признаков жизни.

— Приказ выполняют с умом! А я его тут не вижу.

Неудача была слишком очевидна, чтобы кто-либо позволил себе возразить. Офицеры только посапывали и отводили взгляды.

— Ну, вот что... что натворили, то натворили. Теперь нужно думать, как исправить положение. Прошу подумать. Всех.

— Товарищ капитан, мы не можем выводить орудия на прямую наводку,— вдруг сказал молоденький артиллерийский офицер.— Точнее, они и так выведены, но мы противотанкисты. У нас своя задача.

Басин пристально посмотрел в его ясные, горящие возмущением глаза и представил, что думает сейчас этот офицер.

— Воевать мы, конечно, не умеем, товарищ противотанкист. Это вы заметили верно... Кстати, вы с какого курса института попали в училище?

— Это не имеет значения,— опять вспыхнул артиллерист. Сейчас он почитал себя за очень смелого и принципиального человека.

— Не хотите отвечать неотесанной пехоте? Ну что ж... ваше право. Но только сможете ли вы смотреть в глаза людям, зная, что танков в округе нет, а перед обороной противника гибнет полк? Причем в глаза не мне, не им,— Басин сделал рукой широкий жест, показывая на офицеров,— а своим же подчиненным? Они ведь тоже видят. У вас на такое смотрение бессовестности хватит? Если хватит, я свое приказание персонально для вас отменю. Отменю и пошлю к начарту дивизии. Пусть он определит вашу офицерскую судьбу. А вы решайте немедленно — будете выводить орудия на прямую наводку для подавления нужных полку целей или не будете. Три минуты.

На НП подошли командиры первого и второго батальонов — осунувшиеся, закопченные, злые. Командир первого батальона, плотный, невысокого роста, скуластый, вступил в командование часа три назад после ранения комбата. До этого он был адъютантом старшим. Командир второго батальона был старым знакомым. Рослый, отличной выправки, с костистым, сумрачным лицом, перепачканным кровью и копотью — его царапнуло осколком, в коротком полушубке с вылезающей

шерстью — тоже поклевали осколки, — молча протянул руку Басину, и тот тоже молча пожал ее — признание взаимной приязни и уважения.

— Разрешите, товарищи офицеры, — негромко сказал Басин, приглашая комбатов к амбразуре. Офицеры расступились, и комбаты стали по обе стороны Басина. — Положение вот какое: прорвать оборону противника с тех исходных, где лежат роты, мы не сможем. Это плохо. Но еще хуже то, что противник стал подбрасывать резервы на фланг полка. Значит, ждите контратаки. Если третий батальон и, может быть, второй кое-как удержатся, то первый — вряд ли. Его прижали крепко. Так?

— Так, — кивнул комбат. — Головы не поднять.

— У меня такие наметки... Но предупреждаю, без вашего согласия они так и останутся наметками. Я уже приказал восьмой роте отойти с Варшавки в первые немецкие траншеи. Девятую роту передвигаю влево, при таком положении пятая, шестая и седьмая могут ударить противнику во фланг.

— Это ж отступление, товарищ капитан! — широко раскрыл глаза старший лейтенант. — За это нам...

— Я же сказал — вы производите перегруппировку. Можете вы сейчас атаковать?

— Нет...

— Почему?

— Расползлись люди... Не поднимешь.

— Так вот, чтобы поднять, я и собираю людей в кучу, готовлю полк к атаке. — Басин мельком взглянул на комбата-два, и тот хитро сощурился — он с первого слова понял замысел командира полка и принял его: сам думал о том же.

— Товарищи офицеры! — обратился Басин к остальным. — Мы тут посоветовались и пришли к выводу — нужно как можно скорей атаковать противника во фланг. Приданная артиллерия мой приказ получила — немедленно выводите орудия на прямую наводку, и пусть расчеты действуют по целеуказаниям пехотинцев — они к вам придут. Поддерживающую артиллерию убедительно прошу понять сложность положения: по-видимому, в ближайшие часы противник перейдет в контратаку. Важно не только помочь нашей атаке, но и отсечь контратакующих от нашего тыла. Нужен тщательно продуманный и рассчитанный маневр траекториями, постановка заградительного огня. — Кто-то из артилле-

ристов попытался было возразить, но капитан остановил его жестом.— Боеприпасы? Так вот, я доложил комдиву, что беру на себя ответственность за перерасход. Даю половину боекомплекта. Все, товарищи. Через полчаса доложить мне и начальнику штаба о выполнении приказа. Наш начарт будет контролировать орудия прямой наводки.— Басин успокаивался, и шрам-подковка над переносом исчезли. Он втянулся в состояние напряженно работающего человека.

Позвонил Кривоножке и сообщил, что приказание выполнено, роты подготовлены к атаке. Восьмая рота перебралась в первую немецкую траншею, рота Мкрытчана двумя взводами растянулась вдоль Варшавки.

— Скажи, чтоб с началом дела Арсен выдвинул взвод влево, обеспечил закрепление вдоль шоссе. Убитых и раненых убрали?

— Всех убрали. Сам проверил... насколько можно.

— Хорошо. Переходи на основной НП. Пусть Чудинов действует самостоятельно.

— Да... Но...

— Не бойся, капитан, делов...— Он нарочно сказал вот так — «делов» и усмехнулся.— Делов нам хватит. Что слышно от снайперов?

— Точно не знаю, но мне кажется, что они все-таки ведут огонь, но не все.

— Они свою задачу выполнили. И выполнили отлично. Не забудь потом представить к награде. А сейчас — на НП и займись обороной.

Должно быть, в эти минуты противник был явно сбит с толку. На нашей стороне вдруг ожила оборона — там яростно работали. Это можно было понять и как подготовку к отходу, но в то же время и как маскировку выдвижения резервов перед новым боем. От проволочных заграждений уходили станковые пулеметчики, но из тыла выдвигались орудия. Противник гадал и колебался. И не мог не колебаться, потому что выдвижение собственных подкреплений затягивалось, можно было пользоваться только зимником — узким, выбитым. Кое-где он проходил по замерзшим болотам, несколько оттепельных дней расквасили накатанные колеи, в них хлюпала жирная торфяная грязь. Машины проваливались. Пользоваться Варшавкой — невозможно. Теперь она простреливалась, а местами была перерезана. Из-за всего этого задерживался выход артиллерии, которую вынуждены были пустить в обход, колонными путями,

и одна из колонн нарвалась на старое минное поле. Противник торопился, срывался и снова наворачивал. Пускать в контратаку еще малочисленные подразделения было не по-хозяйски — немцы привыкли воевать расчетливо, наверняка.

Но когда Басин позвонил майору Голубченко и попросил его начать и когда перед изготовившимися к атаке ротами встали высокие фонтаны от разрывов двадцатидвух- и даже стопятидесятидвухмиллиметровых снарядов — било в общей сложности до полка артиллерии, и когда после налета сразу началась атака — командование противника дрогнуло. Оно решило, что русские действительно подвели резервы и начинают расширение клина.

Оглушенные мощными и неожиданными разрывами, немцы не выдержали первого удара атакующих и стали откатываться. И тут заработали все орудия прямой наводки. Раньше они били только на одном участке, а теперь били отовсюду, и били по дзотам, по огневым точкам. Сменить их позиции стало почти невозможно, и противник недосчитывался то одного, то другого пулемета. По орудийным расчетам ударили немецкие стрелки и автоматчики, но их вскоре прижали станкачи. Огневой нажим все усиливался, сковывая маневр обороняющихся.

— Голубченко. Майор, — уже не кричал, как в начале боя, а говорил Басин. — Дайте новый скачок — ребята продвинулись.

И тяжелые орудия снова били по противнику перед фронтом атакующих. Били немного — по паре снарядов на серию, но каждый скачок губил живую силу, проталкивая атакующих вперед, на юг, вдоль Варшавки. Те немецкие взводы, что оборонялись перед четвертой ротой, увидели неминуемое окружение и стали отходить на юг, но не поверху, а по траншеям, и их преследовали огнем наступающие. Намечался явный успех — клин, не углубляясь, расширялся. Ударная группировка полка Басина «смаывала» оборону противника, и командир полка вызвал комдива.

— Товарищ первый, иду хорошо. Дайте подкрепления...

— Постой ты с подкреплениями. Где находитесь?

Басин указал квадраты, и комдив задумался. Да, это был успех. Успех там, где намечался явный провал. Конечно, можно было дать Басину свой резерв — один

из батальонов соседа все еще бездействовал (об этом Басин, естественно, не знал). Можно было бросить разведроту, учебную роту... Но нужно ли? Вот в чем вопрос — нужно ли? Вяземский выступ объявлен Гиглером Восточной крепостью. И комдив буркнул:

— Позвони позже.— Сам он связался с командармом:— Мои расширяют клин. Дайте подкрепления — я рисковать не могу, силы на исходе. Особенно боеприпасы.— И осторожно подсказал:— Хорошо бы коробочки.

— Еще чего — коробочки! Ты знаешь, что за нами? Москва, брат! Рисковать не имеем права. И резервы надо беречь. Так что не зарывайся.

Комдив скрипнул зубами — вот как обернулось это наступление: не зарывайся. Выходит, Басин прав, когда организовывал дело явно так, чтобы в любую минуту вывести полк из боя на старую оборону? Комдив вдруг подумал: вот и кончаются старые представления о бое, о кадрах, а может, и о войне. Басин — приписник, а за полтора года войны стал командиром полка. (Комдив даже не подумал о том, что Басин еще никем не утвержден. Он уже принял капитана в своем сердце за командира полка.) Его замполит — учитель! — командует батальоном. И — как! Батальон «смаывает» оборону противника. Это уже не начало становления нового. Это уже само становление.

— Ты чего примолк? — спросил командарм. — Кто у тебя такой герой?

— Капитан Басин. Я поставил его командиром полка вместо убитого, и он взорвал обстановку.

— Это какой Басин? Тот, который генерала подстрелил?

— Он самый. Под Новый год...

— Помню, помню... Мне докладывали, что он академию на передовой открыл. Надо изучить его опыт. Ну и как же он в должности полкового?

— Хорошо.

— Утвердим.— Помолчали, и командарм спросил:— Еще кланчить будешь?

— Да нет... Начинаю понимать...

— То-то. Не наша выдумка.

Комдив осознал почти все. И позвонил Басину:

— Слушай, капитан, ничего я тебе не дам. Понял? — Капитан сразу смекнул: комдив не выклянчил подкрепления у армии. — И не зарывайся. Помни, что позади нас — Москва, а фриц резервов нащиплет.

Смеркалось. Начинался морозец. Злые от усталости и потерь роты занимали свои траншеи. Они были подправлены и подчищены. Уточнялись потери. Противник бросал в бой все новые и новые, прибывающие на машинах подразделения, и майор Голубченко, маневрируя огнем, сдерживал их. Но вскоре вблизи некоторых огневых стали рваться снаряды — противник начал контрбатарейную борьбу. Значит, прибыла его артиллерия из резерва. Басин посоветовался с майором, и оба приняли решение — артиллеристам сменить огневые. Приготовиться к отражению атаки.

— Кривоножко! — сказал по телефону командир полка. — Выводи роту Мкрытчана. Все. Отвоевались.

Глава двадцать вторая Со своей разлапистой ели Костя Жилин хорошо видел, как рвутся тяжелые снаряды в гуще прыгающих с машин немецких солдат, и радовался не их смертям и страданиям (он их не видел. На войне большинство солдат не видит тех, кого они убивают или ранят: слишком дальнобойно оружие, слишком велики для человеческого глаза расстояния), а другому: как же он хорошо придумал с трассирующими пулями и какими же умными оказались те артиллеристы, которые поняли его.

Когда выскакивающие из-под артралета солдаты побежали в сторону передовой, снайпер притих: контуженные страхом немцы могли наскочить на него. Их контратаку он почти не видел — поле боя закрывали перелески, но, ориентируясь по вспышкам перестрелок и гранатных разрывов, Жилин в общем-то довольно точно определял, что творится за его спиной. И потому, что все время прислушивался, отметил, что Джунус тоже прекратил стрельбу, — раньше его выстрелы он иногда слышал. А уж потом, когда противник стал выдвигать пехоту много правее, Костя решил, что пришло время менять огневую и перебираться поближе к Джунусу. Да и патронов поубавилось — он расстрелял почти весь прихваченный с собой боезапас.

И справа и слева от промерзшего болота то в одиночку, то группами перебежали немцы в маскхалатах и маскировочных костюмах — те, что пришли из резерва. Потому, когда Жилин слез с ели и, прячась за стволами деревьев и в кустарнике, пробирался к соседу, никто, даже и заметив его, не обратил бы на него внимания.

Он нашел Джунуса в кустарнике. Вернее, Джунус сам хрипло окликнул его. Снайпер замаскировался от-
лично — в трех шагах не различишь. Был он серовато-
бледен и торжественно покоен.

— Ты чего?— бросился к нему Жилин.

— Отвоевался,— усмехнулся, словно оскалился, Джу-
нус, взглядом показав на винтовку.

Ее цевье и приклад были расщеплены, оптический
прицел помят.

— Та-ак. Перевязывался?

— Нет,— виновато помотал головой Джунус:— Не
дотянусь... Левое плечо — тоже.

Костя помолчал, прикидывая, как бы половчее пе-
ревязать товарища, потом решительно, как он поступал
всегда, когда сталкивался с настоящим, важным делом,
надорвал и приготовил индивидуальный пакет и стал
раздевать Джунуса. Стеганку он аккуратно, чтоб сохра-
нить живое тепло, сложил и покрыл маскировочной
курткой, под нее же сунул гимнастерку и байковую, в
кровавых подтеках, рубашку, а нижнюю, мокрую от
крови, бязевую — сразу же порвал на тряпки. Потом
обтер, поплевав, тряпками вокруг раны и наложил по-
вязки — две пули пробили оба плеча. Он работал быст-
ро, споро, как будто только тем всегда и занимался, что
перевязывал раненых. Джунус покорно подчинялся. Его
смуглая кожа покрылась пупырышками, но он не успел
промерзнуть — Костя одел его быстро.

— Ну вот... Мы еще покувыркаемся.

Зимний день серел, с Варшавки потянуло холодом.
В дальнем перелеске гудели машины — противник под-
брасывал подкрепления. Горьким был воздух — от взрыв-
чатки и оттаявших осин, горькими были губы — весь
день без еды и без курева. И Жилин сказал:

— Ладно, Джунус, мы, обратно, живы, а живым
пошамать не грех.

Они пожевали сала с хлебом, заели снегом. Стрелять
Жилин не стал: далеко, да и опасно, можно выдать
себя.

Когда стало смеркаться, немцев прибавилось, и они
шагали к Варшавке совсем рядом. По шуму удаляюще-
гося боя Костя понял, что наступление не удалось и ба-
тальоны возвращаются на исходные. Конечно, можно
было уйти в тыл противника и там искать партизан.
Бросить раненого Джунуса Костя не мог, но и с ним на
руках не пробыешься.

Джунус словно угадал жилинские раздумья и, вздохнув, рассказал, как погиб Малков.

— Выберемся — не забудь доложить, — сказал Костя и спросил: — Как думаешь, откуда у него на такое сил хватило? А?

— Смерть тоже с пользой должна быть. — Джунус прикрыл глаза и задумался. Костя понял его мысли: гранаты на поясе Джунуса уже были связаны шнурочком.

— На крайний случай и такое, конечно, годится, — сказал Жилин. — Но главное... Впрочем, чего уж главнее может быть?

— Может, — серьезно ответил Джунус, не открывая глаз. — Я думал. Может. Вот я умру. Ну — что? Ну и умру. Все умрут. Но, понимаешь, я теперь не совсем умру.

Они помолчали, и Джунус, не дождавшись от Кости вопроса, открыл глаза и требовательно посмотрел на него.

— Не понимаешь?

— Не все.

— Мы кто теперь? Большевики. И мы теперь совсем умереть не можем.

Костя недоуменно, но с интересом посмотрел на Джунуса.

— Конечно! Что б теперь ни было, а все равно в Москве мы теперь в списках. Навечно в списках...

— Возможно... — уклончиво ответил Костя, а Джунус рассердился:

— Точно! Внуки наши, правнуки и те будут знать — умерли коммунистами. Вот и не умрем до конца...

Он внезапно ослабел и тихонько, болезненно покашлял, в груди у него поклокатывало. Сердце у Кости сжалось.

«В списках-то останемся, а... — но сейчас же заставил себя подумать над словами Джунуса. — А что... Он, пожалуй, прав. След теперь от нас навсегда останется. Навсегда».

Вслух он сказал:

— Темнеет... Пора и собираться. Пройдешь хоть малость?

Джунус молча кивнул, сглотнул, и клокотание в его груди прекратилось.

Справа и слева от перелеска шли немцы — в одиночку, а больше парами и группами. Вдалеке ревели бук-

сующие машины — разворачивалась подошедшая артиллерия, и от соседей справа перебежали группы противника — занимали оставленный третьим батальоном клиншек.

Жилин и Жалсанов медленно пошли к передовой. В сумерках, да еще в кустарниках, их, вероятно, никто не заметил, да и заметив, не старались бы опознать. Наступила великая неразбериха смены немецких частей: оборонявшиеся — выбитые, потрепанные — подавались на юг, к Зайцевой горе, а на их место продвигались пришедшие из резерва. Отдохнувшие, с окрепшей на постоях дисциплиной и чувством порядка, они делали свое дело сноровисто и сосредоточенно, не обращая внимания на тех, контуженных боем, кто пытался разыскать свою землянку, чтобы найти брошенное второпях шмотье, проверить — точно ли убит товарищ, с которым столько времени торчали на этих неприступных для русских позициях.

Снайперы уловили этот настрой противника и двинулись к Варшавке не таясь. Но за шоссе немцев было побольше, они сновали по траншеям и ходам сообщения, разыскивая подходящие землянки, проволакивая убитых, поднимая облицовочные плетни, ремонтируя двери и амбразуры дзотов. Костя прятнул в сторону от той тропки, по которой они уходили в тыл врага, и наткнулся на перебитую линию связи. Он связал провод и взял его в руки. Так, пропуская провод между пальцев, и пошел к передовой. Мимо пробежал шустрый немец и даже не обратил на них внимания — связисты восстанавливают линию: экое диво.

Где-то на урезе вторых траншей противника Джунус остановился. В груди у него kloкотало, и даже в темноте Костя увидел его лихорадочно поблескивающие глаза и оскаленные в напряжении ровные зубы.

«Сдал», — решил Костя и огляделся.

Неподалеку виднелась развороченная взрывом землянка, и тропка в нее показалась нетоптанной. Костя оставил товарища и заглянул внутрь. В нос ударил запах нечистого жилья. Когда глаза привыкли к темноте, Костя поморщился: землянка была забита аккуратно сложенными трупами. Немцы собрали своих убитых и, в ожидании транспорта, заняли разбитую землянку.

«Ладно, — все так же безразлично морщась, решил Костя. — Сгодится».

Они вошли под накаты и устроились на сохранив-

шейся лавочке — основании ружейной пирамиды возле входа. Джунус часто облизывал губы, но пить не просил. Костя покосился на него и стал обшаривать трупы у поясов. Пахнуло сладковато-соленым запахом крови, стало подташнивать, но Жилин молча шарил по трупам, пока не нашел фляжку, сорвал ее и, сглатывая нехороший комок, отвинтил колпачок и вытер полый маскировочной куртки. Во фляжке был жидкий, сладковатый кофе, и Костя передал фляжку Джунусу. Тот жадно напился и хотел было передать Косте, но тот шепнул:

— Повесь себе на пояс. Пригодится.

Может, кофе, а может, этот совет взбодрили Джунуса, и он пошевелился, норовя встать. Костя придержал его:

— Сиди. Разведать нужно.

Сидеть в этой мертвецкой, с еще не застывшими на морозе, вялыми трупами было не то что страшно, а противно. Но они сидели и прислушивались к суматошной перестрелке, артиллерийским налетам, шагам на поверхности. Как и всегда, в трескотне и буханье разрывов иногда наступали паузы, и тогда Костя как будто слышал чей-то стон-дыхание. Он рождался вроде недалеко, но в какой стороне, установить было трудно. На поверхности прошуршали парные размеренные шаги, и вдруг чей-то задышающийся, торопливый голос с последней смертной мольбой и ужасом зачастил:

— Товарищ немец, не убивай, товарищ немец...

Наверху хлопнул винтовочный выстрел, потом второй, и шаги стали удаляться.

Снайперы переглянулись.

— Да-а... Тикать надо,— решил Костя и осторожно выглянул из-за двери.

Невдалеке, согнувшись в три погибели, двое немцев в маскировочных костюмах тянули по снегу волокушу и на ней, кажется, мины. А может, боеприпасы.

Все, что делал Костя в эти часы, на что решался, все приходило как бы само собой. Ни мыслей, ни обдумываний, ни расчетов. Не было и страха — все было таким, каким оно и должно быть.

Посмотрев на вздрагивающего Джунуса, Костя опять стал ворошить трупы, стащил с толстого, рослого ефрейтора просторную шинель и кинул Джунусу. Тот понял Костю, морщась от боли, натянул шинель поверх маскировочного халата, а Костя добыл еще одну шинель, вытер о полу испачканные густой и холодной, словно

рыбьей, кровью руки и опять выглянул из землянки. Неподалеку бродили или пробегали немцы. Глаза уже свыклись с рассеянной темнотой. Бухала артиллерия, и надсадно посвистывали мины — противник создавал прикрытие для работы на переднем крае своей, вновь обретенной обороны.

Костя вышел и тоже стал бродить среди воронок. Вскоре он нашел то, что искал, — брошенную каску. Подобрал и даже не порадовался, а просто отметил, что она крашена белым, надел ее. Он знал, что теперь его не отличишь от немца — маскировочный халат и приметная, с изгибами, каска. И он опять бродил и спрыгивал в ход сообщения и траншею и опять нашел то, что искал, — еще одну каску и немецкий автомат. Он был втоптан в снег, и наверху виднелся лишь ремень. За него Жилин и вытянул оружие. В землянке он опять пошарил по трупам и нашел несколько магазинов.

— Все, — кивнул он Джунусу, передавая ему немецкую каску. — Двинули, пока фрицы, обратно, не разобрались по ранжиру.

Джунус поднялся. Его пошатывало, но он, закусив губы, все-таки пошел.

Шли поверху, неторопливо, и на них никто не обращал внимания. За вторыми траншеями Жилин расстелил немецкую шинель, положил на нее свою снайперку и кивнул выбивающемуся из сил Джунусу: «Ложись», лег сам и ползком потащил друга. Немцев в первой траншее было мало, и они занимались своим делом. Огонь вели только из дзотов и кое-где из вторых траншей, а первые молчали.

«Правильно делают, — мельком подумал Костя, — не привлекают огонь на главное».

А главным для немцев были первые траншеи — вторые потревожило не так сильно.

Снег был истоптан, взрыхлен разрывами, испоганен копотью и желтой глиной. Костя изучал следы и близкие проволочные заграждения. Где-то рядом, но левее тоненько позванивала сталистая проволока — немецкие саперы ставили на заграждения заплатки. Вправо, на юге, следов было поменьше, а воронок побольше и заграждения не имели аккуратных проходов — там начинался участок второго батальона. Туда и решил ползти Жилин, потому что такими, еще крепкими, заграждениями саперы противника займутся в последнюю очередь.

Он осторожно перевалил Джунуса через траншею и, придерживаясь чьих-то следов, поволол к заграждениям. Так, по чужим следам, не поднимая головы, Жилин протасил Джунуса под проволокой и наткнулся на две глубокие воронки, должно быть, от двадцатидвухмиллиметровых снарядов. В одну он затащил Джунуса, оставив рукава немецкой шинели-волокуши наверху, а во вторую залег сам.

Он очень устал, хотя сил у него еще хватало, но сдавали нервы. Хотелось просто покоя, полной тишины. Есть же предел человеческому напряжению! Не хотелось ни спать, ни двигаться, ни думать, ни пить, ни есть. И лежать тоже не хотелось. Ничего не хотелось. Только тишины и покоя.

Он долго лежал, не замечая, как словно впитывает звуки, вначале — мощные взрывы, выстрелы, потом стуки, посвисты пуль, далекие разговоры, звон проволоки, шум шагов, наконец, шуршание смерзающихся и потому скатывающихся с краев воронок комочков глины и торфа. Может, какой-то единственно бодрствующий участок безмерно усталого мозга подсказал бы ему и еще какие-нибудь, обычно неслышимые, звуки, но тут его кто-то лизнул в висок и щеку. Костя, обмирая, вскинул голову.

Перед ним лежал черный с белым галстуком на шее, с добродушно повисшими ушами пес и просительно улыбался — зубы и мощные клыки слабо поблескивали. Такой ужас, такое бездумье вдруг охватили Костю, что он даже крикнуть не смог, а только просипел и стал отодвигаться. Пес положил кудлатую голову на вытянутые лапы и, закатывая глаза и умиленно улыбаясь, следил за ним. Отодвинуться далеко Костя не мог: ноги уперлись в глину. Эти безвольные попытки словно вернули его к жизни.

— Ты чего? — свистящим шепотом спросил Жилин у собаки, и пес, наверное, понял его. Он приподнял голову и, перестав просительно улыбаться, стал смотреть в сторону. Уши у него встали торчком.

Костя невольно подчинился — таким строгим и решительным стал пес — и тоже посмотрел в ту сторону. Там еле заметно темнели уже припорошенные снегом и прахом бугорки тел и, словно утонувшая в снегу, перевернутая утлая лодочка.

Костя взглянул на собаку и встретился с ней взглядом. Морда у нее опять изменилась — стала мягкой,

просительно-жалобной, она опять положила ее на лапы и, извиваясь и даже не поскуливая, а еле слышно, как цыпленок, попискивая, словно бы поползла навстречу Жилину.

Еще минуту назад для Кости весь мир как бы отодвинулся и ничего, кроме покоя, он не хотел, но тут, помимо своей воли, пополз из воронки к опрокинутой лодочке. Пес полз рядом, норовя продвинуться первым. И впереди, и по бокам, и за лодочкой чернели мелкие минные воронки и побитые собаки. Рядом с лодочкой, подтянув к подбородку ноги и сжав руки на животе, лежал на боку маленький солдатик с жидкими темными усами. Пес опередил Жилина и первым подполз к этому солдатику, ласково и осторожно лизнул его в лицо, потом торопливо лизнул еще и еще, оглянувшись на Костю, дернулся, а потом опять наклонился и стал порывисто принюхиваться к усам солдатика. Костя, и не приближаясь, понял, что человек мертв. Видно, осколки пробили ему живот и он долго мучился, потому что лицо казалось тревожным, страдальческим.

Пес выпрямился, сел, опять оглянувшись на Костю и вытянул морду к низкому темному небу: он собирался выть, отпевать своего друга. Костя бросился на него, обнял за шею и прижал к себе, сваливая на снег. Пес попытался вырваться, но Костя крепко держал его за упряжь, поглаживая по загривку и еле слышно пришептывая:

— Тихо, псиночка, тихо... Не у тебя одного беда. Не у тебя. Держись, псиночка, держись.

Он говорил все это искренне, потому что понимал горе собаки, потерявшей своего друга и проводника, потому что слышал, как бьется ее сердце, и жалел и ее, и себя, и своих ребят. Здесь, на ничейке, между позициями воюющих, две живых души словно заново переживали горечь потерь, свое боевое сиротство и понимали друг друга. Пес уже не сопротивлялся, он приник к жилинскому боку и опять тихонько, по-цыплячь, попискивал. От этого писка, от вздрагивания собаки у Кости пропадала внутренняя мелкая дрожь — нервы приходили в норму.

— Ну, что ж ты сделаешь, псиночка. Воевать-то, обратно, нужно. Ничего ж не поделаешь... Пока живые — нужно жить и воевать, другие за нас того не сделают!

Он гладил собаку, потом вспомнил, что кошки да и 303

собаки любят, когда их чешут под подбородком, провел рукой по морде и почувствовал, что она мокрая.

Когда он гладил собаку, то чувствовал: усталость проходит, что-то опять становится в нем на свои привычные места. И еще он понял, что оставил рукавицы в воронке.

Он еще погладил собаку, прижал к себе и прошептал:

— Лежи. Не двигайся.— И потряс ее так, как трясут за плечи хорошего друга.— Хорошо?

Он вернулся к воронке, надел рукавицы и вытащил за рукава немецкую шинель, на которой не то спал, не то умирал Джунус. Он подтащил его к лодочке и перевернул ее. Под ней лежал еще один убитый — тот, которого так и не успел эвакуировать погибший каюр. Костя подвинул лодочку, выпростал из-под мертвого одеяло и легко вложил Джунуса в этот пенальчик. Потом нашарил обрывки собачьих постромок, связал их и, причмокивая, позвал собаку. Она подползла и привычно легла впереди лодочки. Костя привязал к ее упряжи постромки, потом приладил такие же постромки к своему ремню и шепнул, потрепав собаку по загривку.

— Поползли, псиночка. Надо довоевывать.

И они дружно потянули лодочку, оба упираясь четырьмя конечностями о промораживающийся, но еще оттепелный снег, иногда проваливаясь до самой стылой земли. Оба потели, дышали загнанно, и когда становилось неважно — смотрели друг на друга, передыхали и ползли дальше.

Джунус иногда легонько постанывал.

Уже за своими проволочными заграждениями Костя нашупал брошенную каску, хотел отшвырнуть ее, но потом приостановился, снял с себя немецкую и надел свою, круглую, как арбуз, с отворотиком вместо козырька.

Глава двадцать третья Когда роты вернулись на исходные, в свои траншеи, пришли и те два разведчика из группы прикрытия, что остались живыми. Только тогда Мария поняла, где Костя и что его ждет.

С этой минуты, привыкая к кровавой, спешной и тяжелой работе, она все время думала о нем, но уже не вздрагивала, когда в землянку вносили очередного раненого: если принесут Костю, он и сам ее узнает. Уз-

нает и похвалит, что она на самом важном месте. Но он не входил и его не вносили. И никто не знал, что случилось со снайперами, хотя многие видели, или им казалось, что они видели, как те стреляли в тылу врага.

Раненых поступало все больше, санитары не управлялись с погрузкой, и Мария все чаще выходила помогать грузить раненых в сани — машины сюда, к передовой, не подходили. Их было мало, их берегли.

Уже к вечеру Марию несколько раз подташнивало, но она не обращала на это внимания — слишком уж страшна и необычна была ее работа.

Когда стало понятно, что отход неизбежен, Кривоножко приказал повару вернуться на кухню, но Мария осталась на медпункте, и ей все чаще приходилось грузить раненых. И когда она в очередной раз вытаскивала на поверхность носилки с тяжелым ранобольным (она уже научилась этому словцу — «ранобольной» от фельдшерицы), бывший с ней в паре санитар оступился, и она едва не уронила носилки. От напряжения в ней что-то чересчур уж натянулось, и она явственно почувствовала шевеление внутри. Уже погрузив раненого, преодолевая пришедшую затем слабость и головокружение, она прислонилась к сосне, сдвинула ушанку, подставляя лоб ветерку, и зашептала:

— Рано... Нет, не может этого быть...

Она уже рожала и знала все признаки пробуждения новой жизни, и, по ее расчетам, все, что явственно происходило с ней, происходило рано. Но оно происходило.

Поток ранобольных то иссякал, то увеличивался, работали рывками, потому что никто не мог терпеть лишней минуты. После возвращения рот стали появляться те, кто не считал себя по-настоящему раненым — так, царапины. Но иные из «оцарапанных» оказывались ранеными по-настоящему, и фельдшерица нещадно их ругала. Такие смущенно и блаженно слушали ее ругань, покорно подчинялись, но ехать в тыл, как правило, отказывались:

— Не до этого... Фриц опять подбрасывает... пироги с пышками.

Он и в самом деле подбрасывал. Его артиллерия гремела и гремела, а вкрадчивого посвиста мин никто не слушал, хотя именно мины были страшнее всего...

Но теперь, переосмысливая сказанное ранеными, Мария все реже думала о Косте, а все суровей и как-то странно, по-деловому, о зародившейся в ней жизни.

И думать по-иному она не могла. Она занималась тем, что спасала чужие жизни, и тем жила в те часы. Как же она могла не думать и еще об одной, уже живущей в ней?

Она стала двигаться не так стремительно, а когда приходилось поднимать раненого, норовила основную тяжесть переложить на санитаров: она уже не бралась за плечи, а только за ноги, хотя раньше инстинктивно брезговала хвататься за грязные ботинки и мокрые валенки. Главным становилась не она, не ее чувство, а тот, кто начинал в ней жизнь и кого нужно было сохранить любой ценой...

С темнотой работы опять прибавилось. Стали вылезать из воронок, из укрытий на ничейке те, кто хоронился в них до времени. Много таких было и в первом и втором батальонах, и по каким-то странным и так до конца не исследованным законам войны они шли не в свои медпункты, а к худенькой фельдшерице, потому что уже знали, что она работает хорошо, быстро и душевно. Приходилось не только делать свое медицинское дело, но и, главным образом, торопить ездовых, чтобы они поскорее отвозили людей в госпиталь и медсанбат. Ездовые тоже устали, артылеты мешали движению, осколки ранили лошадей, и они все чаще выходили из строя.

Мария работала все осторожней, и фельдшерица решила: устала. Но потом сердито подумала: все устали, и спросила:

— Ты что? Сдалась?

— Не в этом дело... — не поднимая взгляда, ответила Мария — даже женщине она еще не могла рассказать о том, что с ней творится.

— Ничего... Вернется... наверное.

Мария не ответила. Она верила, что Костя еще жив, ждала его, но то, что она видела за этот день, то, что слышала от ранбольных, подсказывало только одно: из такой передряги не возвращаются. И страстное, мучительное, но в чем-то животворное ожидание Кости перерождалось в ней в суровое, строго продуманное и жестокое по отношению к себе и окружающему чувство горькой ответственности за то новое, что уже жило.

И хоть все это свершалось в ней глубинно, неосознанно, она все равно думала о Косте, но уже по-иному, не по-женски, что ли...

Потом стала вспоминаться убитая дочка, и от этих

всплывших, притушенных любовью воспоминаний пришла слезливая боль, но она подавила ее, а та любовь, что была в ней к дочери, перешла теперь на нового, неизвестного.

Многое, очень многое свершалось в ее душе в тот вечер, но свершалось урывками, потому что нужно было делать дело, и чужая боль, чужие страдания все ж таки были страшнее ее болей и страданий.

В тот час, когда Жилин подползал под нашу проволоку, пришло сразу несколько саней, и все с медпункта бросились грузить на них раненых. Тут уж было не до себя, и Мария тоже пошла помогать. Сани были почти что загружены, когда над медпунктом, ломая редкие и жидкие здесь сосны, пронеслась серия снарядов, рванула, высвечивая желто-голубым огнем округу и вдруг вставшую на дыбки лошадь. Она рванулась в сторону и бросилась в лес, по направлению к передовой.

Марию, когда она подтыкала под раненых сшитое из шинельного сукна одеяло, осколок ударил в бок, наискось. Резанула острая боль, потекло горячее, и она, не столько от удара, сколько от ужаса, бестолково упала на сани, в изголовье раненых, закрывая им лица. Они, охая, норовили столкнуть ее, а она, цепляясь за сани, с неестественной, безрассудной силой упиралась, постепенно приходя в себя. Она не знала, что стоявший рядом с ней ездовой убит. Она увидела, что лошадь, роняя кровь, несется к передовой. Ни о себе, ни о той жизни, что зародилась в ней, она не вспоминала. Главным оказался никем не определенный, ею самой принятый долг перед ранеными. Она наконец-таки размотала вожжи, прихватила их и задрала морду взбесившейся от боли, ужаса и контузии лошади. Та ржала и все рвалась и рвалась вперед, к передовой, роняя уж не только кровь, но и кровавую пену — стянутые Марией удила рвали ей пятнистые губы. Боль пошла на боль, воля на бездумное безволие, и лошадь подчинилась, постепенно обретя свой, лошадиный, разум, круто свернула и размашистой рысью понеслась вдогонку двум другим саням.

Раненый сержант стал глухо ругаться и отталкивать прижавшую его женщину. Но Мария неожиданно зло прикрикнула:

— Помолчи! Дай выскочить!

И он умолк, потому что сзади все еще рвались снаряды и от них убегали сани. Они примчались в ППГ.

В приемном покое голова у Марии закружилась, и она мягко скользнула на усталанный лапником пол большой брезентовой палатки. Один из ездовых покачал головой и сказал, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Ну — баба! Раненая, а людей и упряжку спасла. Ведь если б не она, умчала бы лошадка к фрицам. Факт, умчала бы.

Замотанные спешной работой санитарки и медсестры — мужчин здесь было мало — только после этих слов заметили, что свалившийся солдат — женщина и что стеганка на ней распорота и края ваты окровавлены.

Ее еще раздевали, еще перевязывали за простынней, как в далекой избе банно-прачечного отряда, стеной, а по госпиталю уже пополз рассказ о том, как медсестра спасла раненых, хоть и сама истекала кровью. Особенно хорошо — складно и жалостливо — рассказывал тот самый сержант, на которого упала Мария и который ругал ее за это неприличными словами.

Глава двадцать четвертая Когда штаб полка опять заработал так, как ему положено, и начальник штаба смог доложить командиру полка капитану Басину о состоянии обороны, поведении противника, потерях и прочие данные, командир полка сказал:

— Остаетесь за меня, майор, а я — в первый батальон.

— Да... Но...

— Без всяких «но». Вы обязаны меня замещать — вот и замещайте. А я пойду и проведу собрание партийно-комсомольского актива батальона. — Заметив, как округлились глаза майора, Басин усмехнулся: — Вы не ослышались. Именно собрание и именно партийно-комсомольского актива. Запомните, я был когда-то парторгом и знаю, что такое морально-политическое состояние коллектива. И полагаю, что знаю, как укреплять и поддерживать это состояние. А если нужно — создавать. В данном случае мне предстоит создать. Все это учтите на тот случай, если я, во-первых, не попаду под трибунал за отход на исходные и, во-вторых, если останусь вашим начальником. Действуйте.

И он пошел во вторые траншеи, которые осваивал первый батальон. Люди собрались в стильной просторной землянке и глядели хмуро и, кажется, даже насмешливо, точнее, иронически: чудит командир полка. В такое время — актив.

— Товарищи,— сказал Басин.— Мне не хочется вас ругать. Мне приходится поздравлять вас с благополучным прибытием на тыловые рубежи. Как вы понимаете, с таким наступательным порывом на переднем крае вас держать опасно. Вот почему я и приказал вывести вас в тыл. Вопросы или недовольство есть? Нет? Я знаю, что есть, но вы боитесь говорить. Тогда я продолжу. Воевали мы плохо, потеряли половину батальона. Даже своего боевого партийного руководителя — замполита полка, и того не уберегли. Почему это произошло? Да потому, что вы, товарищи комсомольцы и коммунисты, на своих прошлых собраниях говорили о чем угодно, но только не о недостатках нашей же собственной подготовки. Нам нравилось сидеть в траншеях. Мы забыли, что главной задачей всей нашей партии является освобождение захваченной врагом территории Родины. Мы как бы отделились от всех, перестали думать об этой главной задаче, подменили ее десятками мелких, сиюминутных вопросов. Потому так и получилось.

— Командовать нужно лучше! — сорвался чей-то хриплый голос.

— Вы правы. Командовать нужно лучше. Но вот побеждать можно только с теми, кто умеет побеждать. Не только хочет, но и умеет. Воем второй год, сидим в траншеях почти год. За это время можно половину вуза кончить... если заниматься как следует. Надо научиться воевать, и прежде всего, наступать. Каждому! Любой ценой! Через «не могу»! Потому что сегодня и впредь... главной задачей было, есть и будет — умение наступать! Именно умение. Приказываю: сегодня — спать, переживать, а завтра с утра — учиться. Учиться наступать. Сталинград, сталинградское время показали главное — обороняться мы умеем. Но сталинградцы научились еще и наступать. У меня все. Выступающих прошу говорить о том, как исправить положение, как не допустить таких неудач в будущем.

Когда люди стали говорить, вошел Кислов и сказал, что Басина вызывает к телефону начподив.

Начальник политотдела дивизии совсем недавно был комиссаром дивизии и по старой памяти любил беседовать с командирами частей:

— Чем вы там занимаетесь?

— Провожу партийно-комсомольский актив с повесткой дня: уроки неудавшегося наступления и задачи боевой подготовки.

Начподив примолк, переваривая новость,— такого он не ожидал. В прошлом командиры полков присутствовали на партактивах, иногда делали доклады на них, но проводить партактив...

— Зачем это нужно... в такое время?

— Хозяйство, где проходит мероприятие, понесло наибольшие потери, у людей настроение... неважное. Надо его направить по нужному руслу. По моему разумению, сделать это могут только, я подчеркиваю это, только коммунисты и комсомольцы. Вот я с ними и работаю...

— Да... У вас же нет замполита.

Начподив все еще не находил нужного тона — с таким командиром полка он встречался впервые. Упрекнуть его в чем-либо он не мог. Он даже радовался тому, что Басин без подсказки занялся тем, чего в свое время добивался комиссар дивизии: он сам занялся партийно-политической работой. Но, с другой стороны, привыкший, что в эту самую работу никто не вмешивается, кроме вышестоящего партийно-политического органа, начподив чувствовал себя как бы обойденным. Вот это смешение профессионального удовлетворения и в то же время ощущение утраты чего-то важного, привычного и мешало ему найти нужный тон.

— Я звоню вам потому, что мне нужно знать потери политического и командного состава. Между тем сведений от вас не имеется. А от этого зависит пополнение.

— Товарищ подполковник, я убедительно прошу вас не спешить с пополнением командного состава. Я считаю, что, в основном, мы обойдемся своими силами.

— То есть как это — своими силами?

— Надо выдвигать наши кадры. А они есть. И у них опыт. И они понимают свои ошибки и, значит, с душой их исправят. Кроме того, наград, как я понимаю, ждать не приходится, а люди сделали очень многое. Выдвижение и есть высшая награда.

— Выходит, что вашим замполитом вы решили поставить своего... бывшего замполита? — желчно спросил начподив, по прошлым временам зная, что сживание кадров — опасное явление. В определенных условиях.

— Я этого не сказал, и я так не думаю, хотя бы потому, что Кривоножко уже является моим заместителем, и не только по политической части. Он, как вы знаете, сейчас замещает меня по всем статьям.

— А вы что ж?.. Собираетесь возвращаться?

— А вот это мне неведомо. Я только выполняю приказ первого, и моего мнения еще никто не спрашивал.

— Гм. Ну, хорошо... Когда будут сведения?

— Штаб работает. Он вам и сообщит. Как только уточнит данные. Но мою просьбу... с низов, так сказать, убедительно прошу поддержать... хотя бы по хозяйству... не знаю, как сформулировать... в данный момент по хозяйству Кривоножке.

То, что разговор слетел с высоких нот и капитан заговорил так, как и приличествует говорить подчиненному с начальником (так, по крайней мере, считал начподив), несколько успокоило подполковника, и он уже миролюбиво сказал:

— Хорошо, я доложу первому.

Басин положил трубку, не зная, что начподив сразу же доложил об этом разговоре комдиву, подчеркнув, что Басин проводит партактив.

Когда Басин вернулся в землянку, где шло собрание, люди уже разговорились, но говорили опять не о том, как лучше вести эту самую учебу, а чего нет для ее нормального проведения.

Басин резко оборвал прения:

— Чего у нас нет — знаем. Давайте думать, товарищи командиры, о том, как сделать так, чтобы оно у нас было. Вы что, удивились, что я назвал вас командирами? Я назвал правильно. Подавляющему большинству рядовых будем присваивать командирские звания, имеющих эти звания — повышать и выдвигать, — пополнения боевыми, обстрелянными командирами не предвидится. Понятно? Самим, и только самим, придется и учить и учиться. В частности — командовать. Это я говорю специально для тех, кто ждет каких-то особенных командиров. Не будет их. Вы, именно вы, должны стать этими самыми необыкновенными командирами, которым предстоит наступать и наступать. Командиру батальона, подчеркиваю: не временно исполняющему обязанности, а командиру батальона, приказываю завтра к десяти ноль-ноль представить начальнику штаба полка свои соображения о выдвижениях и перестановках людей с таким расчетом, чтобы в каждом подразделении была и партийная и комсомольская организации. Сегодня вы не готовы к настоящему активу. Через три дня соберем общеполкское собрание. Поговори-

те с беспартийными обо всем, что говорилось здесь. А главное — о чем не говорилось. Отдыхайте.

Все, буквально все было необычно, непривычно, и люди расходились слегка растерянными. Но главное Басин сделал — он заставил думать о будущем, отодвигал горечь поражения и потерь. О них еще вспомнят, еще разберутся в происшедшем, но уже с новых, нацеленных в будущее позиций.

Басин шел к штабу полка, отмякая душой. Наваливалась бездумная, всеобъемлющая усталость, вроде той, что испытал Жилин на ничейке. Он замедлил шаг, сгорбился, а следовавший как тень Кислов покашлял и деликатно сообщил:

— Жилин вернулся... Раненого Джунуса притащил и... собаку. Хорошая собака.

Басин посмотрел на ординарца и удивленно спросил:

— Какую собаку?

— Не знаю... Должно быть, из этих... из медицинских... что раненых вытаскивали.

Басин наконец понял, о ком идет речь, и уже строго спросил:

— А Жилин где?

— Капитан его к вам послал. Должно, дожидается... А Джунуса отправили в медсанбат.

— Об остальных что слышно? — все так же отрывисто спрашивал капитан. Он уже распрямился и пошagal размашисто, решительно.

— Так Засядько... Его убили. А Малков, говорят, себя гранатами подорвал. Вместе с фрицами. Джунус видел.

Все это время Басин не думал ни о своем бывшем батальоне, ни о людях, с которыми был связан, к которым привык и, возможно, даже полюбил. С той минуты, когда он принял полк, полк стал главным в его мыслях и судьбе, а все остальное существовало постольку, поскольку оно способствовало или мешало основной задаче — руководству полком.

Сейчас все сразу и резко сменилось. Он вспомнил всех своих ребят, и все они зажили в его сердце своей обычной жизнью, поднимая и тревогу, и жалость, и ответственность за их судьбы. Он шагал все быстрее и быстрее, словно утверждая свои, оказывается, жившие подспудно и вот теперь прорвавшиеся тревоги и заботы.

— А еще что у нас нового?

— Как вам сказать... Зобова, говорят, ранило. Увезли. Еще повариху, она раненых спасала. А куда подевалась — неизвестно. В медсанбат звонили, там ее нету. В седьмой роте моего бывшего командира взвода, здорового такого, помните? Ранило, увезли. У Мкрытчана тоже командира взвода и политрука убило. Это кого я знаю. А так, что ж. Так все на месте. Ругаются только крепко: такое наступление и — впустую. Потери...

— Не впустую, Кислов. Нет, не впустую. Да, вот еще что, напомним, как придем, попросить медицину; чтобы снайперов в тыл не отправляли. Фельдшерница очень убивается?

— Так наверное... Но она — женщина твердая, не смотрите, что вроде бы легкая. Она перенесет

В землянке его ждали двое: небольшого росточка, подтянутый лейтенант с левой рукой на перевязи — адъютант погибшего подполковника, и Жилин. Оба встали, и обоим он пожал руку, жестом пригласив садиться.

— Кислов! Сообрази закусить! — И обратился к адъютанту: — Сбежал от медицины? — Тот кивнул. Басин снял трубку с полевого телефона и вызвал начальника штаба: — Майор. Я на месте. Сейчас же ложитесь спать: я еще в силах. — Майор начал было возражать, но Басин рассмеялся: — Всегда все надо, а спать прежде всего. Я вам на завтра такой объем работы приготовил, что сонный вы и подступиться к ней не сможете. Спать! Приказываю! — Он бросил трубку и спросил, ни на кого не глядя: — Все убрал? Сам повезешь?

— Убрал все... Остальное... как прикажете, — ответил адъютант, вскакивая.

Басин покосился на Жилина — усталого, с потухшим взглядом.

— А дальше как служить собираешься? — спросил он адъютанта.

— Как прикажете... Но только... мне бы в строй... Капитан подумал, опять взглянув на Жилина.

— Если поедешь отвезти вещи командира полка — одно дело. Если не поедешь — другое.

— А может, кто-либо другой отвезет?

Басин кивнул.

Глаза у адъютанта настороженно, но все ж таки блеснули скрытой смешинкой. И это опять понравилось Басину.

— Тогда пойдешь адъютантом старшим в первый батальон. Устраивает?— И, заметив, что лейтенант посерьезнел, разъяснил:— На взвод посылать — обидно для тебя. На роту ставить — есть обстрелянные командиры взводов. А вот на штабную работу, да еще раненый — мне, кажется, вполне подходишь. Оботрешься в батальоне и получишь роту.

— Согласен, товарищ капитан.

— Тогда иди прямо в батальон и устраивайся. Там главное — учеба. По крайней мере, неделю, а то и десять дней.— Басин взглядом показал на перевязку:— А может, останешься?

— Спасибо, товарищ капитан, но я ведь на фронт шел для боя... И я — офицер.

Кислов и повар внесли сковородку, хлеб, консервы и графин. Повар поставил его на стол осторожно, с нескрываемой гордостью. Басин смотрел на повара и сдержанно усмехался.

— В ресторане работали?

— Так точно, товарищ капитан.

— Сразу видна любовь к культуре.— И все так же посмеиваясь, добавил:— О рюмках или стопках я не мечтаю. Но хотя бы стаканы...

— А как же, товарищ капитан!— Повар был несказанно рад, что новый командир полка оценил его заботу и тонкость обращения.— Все будет. Как положено.

Он ушел и вернулся с посудой — разнокалиберными тарелками, гранеными стаканами, и, почтительно освобождая место на дощатом столе, застелил его чистой простыней. Лейтенант смотрел на повара и с удивлением и с осуждением — видно, вчера здесь были иные порядки. Басин уловил этот взгляд и уже не улыбался. Он спросил:

— Это что ж?... В порядке праздника или всегда так будет?

— Как прикажете,— смутился повар, а Басин очень серьезно сказал:

— А если не по приказу, а по душе?

Повар помолчал, разглядывая капитана, посерьезнел и ответил:

— Я постараюсь, товарищ капитан.

— Спасибо. Хороший ответ. Садитесь, товарищи.

Они ужинали, и капитан расспрашивал лейтенанта — дотошно, пристрастно, — как проходил бой, что говорил командир дивизии, какие и когда отдавал при-

казания его предшественник. Когда лейтенант ушел, Басин повернулся к Жилину. После выпитой водки потухшие было Костины глаза опять заблестели и в них снова появилось то выражение, которое смущало многих — как будто Жилин знал о каждом нечто такое, над чем можно было посмеяться.

— Уяснил, как дело складывалось? — Костя кивнул. — Поскольку ты единственный свидетель с той стороны, рассказывай, что было там. — Басин серьезно пояснил: — Я ведь на новом месте. Мне учиться нужно.

И они оба корпели над картой, и Костя рассказывал о том, что он видел в тылу противника, как он и его ребята влияли на ход событий. Он увлекался, высказывая тактически грамотные соображения. Басин все чаще поглядывал на него с острым любопытством.

— Ну и что ж ты теперь делать будешь? Или — «как прикажете»? — передразнил он адъютанта.

— Воевать, товарищ капитан. Нужно, обратно, снайперов подбирать, нужно кое-какие приспособления делать — бронешитки, управляемые чучела. Я теперь как-то по-новому на винтовку смотрю. Сильная штука!

— А на себя ты как смотришь?

— Не понимаю... — Костя выпрямился.

— Ты сейчас рассказывал мне так, как не всякий командир роты смог бы рассказать. Ты знаешь и видишь войну. И свое дело знаешь. Что ж? Так и останешься на том же уровне?

— А что — плохой уровень? — Костя окончательно приходил в себя.

— Уровень хороший. Но не для тебя. — Басин, не дождавшись его слов, пояснил: — Ты уже офицер. Сам, может быть, того не понимаешь, а офицер. И вот что — выбирай. Хочешь, иди ко мне адъютантом, звание мы тебе выьем. А хочешь — иди учиться. Выбирай.

Костя помолчал, он минутой раньше понял, к чему клонит капитан, но решил выждать, а потом усмехнулся:

— Не слишком ли жирно, товарищ командир полка, иметь и адъютанта и ординарца снайпером?

Басин рассмеялся.

— Ты помнишь, что когда-то я тебе сказал — я из тебя человека сделаю. На этом самом твоём... как ваш завод называется?..

— «Красный котельщик».

— Так вот, на «Красном котельщике» тобой будут 315

гордиться. Так что не крути — учиться пойдешь. И вот тут уж я прикажу. Слушай внимательно. Завтра поедешь к семье убитого командира полка, отвезешь его вещи, а их, кстати, чемодан, и только. А второй чемодан повезешь продуктов. Оттуда — прямо на курсы младших лейтенантов. Три месяца — офицер.

Костя внимательно слушал.

— Вот так, товарищ Жилин. Большого я сделать не смогу — война, как ты понимаешь, и есть война. Сейчас ложись-ка ты спать, а я пройдуся по передовой. Кислов! — крикнул он. — Собирайся. Пойдем проверим, как дела.

Эпизод

Знойным июльским утром 1943 года восточнее Жиздринского выступа и севернее города Орла недавно принявший стрелковую роту лейтенант Жилин поправил каску, подтянул ремешок и, оглянувшись на ординарца, прокричал:

— Готовься! Время. Сейчас, обратно, вперед рванем!

В еще зоревой розоватости неба расцвели гирлянды ракет: кончалась артиллерийская подготовка атаки. Жилин выскочил из траншеи и, подняв над собой автомат, закричал:

— За Родину!

— Коммунисты, вперед! — рванулся за бруствер парторг роты — большой грузный мужик из лесорубов.

— Комсомольцы, вперед! — пронзительным, яростным тенором поддержал недавний школьник из Казани.

Рота вывалилась из траншей и бросилась вперед. Жилин шел следом, то падая в горячие воронки, то стремительно перебегая — так на войне и ходили люди. Он, как и тысячи других, не знал, что идет к первому салюту Родины в честь своих защитников, в честь будущих победителей. Жилин, как и тысячи других, думал только об одном — как бы ворваться в немецкие окопы. А уж там они свое сделают...

Не знал лейтенант Костя Жилин и о том, что в тот же час в маленьком городке за Волгой, после материнских стонов и криков, родился и заорал густым, резким баритоном еще один житель этой планеты. Но кричал он недолго, вздохнул, всхлипнул и открыл глаза — они у него оказались темными, как степной терновник, и

в их уголках лучилась первая лукавинка. Был он смугл и крепок телом.

Этого не знал и не мог видеть лейтенант Жилин. В эти дни в кровопролитных боях он поворачивал вместе с армией с юга на запад, чтобы идти вперед. Шагать было еще далеко, но теперь уже все вперед и вперед.

Оглавление

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Смерть комбата | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
| Любовь и слава | • | • | • | • | • | • | • | 67 |
| Конец начала | • | • | • | • | • | • | • | 187 |

**Виталий Григорьевич
Мелентьев**

ВАРШАВКА

Роман

Рецензенты **В. Анчишкин, Э. Сафонов**

Редактор **В. Петров**

Художник **В. Сергеев**

Художественный редактор **Г. Саленков**

Технический редактор **В. Флид**

Корректоры **В. Дробышева, Г. Голубкова**

ИБ № 3999

Подписано к печати с матриц 10.07.84. Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура литературная: Печать высокая. Бумага кн.-жур. № 2. Усл. печ. л. 16,8. Усл. краск.-отт. 16,8. Уч.-изд. л. 18,13. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1849. Цена 1р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Отпечатано с матриц типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Смоленск, пр. Ю. Гагарина, в Рязанской областной типографии. 390012, Рязань, Новая, 69/12

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛИ

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62
Издательство «Современник»;

1402

LIBRARY

ВИТАЛИЙ
МЕЛЕНТЬЕВ

